



Ольков Николай Максимович

с.Бердюжье (Тюменская область)

Родился 24 августа 1946 года в селе Афонькино Казанского района Тюменской области. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького Союза писателей СССР в 1976 году. Работал в районных и областных газетах нескольких регионов страны. Возглавлял районный отдел культуры. Был предпринимателем. Построил православную церковь в селе Бердюжье Тюменской области, где сейчас живёт и работает.

Автор девяти романов, четырнадцати повестей и около пятидесяти рассказов.

Член Союза журналистов СССР и России, член Союза писателей России.

Николай Ольков

Рассказы и сказы

Сборник рассказов известного русского писателя Николая Олькова делится на две части, «Про жизнь...» и ...про любовь». Жизнь писатель проживает большую, и ему есть что сказать. А что касается любви – он сам как-то признался: «Если человек не умеет любить, он мне не интересен. А если писатель не умеет любить – он не интересен никому». Читайте, и вы увидите всю глубину чувств, которые испытывает автор.

Про жизнь...

Красная Поляна

Сказ

– Любо да мило смотреть на родные наши места, сколько годов живу, а не могу насладиться. До чего же всё по порядку: и речка, и озерки кругом, всё рыбное, едовое. И луга заливные, когда снегов много, с высоких мест стекает водичка в низину и в речку, а та в разлив – особая, видать, страсть: раскинуться, плечи расправить, заодно и камыш со всякой всячиной вычистить. Два холма по ту сторону деревни, издавна зовут их Женские Груды, понятно, в деревне не особо выбирают красивые выражения, но издали они очень похожи, ежели мне память не изменяет. Та сторона, что к деревне, летом в зелени разнотравья, для молодняка разного подкашивают люди, а задняя лесом прикрылась, так вот, заведено ещё в старые времена, чтобы тут дерево не трогать. Каждый год обходил лесник и помечал, какие берёзки, осинки и сосенки убрать можно. Зато ягоды в первых лесочках – какую душа желает: и клубника, и костянка, и смородина с ежевикой. Там подале и мокрые места есть, любители забираются вглубь за клюквой и прочей вкусностью.

Предки наши распахали столько землицы, что даже, сказывают, такую вольницу допускали: четвертину оставляли отдыхать, не засевали, а летом, после сенокоса, пахали на другой ряд. Великая от того выгода была, сам-два хлеба снимали, во как! Правда, потом поизвелось это, но крестьяне помнят, через родичей, само собой.

Я зовусь Антоном Николаичем, вечный колхозник, стахановец, краешек большой войны захватил, словил осколок фугасный, но не глубоко, вытащили, дырку зашили, я уж и позабыл. Да, попал в путние войска и звался гвардейцем, а потом и в колхозную жизнь пришло это звание, вручили мне вместе с другими достойными значок «Гвардеец пятилетки». Проня Волосатов тоже получил, поглядел и хихикнул:

– Лучше бы на бутылку дали.

Тут меня и прорвало:

– Ах ты, сука реможная, да за гвардейское звание люди головы сложили, и в этом значке частичка от того, что у меня на майском костюме, а ты его...

Ну, и врезал по роже, своротил чего-то, тот в милицию, а там тоже путные люди бывают, сказали ему, чтобы благодарил за слабое наказание. Короче говоря, побывал и в гвардейцах трудового фронта. А вот до орденов не поднялся, хотя парторг пару раз обещал, если тысячу гектаров за осень вспашу на «Кировце» или полторы тысячи тонн хлебов намолочу за уборку. Понятно, что не только за ордена я старался, платили заманивающе, жить хотелось лучше, но парторг, не к ночи помянутый, орденчик-то зажал.

Хочу рассказать вам, как мужики наши от гибели перестроечной уходили. В самом начале перестройки я на пенсию оформился, поскольку стаж у меня был без перерывов, кроме отлучки на борьбу с фашизмом, учитывая мой гвардейский труд и хорошую зарплату, положили мне ежемесячно 132 рубля. Я уж теперь и сам не могу точно сказать, к каким сегодняшним деньгам это можно приравнять, но жила семья моя в полном достатке. И вдруг помимо перестроечных разговоров начались новые дела, каких прежде не было. Например, председатель колхоза, никого не спросив, увозит на колбасу три машины бычков с откорма. Машины не наши, грузчики не наши, а бычки свои, родные. Ребята у нас в правлении сидели не самые трусливые, наутро к председателю в кабинет, он с порога:

– Если вы по бычкам, то это за долги.

Мужики в пузырь:

– Какие такие долги, ты три месяца назад отсчитывался, и всё было чика в чики.

– Не было никакой чики, просто вас не хотел волновать.

Мужики напуганы:

– А мы ребята не слабые, зови бухгалтера, пусть она нас взволнует.

Вошла Крестинья Васильевна, как увидела правленцев – с лица спала, помешнела даже:

– Да, долги банку, налоговой, в фонды. Вам же всего не объяснишь.

И зарыдала.

А мужики наши кроме обмана ещё женских слёз не переносят, слабеют сразу. Разошлись, но с той поры слово «долги», как колокольчик, звенело там и сям.

Потом районное и областное начальство приехало, собрали правление и сказали, что колхоз завяз или погряз в долгах по самые крайности и надо немедленно его распускать и создавать крестьянские хозяйства. Ну, что фермеры Россию прокормят, об этом каждый вечер напоминали по телевизору. Ребята выслушали всех и ушли, не прощаясь. А потом засели у Володьки Надцонова, целый день не выходили из избушки, полмешка пельменей изварили и съели, а к водке не прикоснулись, сразу договорились.

Что решили? Сказывали мне после ребята, что договорились прогнать всё начальство, а что ещё осталось из имущества – поделить по-честному. Понятно, что речь прежде о технике. Бумажки-то о паях имущественных и земельных у каждого были. И объявили ребята сход всех крестьян, и нашего брата, пенсионера, тоже зовут, я так морочую, что больше для поддержки аплодисментами или шумнуть в нужном месте. Другой-то пользы не предвиделось. Председатель колхоза у нас с фамилией Ежовкин, Денис Кириллович. Мы едва привыкли, а попервости, как ему слово дают, в зале кто чихает, кто кашляет, только чтобы не захохотать, потому что во всём колхозе его иначе как Ежопкиным не называли. Вот и попробуй тут усиди, да если ещё настроение весёлое. И отчего он эту фамилию не переменил, мог и на бабину записаться, когда женитьбу оформлял. Денис Кириллович тоже пришёл, недовольство высказал:

– И что вы собираетесь обсуждать? Колхоз подведён под банкротство, какие могут быть разговоры?

Володька Надцонов молодец, вперёд вышел:

– Это ты правильно сказал, председатель: подведён под банкротство, кому-то это шибко надо. Только мы не позволим. Проходите, товарищи, в зал.

А сам на сцену запрыгнул, встал над столом, как будто вечно там его место, и откуда что берётся!

– Прошу девчат из бухгалтерии, с кем договорились, садиться вон за тот стол и подробно писать, кто что будет говорить. Этот документ нам нужен как охранный грамота. Вы же видите, что вокруг колхоза, как стая голодных волков по весне, кружат людишки не нашей масти. Кружат – стало быть, обещано им, только время надо выбрать. А мы не дадим им этого времени! Не дадим! – заорал Володька, да так громко, я аж вскинулся. И зал без репетиций: «Не дадим!» И так славно получилось, прямо как в телевизоре.

Вставали мужики и бабы и прямо говорили, что овечек прошлой ночью машину увезли, что молодняк поросят в тёплую машину загрузили, один бородастый с наганом пугал свинарок и велел им помалкивать.

На трибуну залез зав зерновым складом, фигура в колхозе большая, а сам Ефимка росточком не вышел, его и в армию браковали.

– А сёднешним днём, дорогие товарищи коммунисты...

– Ефим Кузьмич, нет тут коммунистов, ты о чём?!

– Как это нет? – встал вчерашний парторг Владимир Тихонович. – Как нет, когда мы, коммунисты, объединились...

– Товарищи! – закричал Владимир. – Товарищи дорогие, оставьте политику в покое, и так от неё спасу нет. Мы решаем колхозный, хозяйственный вопрос, про партийность ни слова. Продолжай, Ефим Кузьмич.

– Так вот, сегодняшним днём подошли к складу три больших машины, вроде даже пострашней «Камазов», с прицепами, и товарищ председатель на своей иномарке...

– Не на своей, а на колхозной!

– Знамо дело, что на колхозной. Говорит, отворяй ворота, будем грузить. Я слышу, от него хорошим вином отдаёт, и отвечаю: «Денис Кириллович, сие есть семенное зерно, это я вам как завскладом докладую, если вы подзабыли. И шевелить его при такой погоде до тепла нельзя. К тому же нет у вас требования, как по форме положено, нет накладных». А он ко мне подошёл, за куфайку взял и дыхнул прямо в рожу: «Открывай склад, огрызок, а бумаг я тебе к вечеру целый мешок привезу!». Вижу, дело серьёзное, а ключи-то у меня в сторожке спрятаны, сам едва нахожу, и метнулся я меж складов, я же в пимах с калошами, а Денис Кириллович в штиблетах. Пробрался, вымок по самые кокышки, прости господи, но убёг и у кумы Дуси замаскировался. А надежда на то, что сразу после уборки велел председатель приварить к складским воротам мощные запоры и внутренние замки вставить иноземного происхождения, так что без ключей им в склад не попасть. Вот такой мой доклад.

Зал загудел, я тоже что-то кричал, можа, и не к месту, но шуму много было. И тогда Владимир встал над столом:

– Надо прения открывать по сообщениям, и первое слово председателю.

Ежовкин встал:

– Про свиней и овец ничего не слышал, так что комментировать не буду. А рассказы Ефима Кузьмича можно день и ночь слушать, он после бражки из избышки такие сказки рассказывает, что не переслушать. У меня всё.

И вышел в ближнюю дверь. Владимир в президиуме взволновался:

– Товарищи, надо нам в пять минут принимать решение, потому что Ежовкин уже сейчас стучит в милицию или куда повыше. И загребут нас за милу душу.

– Дак ты предлагай!

– Общим голосованием, закон соблюдём.

– Надцонов, объяви, как договорились.

Владимир спрыгнул в зал. Его трясло от волнения, голос звенел, но мысли в порядке.

– Мы вчера с мужиками обсудили и предлагаем собранию колхоз наш распустить, а всё имущество, технику прежде всего, раздать согласно паёв в крестьянские хозяйства, мы уж тут определились, кто с кем будет работать. А что касается скота, нам сейчас его не сохранить, да и осталась-то сотня хвостов. Давайте поручим Владимиру Тихоновичу, он человек грамотный, к тому же партийный, пусть грузит остатки и везёт на мясокомбинат. А выручку поделим, тут много ума не надо. Значит, завтра в семь утра все у мастерской. Только прошу, мужики, ведите себя, если пошло наперекосяк – не злобьтесь, пригласите стариков, они рассудят. Всё, собрание закрыто. Девчонки, тащите протокол, я подмахну для порядка.

Теперь про Володьку, Владимира Игнатьевича Надцонова. Годков ему не много, только, если человек толковый, это сразу видно. Роста среднего, в плечах убедительно смотрится, лицом в мать нашибат, красивый. Волосы как после армии отрастил, так и зачёсывает назад крутой волной. Взглядом серьёзный и голос командирский, это точно со службы, раз сержантом пришёл.

Дед его Никанор, царство небесное, был человеком партийным и активистом, с молодости ударился в эту политику, в родном селе колхоз создавал. Сказывали старики, что он недолго уговаривал, прежде всего как бы молебен отслужил по старой жизни, предупредил, что с завтрашнего дня об ней надо позабыть. Потом вкратце обрисовал всю картину: скот сдать, инвентарь сдать, землю всю в колхоз. Робить так же, как и единолично, только государство будет забирать хлеба, молока и мяса сколько ему потребно. А себе что останется. Противиться не советовал, потому что после разговор совсем другой: на голые сани всей семьёй и на Север. Доходчиво объяснял. За одну ночь колхоз образовал. Вплоть до войны любил на собраниях речи держать, и хоть времена были жестковатые, выпады классовых элементов сносил спокойно, никуда не жаловался. Даже когда Касьян, сосед, укорил, что самолично Никанор свёл со двора последнюю корову, а потом двое его ребятишек замерли с голодухи, Никанор, говорят, ответил, что корова эта спасла десятки пролетарских детей, а это для страны важнее всего. И всё. В конце собрания обычно напоминал: «Что тут промеж нас... разговоры либо споры – не дальше этого порога. Узнаю, кто состукал, – найду способ вслед каторжному отправить».

И обходилось. Колхоз скучковался, стали привыкать, работали, как вроде своё хозяйство, и стало выходить. И на трудовень начисляли хлебишко, крупы, масло подсолнечное, ударникам отрезывали мануфактуры к праздникам. А тут война. Конечно, всё

пошло наперекосяк. Но не об том речь. Никанора забрали на фронт, там и остался. Отец Владимира Игнат вырос на отрубях да на картошке, столь тошно было после войны. И опять выпрямились. Он едва семилетку в школе отсидел – на курсы трактористов, не успел десятины вспахать – Советская армия призывает, а служить было почётно. Настолько, что бракованные ребята сутками сидели в военкомате: «Заберите хоть в стройбат, ведь нам в деревню позорно возвращаться, и девки сторониться станут, слух пустят, что порченный».

Отслужил Игнаша, женить надо, и невеста через два дома живёт, Мария. Колхоз к тому времени окреп, стал помогать молодым дома ставить. Игнашка не в последнем числе, тоже лес дали строевой, пилораму брёвна распустить – пожалуйста. Шифера колхоз вагон закупил, чтобы всех желающих обеспечить, цемента на фундаменты вагон россыпью, после разгрузки все мужики наголо побрились, такой хороший цемент попал.

Дом построил – ребяташки пошли. Ведь тогда всё желанное было. Про любовь как-то не шибко я разговоров слышал, но плодился народишко со страшной силой. Вроде вчера в лавке видел бабу, нормальная, через время встречаю – с брюхом. Нарочно пошёл по улице из края в край, день нерабочий, вчера дождь хлестанул. И что ты будешь делать – каждая вторая баба в тягостях. Колхоз ясли открыл, их там – гим гимзит, позвали меня, чтобы повыше заборчик сделал, а то сбегают. Среди них, должно быть, и хороводил бойкущий парнишка Володька Надцонов.

В соседях жили, всё на виду, в старших классах начались у Володьки проблемы. Видишь ли, папу Игнашу с понталыгу сбил своячок, муж родной сестры. Пока она на курсах продавцов обучалась торговому делу от нашего сельпо, прилепился к ней учёный мужичок из городского института. Короче говоря, охмурил девку, и стал наезжать к своячку вроде просто из уважения, а увозил полный багажник окороков, яиц, сала, масла и прочего, что всегда было и не выводилось в кладовках и холодильниках жены Игнашиной Марии. Хрен бы с ним, с продовольственным запасом, но при загрузке багажника, в порядке расчёта, свояк убеждал Игнашу, что Володя должен окончить среднюю школу, и место в институте ему обеспечено, в чём он, свояк, уверял, поудобнее укладывая в багажнике коробки и пакеты.

После этого отец отлавливал Володьку из любой игры и любой компании, приводил домой и выкладывал из потрёпанного портфеля все книжки: «Учи!» Учиться Володьке вовсе не хотелось, ему было интересно с отцом на тракторе хоть с часик посидеть, а потом и батю подменить, пока он в обед колхозные щи хлебал да котлеты уминал. Осенью с уроков убегал, к батиному комбайну подходить боялся, так крёстный Андрей выручал: посадит на колени, показывает, какой рычаг для чего, какая лампочка о чём сигнализирует. Быстро нахватався Володька и однажды, пока отец в тени берёзки косточки из компота вылавливал, заскочил в кабину, газанул, на валок вырулил и включил молотилку. Игнат вроде за ним, а кум поймал за сапог:

– Посиди, он круг даст, сюда же подъедет. И не рычи, я его подучил. Хороший механизатор будет, зря гонишь.

Какой толковый крёстный Володьке достался! А дотяни они всей семьёй парня до института, там бы пятилетку промаялся, приехал с дипломом экономиста и через год спился бы. Я не на пустом месте такой прогноз сочиняю, а из опыта колхозной жизни, у нас три экономиста кончили увольнением за пьянку, а четвёртый до того досчитал сальдо с

бульдой, что отваживались в Лебедёвке, есть там такая больница, где лечат людей, когда ум за разум запрыгивает. Зато тракторист из Володьки получился знатный.

Да что тракторист! А парень какой! Не одна девка в деревне по нему сохла, а он, словно евнух, никакого интереса, даже в клуб не ходил, если кинокартину не привозили. Отец уж переживать начал, малой вон и то без девок не ходит, и сёстры каждый вечер прихорашиваются, хоть и соплячки ещё. Я же рядом живу, всё на глазах. В баню как-то к ним попал, в своей каменка развалилась, на неделю работы. Парились все вместе, присмотрелся к Володьке – нормальный мужик! Сам себя успокоил, отцу ни слова, чтобы лишний раз занозу не шевелить.

Приехала к нам новая экономистка. Скромненько так одета, пальтишко серенькое поношенное, сапожки не первой свежести, да худющая, едва не светится. «Ну, – думаю, – и эта ненадолго, закладывает, видно, вишь, пообносились». Ну и брякнул это при Володьке. Тот меня за малым не пришиб.

– Как, – говорит, – у тебя, старого, язык повернулся! Сирота она, на одну стипендию жила, специально в колхоз попросилась, а её в институте оставляли.

А я себе думаю: ежели ты такими сугубо интимными сведениями располагаешь, стало быть, глубоко в ейную оборону пробрался, первому встречному девчонка про судьбу не скажет. Оказывается, правильно я мыслил, вечером перед Октябрьской привёл Владимир девчонку в отцовский дом, а я раньше был приглашён на чашку чая. Вошли, девчонка глаза в пол, смотрю: личико-то округлилось на деревенском провианте, да и пальтишко новое, хоть и не креп-жоржет какой-нибудь. Стесняется, мать подсуетилась, отец втихушку плюху сыну, почему не предупредил. Девчонка пальтишко сняла, Володя подсобил, вижу – что есть прикасаться боится. Кофтёнка и юбочка на ней приличные, сапожки под порог поставила, мать уж носки тёплые тащит. Села, надела носочки, а ножка маленькая, Нюрка и Шурка, сестрёнки Володины, близняшки, в седьмом, а лапища...

– Вот, мама и папка, и ты дед Антон, знакомьтесь, это Веста, наш экономист и секретарь комсомольской организации.

Тьфу ты, господи, куда его несёт! Причём здесь партия и бухгалтерия?! Не иначе на смотрины привёл, а стушевался.

– Пришли мы, мама и папка, и ты дед Антон, познакомиться, потому что мы с Вестой решили пожениться и просим вашего согласия.

Что тут началось! Меня изо стола вычикнули, мать в морозилку за фаршем и пельменями, отец рубаху чистую побежал надевать, Нюрка с Шуркой на стол метут, кучу тарелок, сервиз называют, из горницы приволокли, протирают. Через пять минут на столе чин чинарём, и выпить, и закусить. Я вроде в двери, Володя меня остановил:

– Садись, дед Антон, раздели нашу радость.

Девка вроде чуток успокоилась, ручки уже не трясутся, слёзки высохли. Что они, слёзки в эки годы, так, водица, это я нынче, ежели всплакну, да слеза на рубаху сорвётся – успокаивай сам себя и бери иголку с ниткой. Ни один материал не дюжит. Ну, это к слову. Отец речь сказал, выпили, девушка только ко рту поднесла. Отец поправил:

– Надо бы, дочка, первую-то выпить, так положено.

А она глазёнки на него вскинула:

– Простите меня, только я никогда даже капельки в рот не брала. Простите.

А ведь и это любо. Шарахни она сейчас полную рюмку, крякни да закуси солёным огурцом, я бы вмиг жениха в сенки выдернул и шепнул: «Володька, положи, где взял. Если нагрезил – извинись, если не ты первый, то и без того обойдётся». Сидим, закусываем. Отец слово берёт:

– Это хорошо, ребята, что вы к родителям пришли за согласием, за благословением, как раньше. Только ты, дочка, без обид, имя своё объясни, оно из старины или как?

Девушка губки платочком вытерла:

– Мы из староверов, жили в северном районе, в тайге. Отца моего в лесу сосной захлестнуло, собиралась община ещё один дом поставить. А мама так страдала, что ушла на могилу тятину и померла. Меня добрые люди пригнали, а потом приехала милиция, они всё золото искали двоеданское, и меня забрали как беспризорную, хоть я и в семье жила. Сказали, что такой закон. И отдали в детский дом. Там меня Веркой звали, а как паспорт стала оформлять, записала имя, данное при крещении. Только если вам не нравится, я перемену на любое. Но Володе шибко глянется.

Тут Мария не вытерпела:

– Дочка, а как же ты в институте училась, без поддержки-то?

Веста впервые улыбнулась:

– Что теперь вспоминать? Стипендия, девчонки помогали, если у меня денег нет, а они что-то готовят, конечно, за стол посадят. Одежду, да, привозили подружки своих младших сестёр, и обувь, и пальто, и платья. Гордыня – грех, потому брала с благодарностью. Я всё за книжками сидела, училась хорошо, диплом с отличием получила. Оставляли на кафедре, в аспирантуру, а там зарплата чуть больше стипендии. Попросилась в деревню, приехала, а тут Володя.

Мать фартук от лица не отнимает, отец платком все глаза исшоркал, я тоже берегусь, чтобы слезинка рубаху не прожгла. Какая судьба выпала девчонке, а ведь не сломалась, не изгадилась, как сейчас это началось, и судит, как большой мужик. Думаю, повезло Володьке, дождался свою радость.

А Игнат после третьей рюмки вдруг решил:

– Раз задумано, нечего кота за... ну, короче говоря, тянуть с этим делом не будем. Решили пожениться – мы с матерью и сосед с нами – согласны. Значит, так: завтра Октябрьская, митинг будет, я председателя сельсовета с трибуны сдёрну, десять минут, и вы муж и жена.

Никак не могу понять, как он быстро всё сообразил:

– Брательник с утра кабанчика обгоит, сестра солонину достаёт из погреба, столовские девчонки пособят в колхозной столовой всё, что надо, приготовить и на столы поставить. С утра заводить «Жигули» и в район, надо невесте самое лучшее платье и жениху добрый костюм. Дочкам список гостей, чтобы всех обежали, и в три часа садимся за столы.

Дивную свадьбу ребятам сыграли. Друзья Володькины тоже молодцы, рванули в город, а что привезли – не сказывают. А когда сельсовет зачитал про мужа и жену, приволокли берёза красных роз и невесту по самое личико ими украсили. И слёз было, и смеху.

Утро после того колхозного собрания выдалось необычное. Ещё вчера метелило и ветер перегонял поздний снег от забора к забору, а нынче притих, словно присмотреться хочет. Звёзды неба не покидают, хотя уж вроде светает. Фонари на столбах горят ярче прежнего, а машинный двор прямо твой аэродром, Владимиру приходилось летать в Москву на ВДНХ как передовику, видел и запомнил. Зашли в красный уголок, друг над дружкой подшучивают, а волнение есть. Тут же представитель из бухгалтерии. Заведующий машинным двором, пожилой механизатор Гавриил Евсеич сказал:

– Мужики, раз уж договорились, давайте спокойно и без шума. Я так понял, что начнём с тех тракторов, кто на чём работал. У меня бухгалтерские выписки по паям на руках.

– Обожди, Евсеич, а ежели мой трактор на ладан дышит? И мне его брать? – закричал Проня Волосатов.

Мужики зашумели:

– А кто его довёл до ручки?

– Ты по осени масло сменил? Нет, так и газуешь, а из него, несчастного, дымище, как из паровоза.

– Договорились, Проня, и не дёргайся.

Гавриил Евсеевич разложил бумаги, и стали к нему подсаживаться те, кто оказался во главе за ночь образовавшихся кооперативов. Все следили, подсказывали.

– Мужики, нельзя так. У Михаила новый трактор, у Мити почти новый, да им ещё МТЗ из ремонта. Так на всех не хватит.

Евсеич кивнул:

– Верно. Надо, ребята, по возможности честно всё поделить, вам ведь в одной деревне жить, одни пашни пахать. Чтоб без злобы.

Не обошлось. Аркаша Захаров захотел «Кировца», а работает на «Беларусе». А кто же отдаст добровольно? К тому же Евсеич поднял руку:

– Аркадий, у тебя на «Кировца» и денег не хватает. Ты окстись, ведь надо ещё инвентарь брать, ты на тракторе не по ягоды ли собрался? А чем пахать, сеять, где сцепки, диски, культиваторы?

Владимир тоже сел, разложил свои и товарищей свидетельства на имущественные паи. Трактора свои записали, инвентарь по списку, ещё ночью составил, и попросил из гаража пару машин, «Зила» и «Газика». Евсеич проверил: есть по спискам такие машины. У заведующего машинным двором полный порядок. Отписали тебе технику – он вручает технический паспорт. Вышли из душной конторки, шестеро мужиков, документы на четыре трактора, два комбайна, автомашины, прицепной инвентарь. Владимир предложил:

– Давайте перегоним технику на склад, там и охрана есть, да и склады потом делить придётся. Там и база наша будет.

В конторке шум, похоже на драку, клубком мужики выкатились во двор. У Прони Волосатого всё лицо разбито, дуром орёт, что «Кировец» никому не отдаст. А бил его Ильяха Жабин, его это трактор, потому он прав. Проня вырвался, метнулся к гаражам. Когда сообразили, «Кировец» ворота вынес с петель и на выход, Ильяха наперерез, встал, руки раскинул. Так его Проня и сбил. Вылез из кабины, всего трясёт, бухгалтерша в больницу и в милицию позвонила. Проню заковали в наручники, капитан стоял над трупом и раскачивался в своих чистеньких хромовых сапогах:

– Это, господа, начало капитализма, борьба за частную собственность, передел. Там, наверху, делят заводы и прииски, а вы ржавое железо, которое на ваших огородах превратится в металлолом.

Гавриил Евсеич не удержался:

– Зачем вы так над народом, товарищ капитан? Люди жить хотят, выжить, вот, собрались, чтобы всё по-честному поделить. Но не всем понравилось. Илью, как жертву перестойки, зароем, а Проня пойдёт тайгу пилить. Но техника будет работать, я знаю, не все сумеют, но многие преодолеют сами себя, поднимутся. Мы же такое уже проходили, после войны на коленках стояли, всё одно поднялись. Видно, только в русском мужике и есть эта сила, чтоб над собой подняться. Не улыбайся, капитан, приезжай, когда майором станешь, поглядишь на наших соколов. А я уж сейчас вижу их с красными флажками на комбайнах...

Только к вечеру следующего дня управились, поставили всё в ряд, кто-то краски притащил, решили на бортах название кооператива написать. А какое? Хоть и устали, а посмеялись, сели в кружок на брёвнышки, стали перебирать – ни одно не нравится. И Владимир вспомнил, отец рассказывал, что после войны объединяли колхозы в деревне в один и называли его «Красная Поляна». Мужикам название понравилось, только Арыкпаев ворчал, что длинное, писать долго, он предлагал «Луч» – не приняли. Барабенов дверной замок у «Зила» перебирал, спросил:

– Ерик, а у тебя по русскому в школе сколько было?

– Три, – гордо ответил Арыкпаев.

Барабенов захохотал:

– Шеф, как бы не пришлось работу над ошибками...

– Грамотно пишу, не мешай, – огрызнулся Ерик.

Надцонов вытер руки, подошёл:

– Ничего, мужики, потеплеет, попрошу Весту, она нам красивый трафарет вырежет, и мы всю технику покрасим одинаковой краской, сначала ржавчину сведём, а потом и название напомним.

Надцонов не любил март. Мутный месяц, для крестьянина непонятный: то метелью хлестанёт дня на три, то спрячет ветра, растолкает облака, чтобы показать народу солнышко. А то вдруг морозец начнёт прижимать, да не шутейно, хоть полушубок из кладовки доставай. Оттого и не любил Владимир Надцонов, что март никакой возможности не давал угадать, каким будет апрель. С первым солнечным апрельским просветом стаскали на полевые обочины всё своё хозяйство: диски и культиваторы, бороны и катки. Что вперёд потребуется, а что так и останется до конца посевной бывать на кромке поля – только время покажет.

Весна пришла степенная, крестьянская, днём снега гонит, ночью холод не пускает, пусть влага в землю уходит, для хлеба, для урожая. Мужики семена поделили, несколько раз на ворохах схватывались, но разошлись мирно.

Владимир съездил в район, оформил крестьянский кооператив «Красная Поляна», хотя в земельном комитете барышня не соглашалась на «красную», предлагала взять «ясную», мол, всем знакомо и никакой политики. Сходил к председателю комитета, тот

подписал. А заодно и спросил, видно, наслышан, как разделили колхоз, и знает ли он, что их Ежовкин назначен начальником управления сельского хозяйства. Надсонов вида не подал, но неприятный осадок в душе привёз и с товарищами поделился.

– Володя, да хрен с ним, с Ежопкиным, будем робить и на него не оглядываться. – Сергей Барабенов возился с трактором и вроде не придавал особого значения тому, что говорит. – А я вам скажу. Вчера попросил своих хулиганов обойти усадьбу Ежопкина и глянуть, что у него за сараями под навесом, а заодно и на крышу сарая забраться, заглянуть, что во дворе. Результат: в ограде «Камаз» самосвал и «Беларусь», а на задах под навесом и соломой гусеничный «Алтаец» и «Дон» зерновой.

Мужики оставили свои дела и подошли к Сергею.

– Откуда? Вроде ничего не было слышно.

– Проня Волосатов ему всю технику из района ночами перегонял, сам брякнул под стакан, что теперь он первый человек в колхозе, на особом доверии у председателя.

Владимир усмехнулся:

– А мы удивлялись, почему Проня за явное убийство получил поселение. Да, ребята, всё меняется на ходу, и не в лучшую сторону. А что будем делать с техникой? Он же её в любое время спрячет.

Попросил Весту проверить по бумагам, есть ли такая техника в колхозе и откуда взялась, она нашла платёжные документы, но все четыре единицы переданы по акту птицефабрике в погашение долгов. Надцонова колотило от злости: вместо того чтобы выдать колхозникам хоть что-то, председатель последние копейки пустил на технику. Всё продумано, у фабрики много земли, техника нужна, сдаст в аренду и будет жить королём. Тем более теперь, при такой должности. А где правду искать? У главы района? У прокурора? В суде, который оправдал убийцу?

Сергей Барабенов решил проблему просто:

– Ночью пробраться и в топливные баки сахару насыпать. Движок сразу накроется.

Аверин поддержал:

– Хоть как-то навредить.

Надцонов махнул рукой:

– Противно мелко пакостить. Да ничего это и не изменит, движки отремонтируют и вперёд.

Был у него план. Платёжные документы из бухгалтерии Веста скопировала и подменила: копии в папки, а подлинники мужу. В доме Ежовкина жена и ребёнок, пугать никак нельзя. Хороший человек сообщил по телефону, что купили Ежовкину особняк главврача, того в область перевели. Узнать бы, вдруг супруга на смотрины поедет. Братишку своего от школы освободил, велел глаз не спускать с Ежовкинского дома. И вот прибежал парень, дыханье перехватывает:

– Братка, легковушка подошла, женщина с девочкой сели и уехали.

– Номер машины я тебе велел...

Мальчик подал бумажку. Нашёл бывшего водителя председательского, он районные номера знает, подал бумажку:

– Да, машина начальника управления. Ежопкин, скотина, обещал к себе взять – обманул.

Прибежал к складу, собрал своих.

– Распутицы он ждать не будет, гусеничный ладно, а комбайн по огороду не пойдёт. Вре́мя у нас нет, жена посмотрит особняк и вернётся.

– И что? – чуть не хором спросили мужики.

Надцонов напрягся, аж шапку в руках сжал:

– Разом заводим все технику и выгоняем на площадь, под самого Ленина.

– Володя, это же топливо надо, воду...

– Топливо в баках должно быть, не на последних каплях они из района пришли. А воду каждый по канистре – приволокём.

Аверин охватил голову руками:

– Мужики, пересадят нас, точно говорю. Угнать со двора – всё равно, что украсть.

– Но ворованное украсть – большая разница. К тому же мы не к себе в ограду, а на общий вид. Пусть завтра народ полюбуется. – Владимир и сам себе не очень верил, что говорил, но нет иного способа накрыть проходимца. – Подожди, парни, это не кража, это изъятие вещественных доказательств. Вызовем нового прокурора, документы предъявим.

– Вова, только настоящие бумажки им не отдавай, захарлят, копии сделай.

– Уже наделал, – успокоил Надцонов.

Арыкпаев засмеялся:

– Володьша, будешь адвокатом в суде, такие слова знаешь!

Решили сегодня, после полуночи. Андрей Аверин, десантник, через забор перемахнул, открыл калитку. Залили воду, подождали, когда за сараями загудело. Распахнули ворота, «Зил» и «Беларусь» выскочили быстро. Надцонов запер ворота и вернулся через забор. Гусеничный трактор и комбайн шуму наделали, но деревня спала. Выехали на площадь, Надцонов выскочил из кабины и отмашкой выстроил технику в ряд. Заглушили моторы, быстро слили воду. Владимир вынул из-за пазухи кусок ткани, растянул вокруг кабины «Дона». Даже в темноте хорошо читалось: «Это украл Ежовкин». Веста по его просьбе написала белилами.

– Ну что, жулики, по домам? – спросил неунывающий Арыкпаев.

– Расходимся. Утром к восьми надо быть здесь. Я прокурору позвоню.

Что там в восемь – в семь все были на месте, редкие любопытные проходили мимо и вопросов не задавали. Надцонов сбегал в контору, позвонил, прокурор его выслушал и сказал, что немедленно выезжает. Он подъехал через час, представился, обошёл площадку с техникой, попросил лозунг снять. Через полчаса подъехала целая колонна легковых машин, выходили из них солидные люди в красивой одежде и с красивыми портфелями в руках.

– Ну, робя, на них нас и увезут, – хмыкнул Барабенов.

– Ага, губу раскатил, под нас «воронок» подгонят.

Надцонов глянул на своих:

– Только спокойно, я отвечаю.

Ежовкин сразу кинулся на Владимира, Аверин вышел вперёд – высокий, крепкий и наглый.

– Тебе кто дал право, нищесброд хренов, по чужим дворам лазить? На каком основании? Да я тебя в тюрьме сгною!

– Кто старший, с кем говорить? – спросил прокурор.

– Я. Надцонов Владимир Игнатьевич.

– Принято. Что за техника, как она здесь появилась?

– Да они... – пытался крикнуть Ежовкин, но прокурор остановил его.

– Я вас пока не спрашиваю. Продолжайте.

Надцонов спокойно (сам удивился) всё рассказал, показал копии платёжных документов и договоров передачи техники в аренду.

Прокурор внимательно посмотрел бумажки и поднял голову:

– Надцонova и Ежовкина прошу пройти в администрацию, милиции обеспечить сохранность техники.

– Я заместитель главы района, здесь директор птицефабрики. Товарищ прокурор, надо бы поговорить.

Владимир только сейчас заметил, что прокурор совсем молодой, форма на нём с иголочки, чувствует себя хозяином положения.

– Господа, у меня к вам пока вопросов нет, если что появится, вас пригласят повесткой. А пока свободны.

– Чёрт знает, что творится! – возмутился директор птицефабрики. – Втянул меня Денис Кириллович в историю, тюрьмой пахнет.

Заместитель главы похлопал его по плечу:

– Не журишь, завтра вернётся глава района, он этот вопрос разрулит.

Ежовкин подёргал ручку дверей «Зила» – закрыто на замок.

– Что, Денис Кириллович, не своё оно и есть не своё. Шепни «сим-сим, откройся», □ – засмеялся заместитель главы.

В кабинете администрации Надцонов ещё раз рассказал всё по порядку, прокурор слушал молча, не перебивал. Владимир не выдержал:

– Гражданин прокурор, мы жулика разоблачили, хоть и большой начальник. Он и в колхозе крал, что плохо лежит. Так неужели нас теперь под суд, а он смеяться будет?

Прокурор прошёлся по комнате, встал напротив Надцонova:

– Во-первых, я для вас не гражданин, а товарищ прокурор. Во-вторых, дело это будет крупным, уж я позабочусь. Уже сейчас могу вас заверить, что никого из вашего коллектива я обвинять не собираюсь. Вас вызовут, когда потребуется, а пока работайте спокойно. Да, технику с площади надо убрать и обеспечить сохранность. Вы свободны. Скажите Ежовкину, пусть войдёт.

Через полчаса прокурор вышел, ни с кем не разговаривал, сел в свою машину и уехал. Компания переглянулась – и тоже по машинам.

Прокурор не просто прошёл мимо местного начальства, он продемонстрировал полную от него независимость. Молодой человек уже выстраивал известные ему события в громкое уголовное дело по борьбе с хищениями должностными лицами материальных ценностей в крупных размерах, а тут и злоупотребление служебным положением, и сговор с целью получения выгоды, здесь коррупция в чистом виде. Он хотел сделать карьеру, и он её сделает, этим громким делом покажет всем, что прокурор строго следует закону, не обращая внимания на чины и звания. Он сделает всё, чтобы добиться для Ежовкина обвинительного приговора и реального, не условного, срока заключения. Вот тогда имя прокурора прогремит на всю область и, безусловно, дело будет зачислено в его положительный актив.

Первая самостоятельная посевная запомнится Надцонову на всю жизнь. Прежде всего схватились за пайщиков, ведь своей земли немного. Пошли по родне, по соседям, сразу встал вопрос о цене, старый колхозный бригадир Ерохин сказал, что он свой и старухин пай дешевле, чем за пять центнеров чистого зерна, не отдаст.

– Дед Киприян, ну как я могу тебе на берегу, ещё и подошвы не замочив, сказать, что добуду? Ты же старый крестьянин, а если совсем не уродит, тогда как?

– Тогда, мил человек, продавай машину и мне расчёт деньгами... по цене рынка. (Едва вспомнил!) А нет, так я кому хошь отдам.

Быстро обежал новоявленных председателей:

– Мы какие-то бестолковые. Мужики-то вперёд нас столковались, что в договор писать три центнера чистой пшеницы и по два ячменя или овса.

Иван Чёрных, толковый мужик, втоптал окурок в землю:

– Условие такое, только на первый год: пшеницы два, серых – один. Время есть, подёргаются и согласятся. Только, чур, клиентов не перевербовывать, ценой не играть, это при капитализме... чёрт, вчера учил, забыл. А, штрейкбрехерство. Ясно?

Все засмеялись.

Долго решали, кому какая земля отходит. Выложили списки пайщиков и общую площадь, об этом не говорили, но понимали, что нынешнее решение навсегда. Каждый знал все поля и их возможности, потому на карту были поставлены пять самых больших и урожайных пашен. Написали бумажки, свернули трубочками, кому что... Сразу обиды: «Ну, я так и знал...» Чего ты мог знать, когда всё в открытую? С остальными землями проще. Приняли, что другие участки надо привязывать к основному полю, смотрели по карте, сверяли с набранными паями.

– Не согласен. Вот у меня выписана урожайность по каждому полю за три года. Вы мне подсовываете Рямиху, а Надцонову отходят Зайчиха и Клин, урожайность в полтора. Разве честно?

Надцонов посмотрел на карту, кивнул:

– Верно, бери Клин, он к тебе ближе, а я Рямиху забираю.

Все ждали выхода в поле. Природа всегда испытывает крестьянина на терпение. Солнышко пригрело, согнало снежок, на пашню только в болотных сапогах, но идёт мужик, ковыряет оттолкнувшую землю. Лежит сорняк, вида не подаёт, значит, ждать долго. Тогда ещё раз посмотреть сцепы борон, покачать гусеницы на тракторе – не прослабли? А потом в склад, весь день все ворота и окна открыты, сколько позволяет площадь, распахивают семена широкими лопатами, чтобы согрелись. Надцонов улыбнулся: в детстве гоняли ребятишек из школы, чтобы зерно разгребать, и называли это учёным словом яровизация.

Через пару дней выволокли сцепы с боронами на кромки полей, тут уж вовсе у пашни обедать приходится. И наступает день, когда с утра прошёл по полю с полкилометра, да, местами сыровато, но шевелить корку надо, чтобы сорняк спровоцировать. Загудел трактор, ворвался в податливый грунт зяби, и пошла работа. Надцонов не сразу поймал прыгающее сердце: свою пашню работаю, свой хлеб буду растить. Нет, не клял колхозную бытность, при ней вовсе беззаботно жил, всё за него добрые люди решали, надо было только за рычагами следить. А тут – сам. И гордо, и страшно, ведь до самой малой капельки знал он всю эту беспокойную стосущую жизнь, от первого весеннего боронования до

потока зерна из бункера комбайна в кузов самосвала, и теперь ему вместе с товарищами придётся пройти весь этот путь.

К вечеру притащили вагончик, позаимствовали у плотников, уже по темноте заглушили трактора, вскипятили чай. Молчали. То ли устали настолько с непривычки, то ли не осознали ещё, как Надцонов, своего нового положения. Барабенов не утерпел:

– Кормильцы России, поделитесь, что наработали? А то я вроде как не при делах.

Надцонов засмеялся:

– Завтра садись за рычаги, дня на три хватит, а я другим делом займусь. Ты с заправщиком договорился?

– Нормально. Обещал, стоянку я назвал.

– Шеф, а ночью будем робить?

Владимир улыбнулся, но вида не подал: Аверин холостяк, погулять охота.

– Будем, Андрюша, вот на культивацию выйдем. Только – чур! – твоя ночная смена.

Аверина проводили смехом. Агрегаты оставили в поле, на «уазике» Владимира разъехались по домам.

– Должен я рассказать, как Володька Надцонов на Красную Поляну вышел, по-серьёзному, по-крестьянски. А то нарисовал на тракторе «Красная Поляна» и думал, что это хорошо...

Как-то пришла ко мне учительница.

– Дорогой Антон Николаевич! Приглашаем вас в школу, с ребятами поговорить.

Я сильно удивился, потому что никогда раньше не звали, ораторы были штатные, правильные, лишнего не сболтнут. Часть из них уже в мире ином, как говорится, другие, видно, занемогли, и оказался я перед большим залом, полным ребяташек. Прежде у учителей спросил, про что рассказать, а они рукой махнули: про свою большую жизнь. Ну, думаю, оставлю сегодня орду без обеда.

Начал с того, что родился я как раз в разгар кулацкого восстания, вот памятник стоит жертвам. Правда, теперь говорят, что это крестьянское восстание против власти, может, так оно и есть. А потом началась коллективизация, крестьяне весь скот и весь инвентарь, какой был, передавали колхозу, это я уже чуток помню. А он, сорванец, руку тянет:

– А сейчас наоборот, всё колхозное разбирают по дворам. Значит, колхозы плохо работали?

Гляжу на учителей, они подбадривают.

– Колхозники, если не ленились, работали хорошо, вон у вас в коридоре доска с портретами, доярки и механизаторы, другие тоже – все при орденах. И зарплата была хорошая. Вот скажите, может ваш отец за уборку заработать на мотоцикл «Урал»? Нет, конечно, потому что и мотоцикл стал стоит дороже легковушки, и зарплату чуток прижали. А я, было время, заробил, когда уже техника пошла сильная, мне первому дали «Кировца», я на нём за осень вспахал тысячу гектаров зыби.

– А это сколько?

Тут учительница приходит на помощь:

– Ребята, тысяча гектаров – это поле размером десять на десять километров.

Ребятишки захлопали в ладоши. Рассказал им про войну, сказал, что смотреть фильмы современные по телевизору не надо, там всё врут. Война – грязная и кровавая штука, ещё голодуха зачистую. Но – куда деваться, шли в бой и побеждали. Хоронили убитых. Каждый знал, что завтра тебя могут похоронить. Ничего, доползли до Берлина.

– А Гитлера вы видели?

Я помолчал, потом сказал:

– Видел, дети мои, я эту сволочь каждую минуту видел, и когда в прицел смотрел, и когда гранату кидал – я его видел, в него целился.

Рассказал, какая деревня была в войну и после, как тяжело было женщинам и ребятишкам. Плуги на себе таскали, не то что бороны. Потом полегче стало, а в пятьдесят каком-то году нашу деревню свели в один колхоз, и назвали его «Красная Поляна».

Девчонки заахали: «Как красиво!» – а учительница спрашивает:

– Антон Николаевич, откуда возникло такое красивое название?

– Расскажу. Если пройти между двумя холмами, ну, вы понимаете (какой-то сорванец захихикал), то через километр примерно будет вам большая палестина чистойшей земли. Вокруг бурьян растёт, его и не косит никто, только козы да лоси питаются. А раньше вся поляна была покрыта красным цветом, я не знаю, что были за цветы, только сразу с прихода она была как красное море цветов. Девчонки на свадьбы срезали, да и так просто ставили в банках на подоконники.

– А дальше?

Я помолчал. Как сказать о людях, у которых понятия нет святого и чистого? Началась целина, и председатель, не наш был, присланный, велел поляну перепахать. Что только ни сеяли – ничто путём не растёт. И цветов не стало, осталось одно название.

Загрустили мои слушатели, притихли. Я тоже взгрустнул, а потом осмелел:

– Вот теперь начались большие перемены, из одного колхоза сделалось пять или шесть. Никто не скажет, хорошо это, плохо ли, только думаю мне, что другие, лучшие, красивые времена настанут, когда зацветёт Красная Поляна, тем же цветом или иным, но чтобы светло от неё шло и радость.

Поблагодарили меня, наградили большой коробкой конфет, которые мы тут же с девчонками разыграли. Пришёл домой, прилёг, а Красная Поляна с ума не сходит. Был я там прошлым летом, большая, гектаров пятьдесят будет. И почему ничто не растёт, кроме тех цветов? Надо будет Владимиру подсказать, он мужик толковый, в сельхозинститут поступил, говорит, надо для дела. Довёл его до белого каления, он махнул рукой:

– Ладно, дед, садись в «уазик», копнём грунт на Красной Поляне.

Земля ещё толком не отошла, но три куса мы добыли, закинули в пакет. Владимир пообещал, что свезёт в лабораторию, определят, что за почва. А уже через неделю подъехал, сигналил:

– Дело, Антон Николаевич, не простое, почвенники анализ сделали и ума не могут дать, что произошло на этой поляне. Я им наковырял в трёх местах в стороне, говорят, нормальная земля, способна для воспроизводства. А та – нет, непонятно как, но уничтожены в ней многие вещества, которые нужны для культурных растений. Понял?

Конечно, я ничего не понял, но на всякий случай кивнул. И спросил осторожно, а можно ли то, чего не хватает, добавить?

– Конечно, дед, вот и список, чего и сколько надо. Я уж прикинул: приличные деньги.

На том и расстались.

Вечерами Владимир объезжал поля, на каждом останавливался, заходил с края, отмечал в тетрадке, много ли сорняка, не изрежен ли посев, срывал колосок, жал в руке, считал, сколько зёрнышек завязалось. А в конце августа уже входил в поле, не боясь помять высокую пшеницу – поднимется, проводил раскрытой ладонью по верхушкам колосьев, ощущая их энергию и будущую силу. Владимир понимал, что это теперь его жизнь, его любовь, столько трудов вложено – не бросишь. Какое там! На днях парни всерьёз заговорили о животноводстве, правильно сделали, что заварили железом ворота и окна фермы, надо до уборки провести там ревизию оборудования. Если всё нормально – брать кредит и закупать нетелей в Кургане. Всё лето сено готовили, часть продали, остальное надо тормознуть. Судя по видам на урожай, можно будет выдать пайщикам по три центнера пшеницы, хотя они и так не бедствуют, в кооперативе, который с первого дня стали звать колхозом, выписывают всё, что надо для хозяйства.

Слёг отец Игнат Никонорович, велел устроить ему лежанку в маленькой горенке, мама от него не отходит. Всё сказалось. В войну хлеба не видели, не то что не ели, только картошка. Спасибо корове Красуле, осенью растелится, всю зиму хоть кружечку, но каждому молочка мать плеснёт. А в морозы заводили Красулю в избу, чтоб не замёрзла.

Сёстры ещё школьницы, брат учится на механика сельхозмашин. А сёстрам Владимир строго сказал: «На первый случай, девчонки, техникум, одна ветеринар, другая зоотехник. Сами определитесь. Большое хозяйство будем разводить, специалисты нужны. Да, насчёт замуж... Только сюда, дома уже строим, так что к городу шибко не привыкайте, а парней присматривайте деревенских». Позже понял, почему улыбнулись близняшки: женихи-то, похоже, уже есть, с учёбой сложнее...

Но и Владимир заразился Красной Поляной, если его кооператив имя себе такое взял, то надо и поляну ту к жизни вернуть. После посевной поехал в область к учёным людям, узнал о специальном институте, который занимается недрами. Попасть к учёным оказалось довольно просто, сначала его пригласили в кабинет, расспросили, что конкретно интересует молодого человека. Узнав, что пред ними дилетант и вопрос его носит чисто познавательный характер, Володю отвели на третий этаж в большую комнату, уставленную книгами. «Библиотека», – подумал он, и не ошибся. К нему вышла довольно пожилая дама, одетая в синий халат, усадила за стол, напоила чаем, а потом спросила, что его волнует. Володя рассказал о красивых цветах, поднятии целины, абсолютном бесплодии тамошней почвы, показал заключение почвоведов. Дама принесла карту и попросила указать это место. Надцонов явно растерялся: «Надо было на уроках географии не Нинку за косу дергать», вскользя подумал он, но учёная дама уже нашла и деревню, и Женские Груды, и поляну по ту сторону.

– Будьте любезны, посидите некоторое время, мне нужно отыскать один интересный материал.

Она ушла и отсутствовала так долго, что Надцонов успел уснуть и, видно, с храпом, потому что дама, будто случайно сдвинув стул, сказала:

– Да, не перевелись ещё богатыри на Руси!

Потом положила на стол машинописную книжку, долго искала нужное место, наконец, предупредительно подняла палец:

– Слушайте, коллега.

«В 17 веке Сибирь буквально поливали метеориты, карты местности от Оби до самого Урала испещрены следами их падений. Одновременно на картах видны ленточные следы взрытой земли, что не все учёные склонны относить к движению ледниковых пород и считают их чуть ли не рукотворными. Но очевидных подтверждений этих предположений нет.

Среди уникальных последствий падения метеоритов отмечают взрыв в районе между реками Иртыш и Ишим, маленьким притоком Тобола. Специалисты считают, что метеорит падал под острым углом к земле, на высоте нескольких километров взорвался и двумя мощными потоками осколков встретился с землёй. Сила столкновения была столь велика, что энергией удара выбросило большое количество грунта, который впоследствии превратился в два рядом стоящих высоких холма, поросших лесом. Лес поселенцы с западной стороны свели, а на восточной место выброса грунта постепенно выровнялось и сегодня имеет вид чуть углублённой площадки. Странно, что вся площадка окружена лесом, на самой же поляне растут красивые цветы, которые пользуются большой любовью молодёжи».

– Узнаёте? – спросила она и улыбнулась. – Это исследование очень талантливого учёного Драверта, но оно не было опубликовано. Да... А вы не выяснили, какие цветы росли на сей поляне? Очень жаль, возможно, они прижились бы вновь. Но это не к нам, это в институт сельского хозяйства.

– Так я там и учусь, заочно, правда, в молодости ума не хватало, а теперь без знаний никуда.

– Простите моё неуместное любопытство, но где вы работаете?

– Крестьяне мы, землю пашем, хлеб растим.

Дама всплеснула руками:

– Господи, если крестьяне стали интересоваться тайнами науки, она никогда не погибнет. Вот вам копия той странички, и всех вам благ.

На кафедре растениеводства Володю пытали, какие красные цветы росли на той поляне? Их сотни разновидностей. И требовали образец. А какой образец, если поляну перепахали полвека назад? Домой приехал туча тучей, Весте всё рассказал, с горя рукой махнул.

– Родно моё, – улыбнулась Веста. – Обратись к школьникам, у их бабушек обязательно могли быть эти цветы в книжках или альбомах. Ты же говорил, что молодёжь когда-то любила эту поляну. Иди в школу.

Директор отнёсся к этой идее с пониманием, на большой перемене объявили всеобщее построение, докладывал Владимир Игнатьевич. Всю историю рассказал, и про метеорит, и про учёного, и про взрыв прочитал распечатку из книги.

– Ребята, у ваших бабушек могут сохраниться книги или альбомы, тогда модно было стихи и песни записывать, а между страничками выкладывать цветы. Я помню, у мамы такой был, но мы уже ничего не нашли.

На другой день сразу две девушки и мальчик принесли Надцонову заложенные в книги засохшие, хрупкие, но сохранившие цвет растения. Владимир аккуратно переложил их в толстую тетрадь и через три дня был в институте.

– Вот это другое дело, – поправляя очки, заявил профессор Власов. – Теперь никакого труда определить, что это за вид. Друзья мои! – Он подозвал нескольких студентов. – Кто определит вид этого цветка, ставлю зачёт автоматом.

Ребята и девушки склонились над растениями, уже уложенными в плотные бесцветные пакеты.

– Профессор, это жарки. Нет?

– Увы!

Разглядывают, перешёптываются:

– Я думаю, что это купальницы, только это очень старый гербарий, сегодня купальница чуть другая, так мне кажется.

Профессор засмеялся:

– Проще мыслить надо, друзья мои, ближе к земле.

– Мне кажется, это мак-самосейка, – смущённо предположила студентка.

Профессор захлопал в ладоши:

– Вам правильно кажется, но Сибирь – не его ареал произрастания. Вы говорите, молодой человек, что это поляна? Она открыта всем ветрам или в низине и защищена лесами?

Володя кивнул:

– Точно, она как чаша.

– Вот! – Профессор многозначительно поднял руку. – Благодаря этому над поляной образуется как бы особая климатическая зона с повышенной влажностью и мягкими температурами. В незапамятные времена ветра, птицы или чёрт знает кто могли занести сюда семена мака. А коли условия приличные, они взошли и дали потомство. Итак, вы довольны, молодой человек?

Надцонов, конечно, был очень доволен, но...

– Профессор, где можно купить семена этого растения?

Тот пожал плечами:

– Едва ли где оптом, ибо дикорастущий вид, семена никто собирает. Но вы можете поехать в места массового произрастания, например, Северный Кавказ, набрать головок, сколько угодно.

– Подождите, так это мак с головками? У нас его в каждом огороде полно. Мы его в детстве горстями ели.

Профессор засмеялся:

– Вы кушали, извините, горстями культурный мак, кстати, он запрещён и объявлен наркотиком, так что аккуратней. А тот имеет очень маленькую семенную коробочку. Уверен, насобираете, сколько надо. Очень даже может быть! Желаю удачи!

Студентка смущённо подняла руку:

– Профессор, но должны быть в южных городах организации, которые занимаются украшением города цветами? И у них могут быть семена.

Профессор согласился:

– Да, интересная мысль. Попробуйте списаться с ними. Время ещё есть.

– Спасибо вам!

Надцонов поблагодарил студентов, пожал руку профессору и вышел, полный надежд.

Нынче Надцонов обновит американский почвообрабатывающий посевной комплекс с «Джон Диром», ждёт, придут ребята из техноцентра, настроят, первый день проследят за работой.

– И сколько ты в него влупил? – спросил вечно недовольный Аркаша Захаров, тоже фермер, но, похоже, бизнес выходит на финишную прямую. Пить вино и растить хлеб одновременно ещё никому не удавалось. Аркаша уже продаёт остатки техники, Надцонов железо брать отказался, а часть пайщиков неудачника принял.

Трактор сгрузили с платформы и загнали в ангар, Владимир освободил место, чуть сдвинул семенные вороха. Спроси бы кто другой, поближе и доброжелательней, не Аркаша – рассказал бы на радостях, сколько в банках бумаг писал и печатей ставил, сколько раз заманивал его начальник лизинговой компании, такие картины рисовал, что комплекс чуть ли не в подарок мужик получает. И только случайная встреча с заместителем директора департамента по селу спасла Владимира от пролёта.

– Подожди, вроде в вашем районе ещё нет комплексов? – вспомнил начальник.

– Нету, – согласился Надцонов, – омскими сеялками спасаемся.

– И как, получается?

– Нормально, три года уже, вот, в люди выходим. Конечно, хотелось бы своё, русское. Начальник кивнул:

– Очень бы хотелось, перед крестьянами стыдно, как сутенёры проституток, сбываем иностранный товар. Проекты есть, опытные образцы есть, но кому-то выгоднее купить в Канаде или Штатах. Скрипим зубами... Но, брат, ты веры не теряй, ещё успеешь поработать на русской технике. Успеешь. Дай-ка твои бумаги. – Он долго перебирал объёмистую папку, выложил наверх несколько документов. – После обеда, в два часа, подходи, вместе зайдём к директору, я его подготовлю. Выведем тебя прямо на поставщика, без посредников, это приличные деньги тебе спасёт.

Надцонов помялся, взял папку, в глаза не смотрит:

– Прощения прошу, не в курсе таких дел. За эту льготу платить надо?

– Кому? – спросил начальник и улыбнулся: – Тебя в лизинговой напугали, что в департаменте надо взятку давать? Твою мать, доберусь. Мы эту линию используем для поддержки начинающих. Ладно. Жду.

Не стал ничего объяснять Захарову, закрыл ангар, бункер, шланги и электромоторчики пологом обтянул, а вечером привёз Ваню Хроменького, мужик трезвый и без работы. Велел подтапливать избушку и смотреть, чтобы к комплексу никто не подлез.

Только бы погода не подвела. Крестьянину испокон веку надо, чтобы в последней декаде апреля было тепло, чтобы зябь трактор с боронками приняла, чтобы сорняк, особенно овсюг, на радостях выщелкнулся, вот тут его под нож культиватора или дисков. Тогда можно пашенку готовить под посев. Опять желательно, чтобы в майские праздники обильно помочило, но потом тепло и чтоб безветрие. Ветер в такую пору страшный враг, тоннами воду высасывает. Ну, тогда с десятого по двадцатое мая ни бани, ни бабы, перекусить на ходу парой котлет, запить холодным квасом – супы и пельмени, баня жаркая и подзабытые жёнины ласки будут потом.

Пришла долгожданная посылка из Сочи с семенами мака. Надцонов вскрыл ящик, сверху письмо:

«Дорогие сибиряки, мы очень рады, что в вашем суровом крае вновь зацветут маки. Мы специально взяли более жёсткие сорта, потому что хоть и особые условия, как вы пишете, в Красной Поляне, но всё равно это не юга. Потому советуем высеять их при температуре почвы не ниже 10 градусов, высеять грядками вручную, просто развеивая семена не очень плотно. И сразу непременно прикатать и полить. Грядками потому, чтобы можно было при нужде полить, подкормить или подлечить. И постоянно наблюдайте, особенно в первый год. Коробочки с семенами начнут созревать уже после увядания самого растения, хотя могут и раньше. Так что не переживайте, время от времени вскрывайте одну коробочку, сразу видно, созревают семена или нет. Никаких денег оплачивать не надо, приказом директора эта посылка оформлена как подарок сибирякам. Желаем удачи и пишите постоянно.

Сотрудники Сочинского института декоративных культур».

Это Веста посоветовала Володе написать в институт, понятно, что и там перемены, но не настолько, чтобы совсем про цветы забыли. Весь вечер сочиняли письмо, получилось на трёх страницах, убедительное. И вот результат.

Утром Владимир съездил на Красную Поляну, прошёл вдоль и поперёк. Вернулся, ребята комплекс собирают, инженер из техноцентра подсказывает. Тоже включился в работу, к обеду закончили. Молодого Алёшку и настырного Арыкпаева отправляли на учёбу, «Джон Дир» – не «Беларусь», в кабине, как в самолёте. Ничего, проучились и экзамены сдали. Надцонов не удержался:

– Парни, есть возможность проверить агрегат, Красную Поляну надо под посев подготовить.

– Поделись, что ты там сеять собрался, – спросил въедливый Арыкпаев.

И тогда Надцонов поведал друзьям все свои хлопоты по изучению истории и возможности восстановления цветов на поляне. Даже молчаливый Барабенев не удержался:

– Молодец. Это тебе не овсюг дисковать.

На поляну поехали все вместе, Алёша за рулём, остальные в «уазике». Хотел Весту с собой взять, ведь и её труды и заботы, да на последних днях она, рожать скоро. Поднялись узкой дорожкой между холмами, спустились через лес, запущенный в последние годы, когда лесников вдруг сократили. Даже пожар в прошлом году начинался, большой колок выгорел, но отстояли. С декаду потом, до первого дождя, поочерёдно дежурили деревенские, а мальчишкам строго-настрого запрещено было в тот лес ходить.

Когда выехали на поляну, Надцонову даже показалось, что она обрадовалась, она его встретила, раскрыв широкие объятия своих окраин. Он тоже ей улыбнулся и, чтобы кто из мужиков не заметил, прошёл на середину и тихо прошептал:

– Ты уж прости нас, родная земля, что мы тебя бросили. Всё о брюхе своём печёмся, как говорит Антон Николаевич, а о красоте забываем. Вот от имени своих мужиков обещаю тебе, родная наша Красная Поляна, вернём мы тебе и красоту твою, и имя твоё.

Пожалел потом, что не взял с собой старика, обернулся, а он с холма спускается, ноги заплетаются. Завёл «уазик» и навстречу.

– Я ведь сразу смикитил, куда ты направился, да не успел прицепиться, одышка, чтоб она пропала. – Дед посерел лицом, взмок.

– Антон Николаевич, ты что, сердце клинит?

– От радости, ребята, на крыльях летел, успел, уж вижу Красную Поляну всю в цветах, вот она, красавица, как в старые годы, бывало. Я ведь, ребята, перед венчанием за цветами сюда ходил со своей Феклушой...

Он замолчал, прилёг на правый бочок и затих. Мужики оторопели. Владимир прислушался к сердцу, да так и уткнулся в костлявую грудь старика. Когда пришли в себя, тело загрузили в машину, Володя рванул к медпункту, сам не зная, зачем. Фельдшер выскочила, глянула на старика и кивнула:

– Вези домой, Володя, хоронить будем деда Антона.

Поехали в столярку, молча пилили и строгали сухие доски. Владимир уже не стыдился слёз, мужики знали, как дружны они были с покойным. В открытые двери столярки вбежали девчонки, Нюрка с Шуркой, сестрёнки Володиных:

– Братец, Веста мальчика родила. Только что. Три восемьсот.

У Надцонова фуганок из рук выпал. Встал, обнял друзей:

– Ребята, душевное хочу сказать и вас призываю в соратники. Чтобы жила наша земля! Чтобы воспрянул наш род крестьянский и выросли цветы на Красной Поляне! А имя деда Антона будет жить в сыне моём. Цветами укроем мы нашу землю. Клянусь!

И заплакал навзрыд.

Мои грибы

Сказ.

Хожу по утреннему сонному лесу. Грустно хрустит валежник под робкой ногой. Еще год назад живые ветки потрепанных временем берез пали, чтобы стать прахом. Ветра нет, он есть небольшой там, на опушке, а в глубине березового колка не шелохнет. Комарам простор. Они висят в воздухе, наполняя пространство удивительно тонким пронзительным звуком. Пауки сплошь раскинули свои сети, сами настороженно сидят в верхнем углу паутины, ожидая жертву. Солнце почти не пробивается через березовый купол, глаза привыкают к нежному сумраку. Я ищу грибы.

Из всех деревенских промыслов этот единственный, на который всегда езжу охотно. Машину оставляю в первых березках, в стороне от дороги, запираю на ключ, который прячу под травяной коврик у колеса – чтобы не потерять. Объемная корзина досталась мне по наследству, сейчас это, пожалуй, единственная материальная память от родителей. Бросаю в нее нож и осторожно вступаю в лес. Вкусно пахнут грибами. Их еще не видишь, но знакомый с детства дух возбуждает азарт. Дух и запах, наверное, не одно и то же. У нас в деревне говорили: *а дух-от какой!* Это когда очень радостное что-то, приятное. Еще – духмяный. А запах – более общее, он может быть и грубым, неприятным.

Глаза быстро приспособляются к новым цветам и объемам, отмечают едва заметные бугорки, это гриб приподнимает слой перепревших листьев, и они становятся

его шляпкой. Так растут все грибы, потому под первыми шляпками обнаруживаю *поганки* – так у нас звали грибы, имен которых не знали и которые никогда не собирали. Вообще в наших местах брали только грузди, которые называли *настоящие*, и сухие грибы, *суханы*.

Отец выполнял в колхозе какие-то обязанности, и ему положена была лошадка с ходком. Ходок – облегченная телега, без платформы, вместо нее собранный из жердей каркас. Еще были кошевки, плетеный из тонких прутьев кузов ставился на легкий ходок, но то для начальства. Когда собирались по грибы, мама застилала ходок брезентом и старыми половиками. Выезжали рано, отец уже хорошо знал, куда ехать, он вообще знал ягодные и грибные, *груздянные* места. Добравшись, распрягал лошадь, спутывал ее и отпускал, привязав вожжами к телеге. Сам отходил чуть в сторону, садился, скидывал *деревяшку*, самодельный протез, который заменял ему потерянную на войне ногу, и начинал искать. Меня отправлял в дальний угол леска, и наказывал, чтобы резал только маленькие грузди, *чтобы не больше свиной бирьки*. Но я видел лишь шляпы, настырно выставившие себя на показ, они не все были червивые, я складывал их в корзину, а отец у телеги безжалостно выбрасывал, беззлобно матерясь. К вечеру большая часть ходка была завалена грибами, мама укрывала ценный груз, освобождая в передке место для нас. Отец брал вожжи и тихонько выезжал на дорогу.

У него был зоркий глаз. Он с телеги замечал одиноко стоящие *обабки*, так у нас зовут подберезовики (Даль с этим согласен), и командовал, чтобы я срезал. Отец запрещал рвать грибы, только срезать под корень, чтобы не испортить гнездо, хотя в обиходе было *ломать грибы*. До сих пор я не уверен, как правильно надо вести себя с грибным гнездом, чтобы не испортить. Где-то читал, что именно сламывать нужно, но всегда режу, как научили.

Обабки да еще опята, *опенки* – вот и все, что мы знали и без сомнений ели. Обабки годились только на скорую еду, их не готовили впрок, вообще тогда в деревне не знали другого способа заготовки, кроме соления да еще сушки. Их сразу по приезде чистили, мыли, мелко крошили и тушили в сметане или растительном, *постном*, масле. Когда мама ставила на стол большую глубокую сковороду, отец выразительно на нее взглядывал, и она с пониманием приносила нам литровую банку бражки. Бражка у нее всегда была выстоявшаяся, чистая, приправленная пережженным сахаром, оттого густого темно-коричневого оттенка и с аппетитным запахом. Больше половины сковороды съедалось сразу, а поздно ночью, вернувшись с *гуляний*, я с удовольствием ложкой черпал прохладную, тягучую массу.

Опять в конце августа отец нарезал на вырубках со старых пней помногу, их крошили и сушили под сараем на тех же половиках и брезенте, потом укладывали в старые подушечные наволочки и подвешивали на печке или на полатах. Зимой часто варили опенницу с крупой, ложка сметаны или даже молока делали этот ароматный суп очень вкусным.

Грибы на крестьянском столе занимали особое место. Конечно, наши не знали, что гриб по каким-то качествам заменяет мясо, я и сейчас не особенно верю, но грибной суп варили, с картошкой тушили, пироги стряпали. Вкус пирожков с крупой и груздями мстительная память хранит и издевается: не доводилось более вкушать таких. А может, что-то с ощущениями?

Дома грузди и сухие грибы раскладывали в бочки, тазы и ванны, заливали холодной водой, через день воду меняли, предварительно прополоскав каждый гриб. Бахрому у нас не чистили, потому, случалось, груздочек не только смачно похрумкивал, но и поскрипывал попавшими на зуб песчинками. Немцы Поволжья, переселенные к нам во время войны, грибную бахрому убирали сразу, к этому наши бабы относились с недоумением, как и к тому, что немцы среди лета щипали пух с живых гусей.

Грузди и суханы растут *деревнями*, вокруг одного ищи его собратьев, которые прячутся недалеко от основного гнезда. В наиболее удачные годы в прострельных березовых лесках они могут жить сплошняком, и тогда такой азарт охватывает охотника, что не успеваешь обрезать, взгляд так и шарит вокруг, отыскивая следующий груздок, и ты перебегаешь с места на место, счастливый и возбужденный.

Наибольше удачные случаи помнятся всю жизнь. Однажды соседка бабка Таня попросила отвезти их с дедом на сенокос, прошли дожди, и надо было переворачивать сено в валках. Ранним утром мы приехали на покос, который нешироким языком врзался в березовый лес. Дед деловито прибирал вилы, сумки и топорик, а бабулька черенком легоньких грабельцев начала было переворачивать ближний к лесу валок едва подсохшей травы, но закричала, чтобы я бежал к ней. На освобожденной от сена еще влажной земле, между щетиной стерни красовались ровные фарфоровые груздочки. Их было много, рука радовалась от прикосновения к прохладной скользкой поверхности молоденьких груздей, я опрокидывал подбывавшую траву на прокос, обнажая беленькое неожиданное чудо. Такого больше мне не приходилось видеть, это подарок природы, редкий, и оттого сладостный.

Не грибы в радость, а встреча с ними.

С апрельским теплом у нас дома открывали погреб и доставали картошку, квашеную капусту, соленые огурцы и грузди – все, что было положено *до весны*. Определяли, что можно продать в городе на базаре. Кадку с груздями добывали из погреба всем околотком. Мужики обвязывали ее веревками, мама протирали от сырости тряпичей, под «Ну, ишо раз!» центнеровая кадушка выплывала в пространство сарая. Отец ездил в город сам.

Середина прошлого века не была сытной и беззаботной для ребятни, каждый вечер на ужин варили чугуны картошки, чаще всего *в мундирах*, картошку вываливали на стол, тут же стояло блюдо с квашеной капустой, солеными огурцами и груздями. Груздочки, помнится, были лакомой закуской в молодые годы, так и говорили: груздок под рюмочку. В этом была своего рода эстетика. Теперь так уж не выпивают...

В Литературном институте, в Москве, познакомился с молодой поэтессой, дочерью известного дипломата. Конечно, не только грибами памятли те годы, но вспомнил кстати, что по ее просьбе приволок из дома на сессию банку соленых грибов, для отца. Он, бедный, так тосковал по деревенской природе, сам владимирский родом, что на госдаче посадил с десятков привезенных с родины грибниц, но они, видно, не особенно разрослись.

Давно заметил, что люблю быть в лесу один. Встретив первый гриб, режу не сразу, осторожно очищу от листвы и травы, полюбуюсь, поговорю с ним: «Да миленький ты мой! моя ты красота!». Незаметно уходишь в природу, время исчезает, вытесняется из души вся суетная дурь, и в голове абсолютная свобода. Ощувив это хоть раз, поймешь

Василия Макаровича Шукшина в его встрече с березками в «Калине красной»: «Красавицы, невестушки, заждались!»...

Солнце поднимается высоко, воздух нагревается, обостряются запахи. В корзине не очень много грибов. Голова приятно шумит, ноги устали. Да, а когда-то по всему дню шастали по лесам. Свидание с лесом подходит к концу, надо возвращаться в мир людей, жесткий и беспощадный. Морозным зимним днем соленые груздочки напомнят об этих минутах. Положу их в обширное блюдо, на деревянный поднос вывалю вареную картошку. Погрущу, а может и поплачу.

Что гриб, вроде пустяк, а вот на размышления наводит...

Наказ

Рассказ

Сегодня особенно гордо сидел Федор Петрович на источенном временем и истыканном окурками бревнышке: степенно рассказывал соседям про письмо сына, полученное утром. В том письме Геннадий писал, что в отпуск нынче приехать не удастся, и приглашал отца к себе в Москву, просил сообщить согласие и обещал прислать денег на дорогу.

— Чудак-человек, — рассуждал Федор Петрович, затягиваясь сигареткой. — Деньги он мне пришлет! Как будто я зануждался. Вот чудак!

— А ему там с чего разбегаться? В таком городище как шаг ступил — пятак, еще раз — десятник, — это Панфилович, сосед, предостерегает друга своего.

В тон ему Матрена Ивановна жизнерадостно поет:

— Корыстно в городах жалованье. Генка-то получит, поди, аванец, и ума не даст, куда с ним: либо на базар, либо в лавку.... Широка сотня-то. Ешь, пей да вперед береги.

У Матрены зять на тракторе работает, деньгу гребет, по причине язвы вина ни-ни, за каждую услугу — вспахать, дров, сена привезти — берет наличными. Мужики его попросту не замечают, а в деревне строже наказания нету, но жена и теща довольны...

— Про Генку у меня голова не болит, он в такой организации робит, где деньгам счету нет. Они тем все на окладах сидят. Отдай и не грешь.

— Сколько? — встрепелась Матрена Ивановна.

— Три с полтиной, — не моргнув, соврал Федор Петрович. На бревнышке ахнули. — Грех говорить-то, Геннадий мне запрещал, но раз такое дело... Дак ведь Генка-то рядом с имя робит. — Он несколько раз ткнул пальцем в небо. — Да. И отпуск не дали. Наверно, опять с американцем или с каким-нибудь эфиопом полетят. Генка там должен быть, без Генки нельзя...

Уверенность его возымела действие. Разговор о Геннадии кончился сам собой, посудили про погоду, про тронутый солнцем урожай и разошлись.

Федор Петрович долго не спал. Не давало покоя, что соврал. Кое-как угнезвился, подремал, со светом поднялся, управился во дворе, дочиста вымел ограду. Велел жене собрать малосольных огурчиков и грибов, кое-какое варенье, сам уложил в чистую тряпицу солидный кусок вяленого мяса. Груз получился приличный, кое-как влез в две большие сумки, когда-то привезенные Геннадием и оставленные за ненадобностью. Федор Петрович отсчитал сотню, спрятал во внутренний карман и для верности пристегнул булавкой. Еще четвертную, набранную рублями и трешками, положил поближе... Сказал жене:

— Ну, оставайся, через дней двадцать вернусь, как хорошо примут.

Скоро он уже качался в самом раннем автобусе, идущем в город. Сел он вместе с Василием Погорельцевым, Василий путано и многократно пытался рассказать Федору Петровичу о цели поездки в райцентр.

— Я уж который год прошу. В газете было напечатано, что бесплатно, а они мне: плати половину...

Федор Петрович хорошо знал эту историю. Василий спал и во сне видел «Запорожца». Через тридцать лет пришел ему орден «Красная Звезда», военком при вручении при большом скоплении народа сказал, что герой Погорельцев в скором времени получит легковую машину. Дело оказалось гораздо сложнее. Или в беседе были малы фонды, или другие причины, только Василию всякий раз говорили, что инвалидам третьей группы, к которой пожизненно теперь принадлежал Погорельцев, легковые машины бесплатно не положены...

Василий был изумлен, когда узнал, что Федор Петрович едет в самую Москву. Он надолго замолчал, отвернулся к окну, изредка сморкался в платок и вздыхал. На вокзале отвел Федора Петровича в сторонку под акации.

— Петрович, ты там время избери, сходи на Красную площадь, к могиле маршала Рокоссовского. Как никого не будет, ты тихонько скажи; «Так, мол, и так, товарищ командующий, от сержанта Погорельцева В. С. поклон. Ну, там прибавь чего, сам увидишь по обстановке...

Федор Петрович слушал рассеянно, думая о своем.

В поезде залез на верхнюю полку, лежал до темноты, потом все улеглись, он тоже успокоился, но уснуть не мог. Перед глазами стоял Василий Погорельцев.

Он знал его с малых лет, на фронт пошли в один призыв и вернулись в одно лето сорок шестого. Федор Петрович дослуживал, Василий тем временем в саратовском госпитале привыкал к протезу. В деревню прибыл на двух ногах, деревню своим

прибытием насторожил, потому что Варвара, жена его, еще три года назад сошлась с эвакуированным учителем и перешла к нему в сельсоветскую квартиру, предварительно по-хозяйски заколотив окна и дверь своей с Васильем хаты.

Деревня ждала событий, а Василий как назло сразу зашел к сестре, там организовалась компания, в которой никто о случившемся не вспоминал. Только когда стало темнеть, Василий молча вышел из дома.

...Учитель неловко сидел у стола, Варвара с кутней стороны перебирала клубнику. Его ждали. Василий, чуть хромя, пришел к столу и сказал спокойно:

— Ну, Варвара Семеновна, собирай свое барахло, домой пойдем, жить.

Как там что было, никто не видел и не слышал, только утром их избушка улыбалась деревне свежевывмытыми окнами...

Федор Петрович ехал к сыну первый раз. Десять лет назад Геннадий сразу после службы в армии, забыв про дом, остался в Москве, на удивление всей деревне сдал экзамены и шесть лет учился, никто не знал, на кого. Он приезжал каждое лето, чуть свет уходил на дальние омуты, рыбы приносил полное ведро, с мужиками снисходительно пил бражку и доверительно говорил отцу о некоторых тонкостях своей работы, каким-то образом связанной с космонавтикой. Как-то предупредил его между прочим, чтобы он не говорил никому его адреса, потому что многие деревенские стали ездить на юг и могут некстати забежать в гости...

Лежа на бессонной вагонной полке, думал и думал Федор Петрович над Васильевым наказом. Ни разу до этого не было разговора о его военном пути. Почему же там, под акацией, говорил он таким голосом, что за всей своей отрешенностью от разговора Федор Петрович слышал потом до тоски на сердце знакомое и болезненное, неосознанное и не дающее заснуть здесь, на верхней полке полупустого вагона?

Он задремал незаметно, натрудив память едва уловимыми воспоминаниями, и во сне слышал трубы, медный звон их — то торжественный, то траурно-грустный, как будто прощальный. Звуки то исчезали, то появлялись с новой силой, сопровождаемые барабанными переборами...

Проснулся Федор Петрович поздно. Убаюкивающее покачивание вагона, сдержанный говор внизу уходили за пределы реально ощущаемого мира, Федор Петрович чувствовал себя над этим временем, думы растворялись, и ни одна не находила конечной цели. «Василий, Панфилович. Максим, Костя, — он перебирал в памяти тех, кто еще жив. «Генке не буду ничего говорить, сам съезжу». Поймал себя на мысли, что все-таки собрался просьбу Василия выполнить и осторожно удивился, что нелепость наказа отдалилась, что видел он сейчас какой-то большой смысл в просьбе Василия, смысл больший, чем сама просьба...

Геннадий встретил его у выхода из вагона, горячо обнял, давая носильщику знак забрать сумки. По перрону вел отца под руку, отчего Федор Петрович чувствовал себя неловко. Выпростал руку:

— Ведешь меня, как бабу.

— Так тебе удобней,

— Удобней! Не на цепочке, а привязан.

— Ну, батя, к тебе никак не приспособишься.

— А ты не приспосабливайся, не надо.

Вместе с носильщиком прошли к остановке такси, сын щедро рассчитался, а Федор Петрович подумал, что и сами, два мужика, могли донести сумки, но ничего не сказал. От площади трех вокзалов отъехали уже солидно, когда Федор Петрович вдруг спросил:

— Генка, ты Василя Погорельцева помнишь?

Геннадий чуть замешкался, потом просиял:

— Который школу чуть не спалил?

Был, действительно, такой случай, когда Василий истопником в школе работал. Если бы из пекарни ночная смена не увидела, сгорела бы школа, и Погорельцев был бы тому виной как истопник. Отец не возразил: ругать старшего сына он отвык. Сказал только:

— Васька-то под началом у Рокоссовского воевал, две «Славы» у него да «Красная Звезда». Васька — герой.

Геннадий не обратил внимания на его слова. Федор Петрович возмутился:

— Я говорю: Васька-то герой.

— Ну, чего он тем сделал еще, герой ваш? — с улыбкой спросил Геннадий.

Отец оторопел.

В сознании его вновь зазвучали трубы, те трубы, что не давали ему спать ночью, примешивая к своему торжественно-траурному звучанию неритмичную дробь барабанов. Неужели трубы эти — скорей всего свист ветра, самые яркие сполохи их — гудки своего и встречных тепловозов, а барабаны — перестук колес на стыках?..

В оплаканное ненастной Москвой стекло он видел раскрытые книги домов Калининского проспекта. Машина, став частью потока, сделала его частицей этого большого города. Федор Петрович тронул шофера за плечо. Тот привычно повернул голову вполоборота;

— Сынок, заверни-ка на Красную площадь.

— Зачем, батя? — насторожился Геннадий.

— Не мешай, — спокойно сказал Федор Петрович. Машина остановилась в тупике, шофер сказал, что дальше ехать нельзя и что он подождет при условии аванса. Федор Петрович положит на сиденье синенькую бумажку.

По площади шли молча. Взявшись за канатик, он смотрел на молоденьких часовых и молоденькие ели, Геннадий не мог уследить за его взглядом и потому не мог ничего понять. "Докладываю вам, товарищи командиры, которые в стене, и отдельно тебе, маршал Рокоссовский, что живы еще ваши солдаты Васька Погорельцев и Федька Бородин, кланяются вам и желают светлого места. На том извиняйте, посторонние тут".

Он чуть заметно поклонился и стер ладошкой туман с глаз.

Когда пошли обратно, Геннадий, чтобы завязать разговор с отцом, спросил:

— Василий-то, что, умер?

— Еще живой, — сказал Федор Петрович.

— Почему ты его вдруг вспомнил? — настаивал сын.

Отец молча шагал по крупной брусчатке, совсем не слыша сына, принимая из далекой памяти нечеткие звуки, помогающие настроить шаг.

— Батя! — окликнул Геннадий.

Музыка исчезла. Федор Петрович смутился, потоптался на месте.

— Что с тобой, отец? — Геннадий взял его за плечи, посмотрел в глаза. — Нельзя же так волноваться. Ну, понятно, Красная площадь, сердце страны, и так далее. Первый раз это всегда волнует.

Федор Петрович усмехнулся горько;

— Вот ты прав, Генка. Первый раз до холода вот тут, — он постучал по груди, — волнует, так волнует, что сам себя не помнишь.

Генка его не понимал.

— Оттого и плохо помню сейчас, как мы тогда с Васильем строевым шагом вот тут-ка шли. В сорок первом, седьмого ноября... Как трибуне откозыряли. Потом сразу на фронт. А вот музыка была тогда или нет — убей, не помню. Вроде как была...

Генка теперь не мешал разговором. В машине ехали тоже молча. Федор Петрович все больше приободрялся, чувствуя только ему понятную радость от того, что сумел выполнить наказ фронтового товарища Василия Погорельцева, и уже считал свою поездку в Москву законченной. Выложить огурцы, грузди и банки с вареньем, а также кусок вяленого мяса, завернутого в чистую тряпицу, — дело не сложное.

Вопрос в том, разрешит ли Генка взять завтра на Красную площадь трехлетнего Дениску. Для Федора Петровича это очень важно. Услышит ли Дениска трубы?

После метели

Рассказ

— Марья Сережиха задергушки с окошек сняла, знать-то опять изловила своего долгоспанного у шмары. — Максим выхлопал о деревяшку изрядно поношенную шапку, снег разлетелся по избе, смочив полосатые половички. Он прошел в передний угол, сел на лавку и снял протез.

— С чего ты взял, что изловила? Можя, простирнуть сдернула занавески.

Жена Груня всегда ему возражала, Максим не сердился, согласись она — и поговорить будет не о чем. Март навалил снега, между домами с ляги наклало сугробов, что не перелезти. С последнего бурана Максима заперло дома, выбирался только в проулок, который ветер продрал до мёрзлой комковатой земли, тут и высмотрел пустые Сережихины окна.

– Не накатали дорогу-то? – Груня неделями не выходила в деревню, да и зачем? Картошка в подполье, мука в сусеке в холодных сенках, сахар с осени наменяли у Петропавловских казахов на овес и ячмень. Свинная тушка висела в сенках, Максим тут же на чурке рубил топором, дробя кости, осталась задняя ляжка да ребрышки. Сказал, что мясо срежет и засолит, а после повесит на жердочке под стрехой – вялить.

– Кто её накатат? – Максим продул муштук и заправил самокрутку. Табак уж сколько лет рубил сам, Антоха привозил базарные сигаретки, чуть не задох от них. Самосад привычней, в войну ему высылали на фронт афонский табачок, вся батарея наслаждалась. Политрук шутил: «От вашего табака фашисты в окопах чихают». Уж после узнал: табаком деревня спасалась, на санках в Петропавловск возили бабы, на базаре спрос хороший, тем и налоги платили, и облигации выкупали. У Груни вон вся крышка сундука изнутри облигациями уклеена. Максим выкамурирует: «Вот объявит товарищ Хрущев, что выкупат гумажки – отмачивать будешь». Понимал, конечно, что навечно они в сундуке, но промолчать не мог.

Еще до мартовской падеры, когда скотники на широких дровнях укатали январский снег в улице, и Максим ходил по насту, не проваливаясь деревяшкой до нехорошей боли в культе, выгостился он у Артема Лаверовича. Темным вечером видел в окошко, что огородами к заднему двору председательской усадьбы притащили трактором добрый стог сена. Утром пошел по следу, клочок сена подобрал: лесное, июлем дышит, хоть чай заваривай. А после обеда пошел к другу. Воевали вместе, один ногу оставил, другой руку – малой кровью это называли. Но Артюха сомустился и написал в партию. Сразу медаль получил, потом старшиной стал. После войны, как партийного, его назначили заведующим фермой, но случился падеж скота, и как раз Сталинский закон о социалистическом животноводстве. И загремел бы друг на лесозаготовки, да аккурат в эти дни вызвали Артема в военкомат и повесили большой орден. Судить не стали, а с должности сам ушел, испугался, в другой раз орден может не погодиться. Вот ему и хотел высказать Максим про председательское сено.

– Артём, что у вас в партии за порядки? Если член, то начальник, а если начальник, то жулик. Да, и не выбуривай на меня.

– Макся, ну, не все ведь жулики.

– Да уж... А с сеном что будем делать? Надо на собрание поднять Ероху, пусть вернет сено телятишкам.

– Макся, ты как дитё малое. Ну, кто поднимет Ерохина? Он же председатель. Ты вот сыну своему...

Сын Антон давно живет в районе, большой начальник, это Максиму его крестный Владимир Прокопьевич сказал. В газетке чин, в прошлом году критиковал колхозное правление, крестный приходил с обидой, что и ему перепало. Максим велел выписать газетку и читал ее на вытянутых руках от названия и до знакомой фамилии на последней странице. Антон в апреле приезжал дрова пилить, летом сено косить. Да и просто в выходной мог подкатить на «бобике», забежит, бывало:

– Мама, сорви пару огурчиков да горсточку лучку защипни.

Максим у раскрытого окна, все слышит и видит. На заднем сиденье за занавеской бабочка схоронилась, ждет не с терпением. Сын к открытой створке с улыбкой:

– Папка, я в субботу приеду, помогу картошку огребать.

– Я седни куда погребешь? Ох, Антоха, узнат Настёна, она тебе все хозяйство на пятаки порубит.

– Что Настена – пошумит, поплачет и простит. Папка, партия всего страшней, сильно ревнивая женщина. – Сын отцу это тихонько, шепотом.

По партийной линии у них уже была стычка. Тогда приехал Антон на попутках, в сельпо забежал. Максим сидел в горнице за столом, просунув под стол деревяшку, и с тоской глядел поверх домов на бескрайнюю Кизилровку, где в старые годы на Паску устраивали конные скачки, в которых нелепо погиб старший брат Никита, на гору, где все еще видны были колчаковские окопы, из которых солдатики стреляли в красных, а пуля попала прямо в окно и пробила филенку горничных дверей. Маленький Максим не успел напугаться, нянька Анна схватила его и толкнула матери в подпол.

Антон прошел вперед и выставил бутылку водки на середину стола. Максим подозрительно посмотрел на него:

– По какому случаю магарыч?

Антон с гордостью сказал:

– Папка, я в партию вступил.

Он видел, как трудно выпрастывал отец деревянный протез из тесного пространства между столом и стулом, наконец, Максим встал, глянул на бутылку, на сына:

– Антоха, вот что ненавижу, то Бог дал. – И пошел, тяжело припадая на правую ногу.

Это больше не вспоминалось, только раз Антон заговорил с отцом:

– Папка, ты воевал за советскую власть, за Сталина. А партию не любишь.

Максим не знал, что ответить. Воевал, и все воевали. Сталина жалко, выкинули дедушку из мавзолея, кому мешал? А партия... Три члена живут в околотке, и все хоть некорыстные, а начальнички, он видит, как телятишек–сеголеток везут пастухам-казахам на отгоны, а осенью сдают быков трехцентнеровых, как зерно тихонько привозят свиней кормить... Ничего тогда сыну не ответил, а теперь снова надо этот разговор заводить.

– Пропиши про это в газетке, вот тогда люди узнают, что есть правда. Мне за ногу дают восемнадцать рублей, и я живу. А Ероха на всем колхозном. Это как?

Теперь уже сын не ответил. Помолчал, поднялся:

– Пойду баню подтоплю.

Тоскливо Максиму, с Груней много не наговоришь, да она и не знает деревенских новостей. Самому бы дойти хоть до Ивана Лаврентьевича, в карты поиграть, пошпакурить, но не накатали след в суметах, скотники, видно, вокруг деревни ездят. Случись в такое время помереть – на рукотертах понесут, а куда деваться, до весны не оставят. В прошлый раз крепко сошлись, пятеро мужиков: Киприян, Мишка Лепешин, Алеша Крутенький, да они с Иваном. Сразились в свару, Максим жене ничего не сказал, неловко, но в тот вечер карта ему шла, три банка забрал, заприхотывал, потом мимо да мимо, и проиграл пять рублей. Заикнулся было у хозяйки перехватить тройку, только Ульянка осадил: «Уймись, раздухарился! Скажу вот Груне!». Не сказала, но Максим долго не мог в толк взять, как его занозило, не сразу понял, что продулся.

Максим не был выпивохой, дома бражка не выводилась, ну, принимал после бани бокальчик, а больше – нет, хватало. Только иногда приходил «с обходов» под хмельком, Груня не ругалась, нет у неё такой моды, только улыбалась: «Опять прихватил где-то?».

Максим соглашался: «Не говори! Шел по улке, ничем-ничего, а у Прокопия Александровича кампанья. Загаркали. Принял стаканок».

Антон с осени не бывал, Максим в душе казнил за язык свой, но тихонько радовался, что сын в него характером, упертый.

Тот год был шибко неловкий, хлеба не намолотили, сена не припасли для скотины, а, как на притчу, ранняя зима упала. Прикинули начальники, что с таким фуражом к весне коров на веревках поднимать придется, стали выход искать. И тут наука подсутилась: солома есть, понятно, что таком виде она несъедобна, надо ее размягчить, дробленкой сдобрить, и будет приличный корм. В районе провели показательную закладку такой рецептуры, райком дал команду редактору подробно осветить всю технологию, чтобы распространить передовой опыт по всему району. Антон с фотографом засняли все по порядку: в силосную траншею укладывается слой соломы, поливается раствором каустической соды, далее слой силоса, слой дробленого зерна, потом снова по кругу. Вся закладка накрывается пленкой, сверху соломой и землей. Через неделю можно открывать и давать скоту. На двух страницах газеты с фотографиями напечатан передовой опыт.

Антон приехал без семьи на машине, загнал в ограду, слил воду. После бани сели за стол, Груня поставила кринку отстоявшейся бражки, в жаровне утка с крупой из русской печки, в тарелках грузди, огурцы, капуста. После первого стаканчика разыграли утицу, Максим оглодал крылышко, вытер полотенцем руки.

– Антоха, ты какую муйню в своей газетке пишешь?

– Что опять не так? – насторожился сын.

– Да все не так! Ну, ты же деревенский житель, сам сено косил, скотину кормил зимой. Ты хоть раз видел, чтобы мы корову соломой кормили? Было, что и соломой, но до тебя. А ты умодил: каустиком солому полить, и корове.

– Папка, это не я придумал, это ученые предложили, ты же знаешь, какое положение с кормами.

– Весной надо было думать! Не перегонять друг дружку, кто раньше отсеется. Молчи, и ты подхваливал: ранний сев! И куда теперь с этой соломой? Наши придурки на неделе открыли яму, ветер на деревню, едва не сдохли. Я в Омск за протезом ездил, на станции Ишим в тавалет ходил – точно такая вонь, передо мной, видно, в яму каустика набросали. Кое-как наружу вырвался, штаны на ходу застегивал. Ну, навалили в кормушки – коровы морды воротят. Правда, Антоха, на твое счастье одна жрала по полному рту.

– Вот видишь! – обрадовался редактор. – Значит, ей попал правильно приготовленный корм.

– Нет, сын, не угадал. Она, наверно, партийная.

Груня – от греха подальше – ушла в горницу. Сын встал из-за стола, накинул шубейку и вышел. Максим видел, как он залил в машину горячую воду из бани, открыл ворота и уехал. С тех пор не бывал. Мать ходила в контору, просила Владимира Прокопьевича позвонить, приходила домой в слезах. Только Максиму ничего не говорила. Он не любил, когда кто-то вмешивался.

Семья

Сказ

– Свята икона, вот сижу и думаю, с которого краю начинать, потому как житуха наша жалостливая и никчемная, а жить-то надо, хоть новой раз и взбрыкнешь: «Да лучше бы Господь прибрал, чем все это видеть и пропускать, а сердце не каменное». Как-то посередь улицы обмер я, завалился, медичку привезли, отдула, в район отправила. А там нашего брата в каждой камере по шесть, сестричка забежит, таблетки на стол кинет и гумажки с фамилией, а я глянул через увеличительные очки, в которых за пенсию расписываюсь: бог ты мой,

таблетки-то все одинаки. Сижу на койке и кумекаю: тот с грыжей, этот с животом пособиться не может, у меня кровь в башку кидаются, аж в глазах темно. Не стал ничего говорить, собрался и вечером с автобусом домой.

Живу я девяносто лет, а сны вижу цветастые, радугу вижу и птиц райских. Проснусь, и до того на душе светло и томно, что лежу и не шевельнусь, знаю эту причину: как только ворохнёшься – сразу все виденья пропадут, и окажешься один на один со старостью. Я, грешным делом, стариком себя не осознаю, ну, знамо дело, и сила не та, и работы той, что раньше робил, уже не сдюжить, опять же, как венчанную свою проводил, так к женскому полу никакого стремления. А речи про меня разные в деревне, будто знаю травы и заговоры от слабину мужщинской, даже бабы стучались вечерней порой: «Пропусти, сил нет, чем хошь одарю». Все как есть правда: и травы знаю, и другие разные приспособы, но только при большой нужде помогал семьям. Зачем мужику дурь нагонять, если рядом с ним желанная бабочка и близко к сердцу? Чего про меж их бывает, каждый должен испытать, иначе и не жил на свете. Сам через то прошёл, помню, а в чужой кровати и после взвару того не достигнешь. Был у нас в деревне бык-производитель, водили его по дворам, исполнял свою службу, вот так и мужик иной, единожды в том краю ночует, потом в другом.

Ну, полно об этом. Когда новая жизнь случилась, флаги снимали, партийных с должностей поперли, кто-то сказал, что вот теперь коммунизм и наступит. Я, грешным делом, столько разворотов за свою жизнь испытал, и только одно усвоил: после, как вверху начальство новое сядет, добра мужику ждать неоткуда. Так и тут.

Живет со мной рядом в приличном доме, еще при колхозе ставили, хорошая семья. Нет, не могу притворяться: жила та семья. Мужчина, хозяин то есть, дальней родней мне по старухе приходился, в колхозе механиком был, Михаилом Гавриловичем звали. Ну, по мне просто Михаил, да и никаких возвеличиваний. И он ко мне славно относился, вообще с народом был запросто. А когда все ломаться-то начало, колхозишко и потянули, кто сколько сможет. Я сам слышал, как баба евоная во дворе чистила муженька, что даже трактористы на двоих один трактор упрятали, а ты начальник, механик, ржавого болта не принес. А он молчит, но и она не со зла, хотя надо сказать, женщина она резкая, прямая. Да и сама из себя бабочка – есть на что глянуть. Михаил, видно, души в ней не чаял, ну и приносила она в пятилетку по паре ребят. К тому времени у них уж пятеро было.

Жену его Тамарой зовут, по отчеству Ивановна, дело известное, школу кое-как закончила, а тут Мишка из армии объявился, в первую же осень окрутил девку, свадебку изладили, она на ферму дояркой. И ведь зажили. Колхоз, вот хай его – хвали, дом им поставил, правда, и самим пришлось повкалывать, день на колхоз, полночи на дом. Переходить стали, гляжу – не то творят, нарушают всякий обычай и порядок от отцов. В дом следно вперед кошку пускать, а они натопырились малую дочку на порог поставить. И ведь не подскажет никто, то ли позабыли напрочь, то ли на ребенка залюбовались. Оно и правда, шибко славно, когда первенец твой своей ногой в новый дом входит, но без кошки никак! Останавливаю церемонию, перелажу через плетень, свою кошку за пазухой схоронил. Высказался:

– Что же вы, – говорю, – робята, от законов и обычаев отцов и дедов отступаете? Неладно это. Вот вам кошка, пусть дите ее вперед толкнет за порожек, а потом и сама двинется.

Речи-то распеваю, а сам с собой совсем другое говорю негласно: «Дедушко-Суседушко, коли ты пришел к дому, тогда входи хозяином, да знак дай, чтобы я понял, что ты при месте». А сам смотрю да слушаю, и только девочку с кошкой обрядили, колыхнулася занавеска у дверей и половица скрипнула, да так знатко, что сосед засмеялся:

– Прослабил, Михаил, половицу при входе, все нервы вытянет, по ней взад–вперед десятки раз пробежите за день.

Промолчал хозяин, он вообще редко в какие разговоры вступал, только если сам начал. А так спрошу у него что-нибудь, плечами пожмет, либо головой кивнет. Вот и гадай, что он тебе просигналил.

Ладно жить начали, толково, баба его деньгами руководила, никуда копейка не выскользнет. Все у неё рассчитано, что на ребят купить, что мужу и себе тоже. На осень выпросился Михаил у председателя на комбайн, хлеб надурил небывалый, я сам в середине августа хаживал в первые лесочки, где начинались поля со пшеницей. С малых лет учил меня дед Панфила слушать поле. Это, брат, не всякий может, да не каждому оно и надо. Присядешь под ветерок, припухнешь, здышишь легонько, только сердечко и колотится. Вот, подобно тому, ни ветерка, воздух горячий стеной стоит над хлебом, дозреват его, сушит. Пройдет какое-то время, то ли природа тебе поверит, то ли сам ты во все это живое всей душой войдешь, и тогда услышишь, как колос с колосом целуются, перешептываются. И вроде даже зернышки, если в колосе высохли, позванивают. Такая музыка, аж слеза упадет... Взял Михаил комбайн не самый добрый, чтобы мужиков не обижать, но за неделю до болтика перебрал, уплотнители поставил на стыках шнеков, в молотилку, чтобы утечки зерна не было, и в поле. Не знаю, вроде за всю уборку пару раз домой приезжал, в баньке помыться, переодеться да с ребятней повозиться с полчасика. А чуть свет – подходит машина, кончилась медовая ночь.

Сам слышал, сидючи у себя в ограде, как две бабенки-соседки после управы подтянулись к Тамаре, на бревнышках расположились, вздыхают. «Неделю Веня не бывал, ждала в баню, а у него комбайн изломался, вместо бани да чистой постели всю ночь с железом». Вторая ту же тоску выводит: «Гляжу – бегом бежит к дому, у меня ретиво остановилось. А он заскочил в мастерскую, я туда, на шею ему кинулась, он руки-то мои разомкнул, весь обвиноватился: «Вот, за подшипником приехал, у Генки Рамазанки шкив вариатора заклинило». И вся любовь, а я потом до свету уснуть не могла». Тут Тамара вступила: «Чудно все устроено, в девках жили до двадцати лет, и хоть бы хны, если никто не доведет дрожи, а тут неделя прошла, и терпежа нет. Девки, я прошлой ночью ребят уложила, на велик и к полемому стану. Роса уж пала, комбайны заглушили, мужиков машиной привезли. Не пересказать, как своего отыскивала, угадала, что до ветру пошел, выпетила. Ой, девки, он поначалу испугался, думал, дома что, а потом на руки меня и в копну соломы. Утром вышла на ограду: господи, сколько же соломы я с себя вытрясла, как раз свиньям на подстилку». И хохочут все, так добросердечно да радостно, что сами по себе мои молодые лета всплыли, сладкой тоской душа окатилась, да и на том спасибо.

За ту уборку получил Михаил мотоцикл «Урал», за свои деньги, понятно, но право такое надо было заработать. И Тамара его тоже в передовики вышла, правление ей за сохранность всех народившихся телят трех месячных бычков выделило в премию. Видел я, какая радость была в доме. Уместно ли тут признать, что к тому времени остался я бобылем. Жену схоронил последней из семьи, а вперед сына из армии в цинке привезли, второй по

пьянке утонул на рыбалке, дочь своей семьей жила, при родах ничего наши коновалы не могли сделать, и ее, и дите уханькали. Так что эта картинка через плетень и была моим светлым местом. Вечером цеплял Михаил тележку к мотоциклу, прежде ребят по улочке прокатит, а потом с Тамарой в лески, двумя литовками вмиг копешку сколотят, в тележке пологом прикроют и веревкой свяжут, чтоб не раздуло. Это телятятишкам на весь день, а остатки на сарай, ветром охватит да солнышко пару раз глянет – сухое сенцо, можно в зиму.

Когда колхоз распустили, гляжу на соседа – другой человек. Он свою работу знал с утра до ночи, а тут никому не нужен. Бывший председатель свою банду сколотил, позвал Михаила Гавриловича вместо инженера, тот радехонек, даже вроде на мордашку повеселел. Посеяли, хозяин стол в поле выставил, по бутылке на брата. Михаил к нему, мол, так и так, вино не пью, ты мне деньгами в счет отработанного. А тот отвечает: «Вот твои деньги, только всходят, как обмолотим да продадим, тогда и карманы дополнительно можно пришивать, озолотимся все». Михаил, ребята сказывали, молча кивнул, сел на мотоцикл и домой.

Первыми доярки шум подняли: почему ни гектара кукурузы на силос не посеяли, трав никаких на сенаж. А дольше и того хуже: травы дуром дурят, а косить никто не собирается. Приперли председателя, он и вылепил: молоко дешевое, себе в убыток, проще под угол слить. Так что коров осенью всех на колбасу. Бабы в голос, а он пал в легковушку и газу.

Мы хоть и рядышком жили, а общались реденько, здравствуй и прощай, подобно тому. Какие у меня к нему разговоры? Я водочку уважаю, перед каждым аппетитом, пока старуха жива была, рюмку принимал – он и в праздники в рот не берет. Я табак смолу от самой Сталинградской битвы, теперь на самосад перешел, трубку вырезал из корня вишни, крадчи от бабки сделал заготовку. Потом всю зиму вошкался, ходил в мастерскую, где газовая сварка, соседа же и попросил, чтобы он трубку слабым огнем обработал. Курю. Я балагур, люблю язык почесать, а от него слова не дождешься, выслушал, улыбнулся, кивнул и ушел. Ну, я уж говорил про то.

А парень он был славный. Телом крепок, новой раз специально сяду и люблюсь, как он робит во дворе. Все в руках играют. Рубаху скинет, штаны закатат до колен и гряду навоза за час перекидат, выправит, тряпицей закинет. Тамара выйдет по своим делам из летней кухни, сама в легоньком халатике, считай, все на виду, тазик поставит на полочку в сарае, подойдет к мужу и со спины прижмется. Дело прошлое, по себе знаю, на мужика это зверски действовать. А Михаил развернет свою красавицу, поцелует в шейку и за свои дела. Я так понимаю, что бабочку это обижало, не затем она выходила. Да и орда вся на озере купается. Пошла, и тазик оставила. Ну, это дело семейное, позже разберутся.

Опять про Михаила. Смотрел я на старые фотокарточки, старуха моя была из достатка взята, торговлишкой промышляли и предки, я папаша успел, пока советская власть не прихлопнула. Тем и спасся, что магазин вместе с товаром благословил, да деньгами не знамо, сколько. Моя после похорон батюшки и приволокла толстенные книжки, а в них карточки наклеены. Понятно, что я акромя тестя с тещей никого не знал, но досе распахну, пыль сдую и гляжу сквозь очки. Долго не мог в толк взять, чего мне от их надо, а потом доперло: не похожи они на нас, то исть, не только одежей, это само собой, а совсем иные, не из мира сего. Лица ихние почти как на иконах: взгляд самостоятельный, лик светлый, без улыбок, а радостные. Я так себе сформулировал: счастливые они, вот как! Наши тоже порой

лыбятся на полгазетки, а души нет, одна фотокарточка. Это я к тому, что лицо у Михаила было достойное, благообразное, на его смотреть хотелось.

Осенью хлеб убрали, на колхозной еще сушилке очистили и просушили, и в одну ночь колонна камазов с прицепами выдернула все до зернышка на элеватор. Сказывают, по три или четыре рейса сделали. И председатель наш как сквозь землю провалился, хотя добрые люди заметили, что еще недели за две большая машина к нему в ограду запяtilась, утром потемну ушла с барахлом, а семью на легковой сам увез. Мужики закидались: робыли-то за что? Все районное начальство прошли, нет никакой помощи, только смеются.

Вижу я, что мой Михаил Гаврилович совсем с лица спал, и надо же было такому совпасть, что мужики из района вернулись ни с чем, а бабы их встречают страшной новостью: коровушек на длинных скотовозах увезли в город. Деревня как-то присела вся, криков нет, переговариваются втихушку, как при покойнике. Жутковато. Михаил за ворота вышел, мне кивнул, стоит. Тамара выскочила, он, видно, от разговора и ушел. Встала рядом:

– Что же вы, мужики, отцы да мужья, что же вы допустили до такого? Чем жить будем, вы про это думали? У меня последняя десятка от получки. Миша, скажи хоть что!

Он повернулся и с виноватой улыбкой на нее посмотрел. Я собрал кiset и с глаз долой, тут не моего ума дела решаются.

А утром рев, да такой, что шкура оширшевила: Михаил Гаврилович повесился в вишневом саду. Записку, говорят, в кармане нашли, что так жить не хочет, перед детьми стыдно, что куска хлеба не сможет им дать. Вот так решил свою долю.

Похоронили, горячий обед отвели в столовой, Тамару с ребятишками мужики на машине домой привезли. Я видел, она, как уточка, впереди, а пятеро ребят следом, старшему пятнадцать, младшей три. А дня через два она ко мне в калитку стучит, выхожу.

– Дедушка Мирон, пойдем к нам, помощи с инструментом разобраться.

Интересуюсь, что за инструмент. Она показывает литовки, грабли, вилы. Спрашиваю:

– Ты не на покос ли собралась?

Спокойно отвечает:

– На покос и есть. У меня корова с весенним теленком да пяток овец. Если лишусь – с голоду помрем.

Слеза меня смутила, буркнул, что все забираю и к вечеру изготавлю. Литовки отбил, подправил, одну для Тамары, другую для парня, помене. В грабельцы пальцы крепкие вставил, пару вил пересадил на черенки потоньше. Вот и вся работа. Собрал в охапку, принес, а она с мотоциклом возится. Завела, бензин залила, всю снасть укрепила на тележке. Видно, рано собирается.

– Дед Мирон, ты за ребятишками посмотри, эти пусть играют, а малую хоть к себе бери.

Так и стали жить, как бы одним домом, я сено сгребать помогал, потом картошку вместе рыли, приехали какие-то азиаты, дешево, но купили. Я к старшему подошел, за рукав взял:

– Ежели у тебя к Аллаху своему вера есть, не обидь эту бабочку, муж повесился с горя, ему там красота, а у неё пятеро на руках. Заплати по-человечески, все равно в пролете не будешь, а я за тебя перед нашим богом слово замолвлю.

Возымело, подошел, еще несколько бумажек отслонявил, подал Тамаре.

Смотрел я на нее и дивился: всю жизнь за спиной мужика жила, никакой работы домашней не знала, а случилось один на один с бедой великой схлестнуться, и откуда силы взялись, проснулась в ней русская баба, на которой в самые злые времена пахали и сеяли, которая коров весной подымала и на помоча подвешивала, которая кули с зерном ворочала на элеваторе для фронта и для победы. Не растратилась в сытное время, не изнежилась душа, не изломался характер. Мужик вот, Михаил Гаврилович, не совладал, порешил все разом. Верно, он и слабее был бабы своей, на нее оставил детушек своих, свой завтрашний день.

Одно время, в аккурат перед Пасхой, смутно мне стало, в грудях ломота, голову то и дело теряю. С великим трудом спустился в подпол, там в глиняном горшке сложены все мои накопления, пенсия моя военная. Расход мой невелик, а зачем курковал – сам не знаю, и вот сгодилось. Поднял горшок, повынимал гумажки, завернул в тряпицу, полушубок старенький накинул и пошел к соседям. Они в аккурат за столом сидят всей семьей, праздник все-таки. Я Тамару попросил выйти в коридорчик, чтоб ребятишки не видели, тряпочку откинул и показал ей свой гостинец. Она было в слезы, но я возразил:

– Не смей! Ты бабочка разумная, сумеешь определиться, как быть.

Проводила она меня, а через время в дверь стукнула, зашла.

– Дедушка Мирон, скажи, верно ли я мыслю. Если к твоим деньгам... Дом хочу продать, мотоцикл, скотину всю и собрать все до кучи, да купить домик в городе. Там и работа есть, и учиться ребятишкам тоже, и техникум, и училище медицинское. Что ты мне скажешь?

А чего я мог сказать?

– Если, – говорю, – Тамара Ивановна, хватит капитала, то лучшего и не придумать. Но ты сперва съезди, присмотришься, к ценам приноровишься, что и как. Да дом-то внимательно обследовай, чтобы не подпревший, у тебя переставлять некому. Да чтоб не у черта на куличках, и чтоб огородчик был.

Впервые за все время засмеялась моя Тамара.

– Ну, дедушка Мирон, у тебя столько хотелок, что наших денег не хватит.

Однако съездила, и домик нашла, и задаток у нотариуса оформила. Тут же северянам свой дом продали, те не скупились, забрали вместе с коровой и овечками, по-крестьянски жить хотят.

Когда все имущество на машину сгрузили, всей семьей пришли ко мне. Я на ограду вышел, весна, в доброе время к новой жизни двинулась семья. Благословил и домой.

Двадни шел дождичек, бусил, как через сито, все напитал, успокоился, тучки спустились за гору, только солнышка еще нет. В открытую оконную створку сочится влажный прохладный воздух, его почти видно в натопленной комнате, он опускается вниз сразу за подоконником и растекается по влажному полу. Теплое будет лето.

Соседи

Рассказ

В первый день Нового года Гоша чувствовал себя неважно. Очень плохо себя чувствовал...

Рассвело совсем. Морозец, видно, приударил крепкий, окна покрылись узорами, дверь вспотела, и от неё шёл пар. Гоша вышел во двор. Будто битым стеклом была завалена ограда, снег искрился, глаза слезились, шурились. Жить не хотелось. Рвать было нечем, иначе Гоша сунул бы два пальца в рот. Он и пробовал уже за крыльцом, да ничего не вышло, так, слюна одна. стакан вина какого-нибудь, бражонки сделал бы его человеком, но как только подумал, как только в воображении своём представил, – желудок подтянуло к горлу, и Гоша издал такой звук, от которого шарахнулись овечки в пригоне, и корова в сарайке боязливо приподняла голову.

– С Новым годом, Георгий Спиридоныч!

Гоша сплюнул тягучую слюну, рукавом вытер губы, оглянулся. Кенин, сосед, стоял, опершись на заплот, улыбался трезвой здоровой физиономией.

– Благодарствую, – глухо ответил Гоша.

– Нового счастья не желаю, дай Бог с этим пособиться.

– Не говори. – Гоше стало легче оттого, что не надо ничего объяснять. Кенин и так знал, в чём дело. А это же долго рассказывать – где был, сколько выпил, похмелился ли...

– Да уж чую. Вчера видел, как ты домой возвращался, да подходить не стал. Пьяный, думаю, человек, кто его знает, что на уме? Такой и ударить может. А?

– Вчера не ударил бы, – сказал Гоша.

Кенину это понравилось.

– На тебя юмор с утра напал.

– Только мне и осталось. Баба...

– На бутылку просил?

– Просил.

– Ну?

– Не дала, знамо. Кува...

– Плохо.

– Не говори...

– Тебе плохо, наверно.

– Хорошо, – сказал Гоша, и обидно ему стало, что он унижается, терпит насмешку, потому как плюнуть, уйти – нет сил. Потому, что Авдоха рубля не даст, хоть ты тресни, из дому продать что-нибудь – до этого Гоша не дошёл, и в магазине строго-настрого продавцу на носу зарублено Авдохой: кроме курева и спичек в долг ничего не давать.

«Ещё раз стерпеть. Он только интересуется, без издёвки, так, для порядка. А выпить у него есть. Иначе не высмотрел бы он Гошу в кутьнее окошко, не вышел бы во двор в полушубке на голо тело. Стерпеть надо, – думал Гоша. – Я ему потом по трезвости всё вылеплю, за мной не заржавеет».

Кенин смотрел весёлыми голубыми глазами, тянул из него жилы, а Гоша стоял посреди двора, время от времени вздрагивая, как озябшая лошадь.

– Заходи в дом, Георгий Спиридонович. Гостем будешь. За Новый год выпьем, старый проводим, – улыбнулся Кенин.

– По суседскому делу отчего не зайти, – порозовел Гоша. – Прямо сейчас могу зайти. Отчего не зайти...

– Верно, – опять улыбнулся Кенин. – Заходи. Баба моя манники пекла. Страсть люблю манники.

– Тоже люблю, – зачем-то соврал Гоша. «Последний раз. Мне только похмелье разогнать. Больше с ним на гектаре не сяду...»

– Ну, заходи, Георгий Спиридонович.

– Зайду. Болею ведь я, – признался Гоша.

– Ну-ну...

Кенин в деревне появился незаметно. Сельсовет отвёл ему место для строительства. Колхоз помог лесом. Мужики за хорошие деньги мох надрали на Пудовском озере, и за лето дом скатали, как терем. Обидно было Гоше, что такой красавец будет стоять рядом с его избушкой, что слаб у него карман для подобного размаху. Семья у Кенина своя, родная. Парень здоровенный, девка с мужиков глаз не сводит. Сразу тихо зажил, замкнуто. Друзей не водил. Скоро попустились все, вроде забыли про него. Пить тоже не пил. Да и не с кем, друзей-то нет. Потом как-то Гошу стал приглашать. Георгием Спиридоновичем звал. Чудно Гоше поначалу было, потом привык. Особенно не упорствовал, стопку-две пропускал степенно и с удовольствием, а потом, сбитый со счёту толковой самогонкой, хвалил это изделие и золотые хозяйские руки.

– Белорусский рецепт, – сказал как-то Кенин и посмотрел на жену. Та вышла. Баба она тихая. Гоша кроме «здравствуй» и «прощай» ничего от неё и не слышал, а в душе завидовал, что его Авдохе Бог такого молчания не дал.

– Белорусский, говоришь? – встрепенулся он. Реденькие волосёнки на голове взбодрились под Гошиной ладошкой, щеки познаменели, на лбу бисеринки выступили. – А я думаю, чем знакомым от этой самогонки отдаёт? Шевелится где-то возле сердца, а припомнить не могу. Сейчас ты, суседушка, меня на мысль натолкнул. Белоруссия, значит! Верно говоришь! Белоруссия у меня в душе шевелилась. Пивал я в военные годы тамошний самогон.

– И бывал ты в Белоруссии, Георгий Спиридонович? – пощекотал самолюбие хозяин.

– Гоша всю Европу прошёл! – шумнул вроде гость, потом вспомнил, что не дома, остановился. – Бывал. Я бы, может, сто лет туда не попал, да Гитлер пособил. Скрутили нас в окружение, стали к себе теснить. Ну, мы и рванулись, человек двадцать. Комбат нас послал. Знамя вокруг меня навернули, ребятам бумаг каких-то дали. Мы и пошли. Семеро только вышли, да и то на партизанов. Проверочку нам сделали: «Кто и откуда?» Один из них там особо сурьёзный был, бить советовал, что не скрывались. Да и мы смотрим: холера их знает, кто? Ну, я потом вижу, что всерьёз всё, гимнастёрку на голову и кричу: «Бей, кува, ежли пролетарии на этом знаме тебе не родня!». Было дело! Аэроплан прислали с Москвы, знамя и документы увезли, а мы остались. Потом ещё раз прилетали, большой чин. Всех, кто в наличии был, построили, слово сказали. Ну, нам,

кто оттуда вышел, ордена дали. Большой у меня был орден, да ребяташки, когда маленькие были, порастеряли все.

На живую ещё рану насыпал соли сосед. Ворохнулась в порченной Гошиной памяти вся партизанская былль. Ребята вспомнились, Райка тоже, молодая баба, местная была, белоруска. Самогон для Гоши ловко выгоняла, никто не знал.

– Так что белорусский дух мне знакомый, – подытожил Гоша.

– И в каком это месте в Белоруссии? – спросил Кенин.

– Да откуль мне... Говорили, что вроде Злобин или Жлобин... Можя, бывал?

– Командира у вас не Фёдором ли звали?

– Фёдором! – обрадовался Гоша. – Точно, Фёдором. Да мы с тобой, соседюшка, не в одном ли отряде были?

– Нет, Георгий Спиридонович, не в одном.

– То-то мне лицо твоё не знакомо. А Фёдор хороший был мужик. Пропал потом без вести. Говорили, что на явочну ушёл, да и не вернулся. И явочной этой потом не сделалось.

– Так больше ничего и не слышал о нём?

– Слыхал, как же. В сорок восьмом, кажись, письмо пришло, через военкомат. Суд был там за него. Да покос аккурат, куда поедешь? Коровёнку держал, да нетель, телятишки, овечки – знамо дело. Не поехал. Говорили, что дорогу оплатят, и на карманны расходы... Не поехал...

– А где суд был, не помнишь?

– Помнил... Как-то под вид лесины, будто как Комель.

– Гомель?

– Можя и Гомель. Да не поехал я.

– Ну, хватит об этом. Выдержи ещё одну.

Гоша тогда в силе был, колхозную работу, как свою ворочал, в почёте ходил. После какого-то совещания хороший ужин сделали в районной чайной. Гошу как лучшего передовика начальство с собой за стол посадило. Выпил он в этот вечер крепко, потому что простыл, спина начала отниматься, по старым ранам ломота пошла. Думал подлечиться. Видно уж сбросили его со счетов за столом и завели разговор о Кенине.

Гоша смутно помнил, кто что говорил, но утром, лёжа под балясистым одеялом за широкой спиной Авдохи, он по кусочкам, по словечку стал припоминать вчерашнее застолье и тихонько изумлялся припомненному.

Тогда Гошу мучило не похмелье, а мысль, что рядом с ним живёт шкура, которая Гоше и другим мужикам воевать по-человечески не давала. Ещё затемно он прогнал с кровати Авдоху, чтоб не мешала думать. И без того ломота по всему телу, а тут ещё она храпит. С молодости по утрянке сон у неё мертвецкий.

«Стало быть, сусед-то у меня суждённый за измену... Десять лет в лагерях отбахал, подале от тех мест уехал, где пакостил... В Белоруссии много людей говорит, по его пальцу вытравили... В Сибирь смылся... А я, к примеру, и здесь тебе враг с сегодняшнего числа»

Гоша сначала побить хотел Кенина, да одумался: посадит, как пить дать. Ведь сосед теперь в правах восстановленный. Всё равно, что бригадира побьёшь, что его. С неделю Кенина он избегал. Потом большая злость прошла, но всё равно к соседу не ходил,

правда, на приветствия кивал: куда денешься, соседи. Но и в мыслях не допускал, что он, Гоша, с этой гадиной может хлеб-соль с одной скатерти есть...

Сломил его сосед незаметно. Дело после большого праздника было, Гоша тогда должное отдал столу, на утро мучился смертной мукой, воду пил, пальцами пользовался. Винишка выпить, полегчало бы, да Авдоха копейки не даст...

Тогда и вышел Гоша на соседа, проклиная себя за это, но зная, что он пособит. Хорошо поправил Гоша здоровье, а потом сам себе клялся, божился, что не пойдёт на поклон к этой гниде, гадюке и сволочи. А когда было невыносимо – шёл, как идут на заранее обдуманное преступление, шёл, чтобы потом срамить себя и закаиваться.

Гоша не стал заходить в свою избу, под окнами, пригнувшись, пробежал к тесовым воротам Кенина. В ограде было чисто, под метёлку убрано, свежая изморозь легонько подёрнула наст.

«Раненько встал», – отметил Гоша

В дом зашёл боязненно, униженно. Пимы снял под порогом, кашлянул, постоял. Кенин вышел из горницы. Был он нарядный, здоровый, Гоше не в пример.

«Надо было тоже пододеться, а то будет, кува, думать, что у меня доброй лопотины нет», – подумал Гоша.

– Проходи, Георгий Спиридонович. Будь гостем.

«За душу только не тяни», – подумал Гоша, прошёл в передний угол, сел. На столе закуска всякая, еда, бутылка водки, самогон в графине.

– Мы с тобой Георгий Спиридонович, сейчас за Новый год по стопочке выпьем, а? Не против? Я думаю, по стопочке – ничего?

– Ничего, – согласился Гоша.

– Вот и выпьем, – Кенин наполнил стаканы, поднял свой. – Может, слово какое скажешь, Георгий Спиридоныч?

– Скажу, – Гоша ничего не хотел говорить, так, само вылетело. – Скажу, – повторил он и понял, что скажет всё... Он не готовился к этому. А сейчас понял: скажет. Ему не сдержаться себя. И стал говорить.

– Я вот скажу, как мы сорок четвертый встречали. – Он оберуч взял стакан и одним глотком, решительным и крупным, выпил. – В ночь на тридцатое мы по заданию ушли. Надо было состав один с путей столкнуть. Фёдор сказал, что там провиант есть, а у нас со жратвой плохо стало. Решили попользоваться. Ну и нарвались. Рельсу сняли, а он, кува, видно предупреждённый был. До роты нас с тылу к железке жмут, а с поезда пулеметы шпарят. Ну, думаю, с Новым годом, Георгий Спиридонович! Кое-как прорвались, меньше половины. Легко раненые сами пришли, тяжелых бросили, некуда было деваться. Сутки следы путали, к ночи пришли. Федор выдал на каждого, был у него свой резерв, специально к празднику берег. Только я тогда самолично голову бы отвернул всякому, кто за стакан поймался. Первый раз тогда не выпил. А сейчас надо, за ребят, которые по заданию полегли. Так что налей мне, сусед. Себе не наливай. Только я за их выпью, как имею право. Сперва помолчу минуту.

Гоша встал, весь напрягся, мелкими глотками, торжественно выпил до дна, садиться не стал, а сразу пошел к двери.

– Да ты не расстраивайся, Георгий Спиридонович, – густо протянул Кенин. – Сядь, посиди, ещё повспоминаешь. Мне интересно, я послушаю.

– Не стоит беспокойства, – остановился Гоша. – Я тебе как соседу говорю – не тревожь мою душу, а то я сам себя на поруки не беру. Мне про твою поганую житуху доподлинно известно, потому не шевель меня. Я шибко неловкий.

Он трудно открывал дверь...

– Уже глотнул где-то, – удивилась Авдоха, когда Гоша, пошатываясь, вошёл в избу.

– Я, мать, не глотнул, я выпил, – непривычно спокойно ответил он, снял фуфайку и прямо в пимах лёг на кровать. – Я, мать, с Новым годом проздравил ребят, которые убиты.

Авдоха насторожилась:

– Ты турусишь, или как?

– Нет. Проздравил, как положено. Я же, считай, тридцать годов с емя не выпивал... Или меньше?.. Нет, тридцать...

Язык не хотел шевелиться, глаза закатывались, Гоша засыпал. Потом он вдруг сел на кровати, пальцем подозвал Авдоху и громким шепотом сказал:

– Я, мать, с предателем пил, с изменщиком. Сусед-то наш, Кенин, в войну партизанов продавал, а я ему нынче всё вылепил, как есть, и боле с ним – ни ногой...

Гоша лёг и захрапел сразу.

– Во, допил, – зло сказала Авдоха. – Черти уж мерещатся.

Кот выгнулся на печи, мяукнул протяжно и жалобно. Авдоха вздрогнула и перекрестилась.

Встреча

Рассказ

Условия тендера на строительство спортивного комплекса в своём родном городке Владимир Порфирьевич увидел в Интернете случайно, и хоть давно оттуда уехал, а после перевез и родителей, но неожиданная находка как-то встревожила, даже взволновала, ночами вдруг стали приходить картины, которые никогда до этого не вспоминал. Он окончил строительный институт, дослужился до главного инженера треста, перспективы открывались необозримые, но всё пошло кувырком, у треста не оказалось заказов, потом финансирования, начальник как-то утром сухо с ним попрощался и уехал в Москву, насовсем. Правда, после выяснилось, что он успел продать все запасы стройматериалов, но тогда это никого не взволновало. Владимира Порфирьевича пригласил крупный чин из администрации области и предложил без тени смущения: отдай мне базу комплектации, а всё остальное забирай себе. Как забирать – он не знал, но юристы администрации в несколько дней оформили нужные документы, и три городских организации стали его собственностью.

Скоро «Стройсервис» Венгеровского стал ведущей кампанией в городе, он без труда выигрывал конкурсы на самые выгодные объекты, научился давать на лапу и даже сам устанавливал проценты отката. Новый мэр города попытался приручить бизнесмена званием депутата законодательного собрания, но на встрече в его кабинете поздним вечером Владимир Порфирьевич после рюмки коньяка сказал, что его совершенно не интересует общественное положение, что его задача строить и строить. Мэр вежливо согласился, но тут же возразил: строить Венгеровский будет только тогда, когда этого захочет он. Владимир Порфирьевич быстро сообразил, что тональность надо снижать и напрямую спросил, сколько надо мэру, в месяц. После минутных торгов сошлись на сумме, и через пару месяцев главный строитель стал депутатом.

Когда коммунистическая газета опубликовала большую статью о мутных делах в «Стройсервисе» с указанием заработной платы каменщиков, монтажников, отделочников и годового дохода хозяина, его отец, фронтовик и партизанин, всю жизнь проработавший слесарем в железнодорожном депо, весь вечер крыл сына матом и называл жуликом. Дело кончилось полным разрывом, Владимир Порфирьевич вызвал из деревни сестру, купил ей большую квартиру и перевез туда отца, назначив хорошее содержание.

Дети выросли и проучились в Европе, но Владимир Порфирьевич не увидел в них помощников, и обоих сыновей отправил в столицу, хорошо проплатив их теплые места. Домик себе он построил на первые серьезные доходы в пяти километрах от города и жил там с женой, тайно от неё имея скромный коттедж в центре для гостей и женщин, с которыми время от времени уединялся, предупредив всех, что уехал по делам. Он никак не вмешивался в политику, не давал интервью и даже издевался над коллегами–депутатами, которые не упускали возможности полепетать с экрана телевизора. У него не было друзей и врагов, ничто за пределами строительного бизнеса его не интересовало, и такую жизнь он считал единственно возможной и интересной.

Известие о строительстве стадиона в родном городке стало всё незаметно менять. Вспоминались школьные товарищи и друзья юности, уютный городок, с которым простился, уходя на службу в армию, и бывал там пару раз, пока учился в институте. Всё давно забылось, а нет – вдруг всплыл в памяти одноклассник Толя Синилов, постоянный конкурент на спортивных соревнованиях, в одиннадцатом классе вырвавший у него победу в кроссе на последних метрах, чем вызвал стойкое неприятие и злобу. Ещё невзрачный Витя Кизеров вспомнился, вдруг оказался соперником в симпатиях к Настеньке, милой и скромной девушке, дружбы с ней искали все парни, но только с Володей она гуляла после школьных вечеров отдыха. Витя совсем было выпал из его интересов, но Настенька стала избегать Володи, а на выпускном вечере открыто призналась в чувствах к этому веснучатому и не особо броскому пареньку. Володя был тогда сильно обижен, напился портвейна и наговорил гадостей Настеньке. Впрочем, с Витей у неё ничего не получилось, ему писал кто-то, что Настенька вышла замуж за своего однокурсника в пединституте.

Понимая, что просто так ничего не бывает, Венгеровский справедливо отнес свое внезапное беспокойство к проискам наступающей старости, всё-таки за пятьдесят, и хоть плоть ещё крепка, два отпуска на заморских пляжах и постоянная забота личного доктора дают результат, но есть ещё нечто, способное перевернуть устоявшуюся жизнь и разбудить чувства, о которых и не подозревал. Скоро стало ясно, что в родной городок придётся ехать и купить право на строительство стадиона. Его не интересовала материальная сторона, пусть даже фифти-фифти сработает на этом объекте, но он его построит, пусть наездами, но побывает в городке, возможно, встретит знакомых, встряхнётся, успокоит душу.

Предварительно договорившись о встрече с главой городка, Владимир Порфирьевич выехал рано утром, чтобы к обозначенным тринадцати часам быть на месте. Водитель Роман, молодой, но за отдельную плату прошедший подготовку в учебном центре спецслужбы, уверенно вёл джип по истерзанной большегрузами дороге. Венгеровский не дремал, вопреки обыкновению, с удовольствием смотрел на выходящие из-под снега поля, потемневший от набрякших почек лес, радовался чему-то, как будто впервые видел. До родных мест ещё далеко, но волнение уже охватывало его, в таких вот лесах, прострельных берёзовых, мальчишки почти деревенских пригородов пропадали целыми днями не просто убивая время, а добывая кой-какое пропитание к скромным семейным недостаткам. На берегу вот такой же речушки загорали после купания, тут же ловили окуней и раков. Венгеровский вовремя ощутил слезу, скатившуюся по щеке, подобрал её платком и отвернулся от водителя, чтобы, не дай Бог, не заметил.

Главе города сказал, что готов на любые условия получения подряда, тот ответил, что наслышан о мощной строительной кампании и будет очень рад, если она возьмётся за комплекс, но его смущает выраженное желание господина Венгеровского, ведь объект в двухстах километрах от «Стройсервиса», это такие затраты и сложности управления. Тогда Владимир Порфирьевич открылся: это мой город, и я хотел бы поучаствовать в его обновлении, тут же предупредил, что вынужденное откровение должно остаться в кабинете.

Глава пригласил специалистов, на широком полированном столе разложили проект, Владимир Порфирьевич быстро оценил степень его сложности, глянул на итоговую

цифру сметной стоимости. Когда ушли специалисты, Венгеровский написал на листке и сказал, что даст в заявке эту цену, она значительно меньше сметы, так что соперников не будет. Он тут же добавил, что готов вознаградить хозяев, если его просьба будет удовлетворена. Глава смутился, попросил на эту тему больше разговора не заводить и предложил зайти в конце рабочего дня, к этому времени он постарается решить все вопросы, чтобы дать земляку положительный ответ.

У ресторана он отпустил водителя, потому что хотел побыть один, заказал обед, выпил рюмку коньяка. Обслуга, знавшая своих постоянных клиентов и видевшая шикарный автомобиль гостя, старалась угодить и мешала думать. Он только что ездил к своей школе, её нет, стоят два уродливых коттеджа, но густые заросли черемухи и сирени сохранились в дальнем углу, вот тут пятиклассниками играли в чики, а в девятом классе он целовался с девочкой из восьмого, она потом до последнего звонка за ним бегала, но чувства не было, а по другому юность не может. Как её звали? Валя..., Галя..., Катя..., кажется, Катя. А она любовно звала его Вольдиком, откуда взяла такую форму имени, скорее всего, сама придумала. Венгеровский улыбнулся: какой замечательный пласт своей жизни он упустил, совсем забыл, хорошо, что случай выпал и свёл с дорогим прошлым. Надо поручить юристам, чтобы нашли одноклассников, а потом устроить встречу, учителей найти, кто ещё жив, расходы он возьмёт на себя.

Владимир Порфирьевич погулял по центральной улице, она не очень изменилась, мало новоделов, старые дома кое-как приведены в порядок, но зелени, как и в те годы, с избытком. Вглядывался в лица, порой попадались напоминавшие кого-то, но он знал, что такое бывает, потому не придавал значения. Да и встречаться с кем-то сейчас не очень хотелось.

Из кабинета главы городка он спускался по широкой мраморной лестнице чуть усталый, но довольный положительным решением своего странного вопроса, глава заверил, что вопрос согласован с губернатором и подряд будет передан «Стройсервису». Рабочий день окончен, уборщица в синем халате уже трет пол вестибюля, но яркий свет ещё заливают парадный марш. Венгеровский осторожно ступил на влажный мрамор, боясь поскользнуться.

– Вольдик!

Он вздрогнул и остановился, в тот же миг пронеслось в голове издевательское: до глюков довели воспоминания.

– Вольдик, это ведь ты, не исчезай!

Венгеровский оглянулся: уборщица в синем халате с улыбкой далёкой восьмиклассницы смотрела на него. Он кивнул:

– Да, я Венгеровский. А вы – Катя, Екатерина?

Она обрадовалась:

– Да, Катя, а почему ты со мной на вы?

Он смутился:

– От неожиданности. Извини.

– Ты откуда приехал? На приёме был? Не переживай, если отказали, они теперь нашего брата не понимают. Говорят, капитализм.

Он согласно кивнул.

– Ты спешишь? Я столько лет тебя не видела! Давай выйдем в сквер, посидим на скамейке. Фрося, я потом домою, ладно?

Они вышли. У Кати улыбка осталась от прошлого, глаза потухли, лицо посерело, она ссутулилась. И голос тоже прежний.

– Как живешь, Катя? – спросил Венгеровский, чтобы хоть как-то поддержать разговор.

– Живу, Вольдик, как все. Пенсия плохонькая, но и за то спасибо. Работаю вот. Муж у меня больной и сын в тюрьме сидит, после Чечни на рынке торгашей погонял. Я после того совсем не своя стала. А ты как?

– Да живу..., – неопределённо буркнул Владимир Порфирьевич и добавил нелепо: – Как все.

– Тоже тяжело, выходит. Сам выкручивайся, Вольдик, сюда не ходи, им не до нас. Я вот бычью голову сегодня купила, у частника, так что и язык целый. А то брала у хачиков, всё, язык выдран, а это же деликатес. Я тебе подскажу, Вольдик, как голову обрабатывать надо, ты свою жену научишь. Первое – проси, чтобы глаза сразу убрала, я не могу, когда она на меня смотрит, жутко. Потом с челюстей мясо ножом срежь, а челюсти выбрось, зубы варить тоже неприятно. Пипку сразу отруби, ни к чему она. Дальше топором разделай коробку и водой залей, вымочи хорошо, в нескольких водах. Мясо тогда красивое делается, белое. Потом варить на тихом огне, часа два-три, только кроме соли ничего не клади. Пусть остынет, и в таз, кости выберешь, а мясо, мозги, всё, что там есть, через мясорубку пропусти и в банки. Потом хоть суп варить, хоть в кашу добавить, вкусно. Язык я отвариваю и, как картошку от мундира, освобождаю от кожи. А потом в салат вместо колбасы хорошо, колбаса-то сейчас – не пойми, что, зато деньжищи... А это натуральное и своё. Запомнил?

Венгеровский тупо кивнул.

– Тебя ждут, наверно. Ты иди. Вольдик, я тебя всю жизнь помню, всё помню до ниточки. Хорошо, что ты со мной не связался, а то мучился бы сейчас. Я, видно, проклята при рождении. Ты иди, мне ещё мыть надо гектар.

Он встал. Как уходить? Попрощаться или сказать до свидания? Пообещать, что ещё увидимся? Соврать?

– Прощай, Вольдик, ты мне, как в награду, привиделся. Прощай.

Она не стала дожидаться ответа, медленно пошла к освещённому крыльцу.

В машине он долго крепился, потом охватил голову руками и завыл. Водитель с испуга резко затормозил, выскочил из машины, открыл дверь со стороны шефа. Владимир Порфирьевич низко опустил голову и рыдал. Роман предусмотрительно отошел в сторону. Через несколько минут шеф окликнул его знакомым командным голосом и приказал забыть всё, что тот сегодня видел.

Крестовой дом на Голой Гриве

Сказ

Ты, сынок, конечно, мало что помнишь о Голой Гриве, хоть и улицу эту знаешь, и ходил по ней и ездил много раз. Эту улицу теперь так зовут редко, дали имя какого-то Хомяковского, в восстание он усмирением занимался, мужиков поднявшихся к стенке ставил, это мне верный старик говорил: прямо к церковной стенке лбом, а потом родственникам выдавали. Ну, это давненько было, в двадцатые годы. Улочка та от деревни вдоль речушки до самого озера настроилась, дома, сказывают, добрые стояли, хозяева путние жили. Место увлекательное, тут тебе и выгон для скотины, и открытая вода для птицы, потому все жители водили уток и гусей, по утрам такой гогот и гай, что без сомнения поверишь: могли гуси и Рим спасти от внезапного неприятеля, если всю деревню поднимали.

Не забыл еще в своих блужданиях по белому свету названия наших пашен и других кормовых мест? Поляков Колок, Новиков Дом, Первые Ямки, Вторые, Кулибачиха... При царизме крестьяне землю всю делили на сходах, как на общих собраниях, староста был избран из общества, писарь. Делили по душам и по совести, так наделы и закреплялись за семейством, на пашне, считай, жили с посевной до молотьбы, потому избушки строили, колодцы рыли, даже бани, если семья большая. Прошлым летом ты меня на своей машине возил к Пудовскому озеру, я там ходил, яму от колодца нашел, где избушка наша стояла – тоже, тут наши пашни были до коллективизации. Мне десять лет еще не минуло, отец зацепил за смиренной Пегухой боронку и вожжи мне подал: борони, Макся, хватит тебе сорок гонять. Не помнишь? А я все боялся, что ты слезу мою заметишь...

Вот так, в страдную пору, когда вся деревня в поле, сделался пожар на этой улочке. Май месяц, сушь невозможная, пламя, говорят, так взыграло, что свечой до небес, и даже дыма нет. Ударили в набат. На церкви нашей колокол был о ста пудах, его на многие версты кругом было слышно. Отливали по заказу нашего купца и маслодела Кувшинникова, но колокол сбросили перед войной, Шурка Ляжин да Никитка Локотан дерзнули снимать. Шурка вскорости утонул в Марае, а Никитка сгинул на фронте без весточки. Ударили, а на пашнях-то услышали, знают, что в набат просто так не бьют, лошадей запрягают и в деревню. Знамо дело, пока скакали, огонь окреп, соседние постройки занялись, к домам уже не подступиться, да и тушить бесполезно. Ведрами стали воду подавать по цепочке, крайний плеснет в сторону огня, а вода на лету закипает и в пар. Жар стоит нестерпимый, волосы на голове потрескивают. Народишко барахло спасает, выносит из домов и от греха подальше в речку, в воду. Не знаю, насколько верно, но сказывали, что подушки плыли по волнам и горели.

Тогда собрались мужики в сторонке: надо что-то делать против стихии, иначе вся деревня выгорит, такие случаи были, правда, не у нас. А огонь уж на подходе к деревне, ворвется – ничем не остановить. Тогда сказал Паша Менделёв:

– Чтобы огонь захлебнулся, надо не дать ему пищу, ломаем мой дом.

Дом у Паши стоял в основе улицы, на стыке улочки и деревни, большой дом, крестовой, под тесовой крышей. Постройки, само собой, ограда резная, дом весь изукрашен, любо посмотреть.

– Ломайте, мать вашу, иначе сгинем все!

Ну, накинулись, верно говорят, что ломать – не строить. Кое-что из дома вынесли, кровлю заворотили и столкнули, стропила выпростили, а стеновые бревна только так посыпались. Что упало, подхватывают и уносят подале, пока до основания дошли, огонь уж тут. Рубахи тлели на мужиках, когда последние бревна выносили. Огонь повитийствовал на последней жертве и ослаб. Тут кто радуется, что спасли его хозяйство, погорельцы разом заревели, бабы, конечно. К вечеру все головешки погасили, на улочку страшно посмотреть, одни печи стоят с чужалами. Я, понятно, сам не видел, но могу представить, доводилось на фронте проходить по выгоревшим деревням, только большая русская печь остается после огня. Страшное видение, скажу тебе, жуткое. Ну, проревелись, пошли в храм, отслужили молебен, после разобрали погорельцев по родне, староста сказал, что завтра же поедет в волость искать помощи для пострадавших.

Теперь о Паше Менделёве. Он сам видный был, красавец мужик: ростом не очень высок, крепок, лицом чист, глаза темные, глубокие, как старицы, волос из кольца в кольцо, так что с бабами у него забот хватало. Женился он на Апроше, Федора Петровича дочери, верней, женил его папаша Петро Михайлович, больно крутой был, с Федькой у них дружба сердечная, вот и решили ее укрепить родством, а Пашу не спросили. Тогда против воли отца не могли возмутиться, враз лишит наследства и из дома выпрет, обвенчали, сыграли свадьбу на Покров день. Только Пашка не смирился, погуливал, жил с Апрошкой в родительском доме, чуть что – отец за ремень: запорю! Не улыбайся, тогда и женатику родитель мог всыпать, мне самому перепало, но это уж позже.

И вот время к Паске, праздник это большой был, радостный, служба в храме, потом гуляния, разговение, пост же кончился, к утру готовили скоромную пищу, а после обеда устраивали игрища. Это как теперь соревнования, да и те вы уже забываете, но тогда был кулачный бой, боролись на опоясках да конные скачки устраивали. Отец Паши Петро Михайлович охоч был до лошадей, имел несколько рысаков и всякий раз сам скакал и призы брал. В этот раз тоже объявил, что будет, привели серого в яблоках жеребца, гордость хозяина, Паша и привел, Петро Михайлович бодренько вскочил в седло, поехал разминать коня. Через время объявили заезд, с десятка лошадей участвовали, это на Кизилровке устраивали, место там ровное, вешки поставили по кругу с версту. По команде сорвались кони с места и понесли, народ кричит, первый круг прошли, второй, Петро Михайлович идет в середине. Многие знали, что это тактика у него такая, на последнем круге свое возьмет, и дело не в баране, который на приз выставлен, у Менделёва овечек никто не считал, – натура у него такая, первым быть, хозяином.

Когда вышли на последний круг, Петро Михайлович был уже впереди, красиво шел рысачок, и верховой тоже завидно гляделся, прильнул ко гриве, уже не надо вмешиваться, этот конь никого вперед не пустит. И тут ахнула толпа: Петро Михайлович качнулся в сторону, рысак шарахнулся, всадник со всего маху сорвался с лошади и ударился о землю. Когда подбежали, он уж дергаться перестал, тут же седло подняли, а подпруга посередке порвана. Опять все ахнули, когда концы свели: подрезана подпруга, только чуть оставлено, потому и держалась пока...

Приезжал следователь, опрос делал, у Пашки допытывался, кто мог сотворить такое, Пашка указал на Фоку Рожня, который в работниках был и за лошадьми смотрел, а Фока под присягой заявил, что рысака седлал сам молодой хозяин. Фоку того увезли, и вернулся он уже после революции, но слух был, что Пашка и сделал, чтобы от родителя избавиться. С полгода еще после похорон прожил с Апрошкой, а потом отвез к отцу ее вместе с приданным.

Да, о доме. На Никольской ярмарке в Ишиме встретил Паша барышню, говорят, не шибко голубых кровей, но состоятельных родителей дочь, и была она вместе с папашей своим, маслоделом из Маслянской волости. Она не то, что молодая – юная совсем, девчонка шестнадцати лет, а Паше уж под тридцать, но он разум потерял, все дни терся около торговли маслодела, свои дела закинул, наконец, изловил девку. Конечно, никто не слышал, что он ей говорил, только можно догадаться, что пел он лучше соловья и слаще заморских всяческих певунов, охмурил напором и подарками, а через неделю сватов прислал. Свадьбы не было и венчания тоже, но стали поговаривать, что тошно Пашке в родном доме, покойный родитель ночами приходит и спрашивает, за что это сынок такое с отцом породившим сотворил. Паша крепился, от вопросов отнекивался, к докторам ездил, но покоя не обрел. И тогда сказала ему молодая жена, что надо свой дом поставить и из родительского уйти. А коли сказала, то значит, знала уже мужнину тайну, ведь так? Хотя могла и просто посоветовать, чтобы обстановку изменить.

Как бы то ни было, закупил Павел Петрович сосновый лес у викуловских торговцев и за деревней поставил крестовой дом, бригаду мастеров нанял, чтобы дом изукрасили, дело свое они справно вершили, не дом вышел, а теремок. Освятил его хозяин как положено, и перешел, сюда же часть хозяйства перевел, часть оставил сестре Анне с матерью. А когда он ушел, сестрица стала чаще к скотине выходить, где сама сделает, где работникам подскажет. Она в девках засиделась из-за этого случая с батюшкой, вся округа судачила, что не добрая та семейка, где сын отца под смерть подводит, сыну хоть бы что, а на дочери отразилось, не идут сваты, хотя и девка не бракованная.

И вот в конюшне разбиралась она с барахлом, и в загородке, где рысак стоял, увидела рукоятку ножа, в паз стены воткнутого, выдернула и задохнулась: Пашкин нож, он всегда при нем был на работе в поле, а в стене оказался не просто так. Никому ничего не сказала, пришла к брату и подала нож, а того не подумала, что братец от безвыходности может и ее тем ножом. Нет, обошлось, только Павел Петрович с того дня опять покой потерял. И бояться нечего, нож выбросил надежно, сестре никто не поверит по прошествию времени, сочтут за наговор, мол, обидел сестру при дележке, вот та и мстит. А он не может места избрать. И тут пожар.

Да, а семейная новая жизнь у Пашки складывалась – лучше не надо. Молодوخа так его любила, что ноги мыла и вытирала белым полотенцем, в глаза заглядывала, чем накормить, как обнять–приголубить. В первый год родила ему парня, на второй год девку, Паша дома отходил сердцем, а как уединялся в работе – дуром дурил. Вот тогда жёнушка и посоветовала ему исповедоваться и причаститься у игумена или другого монаха, потому что монахи больше силу имеют, чем даже священники.

Поехал Павел Петрович в Тобольск, в Абалакский монастырь, хорошее пожертвование сделал, определили его к монаху Евпатию. В его келье жил, с ним работал на послушании, ночами молился вместе со старцем. Хотя какой он старец, и не старик даже, а мудрость в нем и свет, это Паша сразу заметил.

Сначала монах попросил рассказать свою жизнь, Павел исполнил, но про несчастный случай ничего не сказал. И тогда монах спрашивает про отца, где, мол, он у тебя? Павел ответил, что разбился на скачках в Пасхальный праздник, и все. Тогда монах напрямую: подпругу ему подрезали, потому и разбился. Рухнул перед ним Павел на колени, зарыдал: сил моих нет носить это бремя, освободи, отче! Монах изрек: перед Господом будешь ответ держать, а перед людьми только большая жертва тебя избавит от груза. Какая жертва, отче? На все Господь, он подскажет. И отправил Павла домой. В тот год и случился пожар.

Ну, потом революция сделалась, война, и Павла Петровича призвали, воевал за белых, потом за красных, все смешалось. Только вроде утряслось, подразверстка, под веник голик заматали сусеки, семенное зерно и то забрали. К Паше темной ночью приехал человек, до утра проговорили, назначили его старшим в волости по восстанию. А через день депешу привезли, арестовывать коммунистов и актив. Павел все исполнил, собрал людей надежных, посты установил. А на другой день всех восставших увели с отрядом Гриши Атаманова, с февраля до глубокой осени гонялись они за красными и красные гонялись за ними, с наступлением холодов не выдержал Павел Петрович, пришел в материн дом, где семья жила, там его и взяли.

Хомяковский и его к стенке ставил, наганом бил по затылку, но общество заступилось, памятуя его жертву своим домом для ради народа, а всем карателям дано было указание с людским мнением поаккуратней, все-таки восстание кой чему власть научило, да только народное возмущение и учит правителей. Дали Павлу Петровичу пять лет, отбывал на лесозаготовках, вернулся сильно исхудавший и присмиривший, но вдруг воспрянул, опять красный лес привез, и дом рубить подрядил бригаду. В сельсовет вызвали, поинтересовались, на какие капиталы строительство, он отвертелся, соврал что-то, а на самом-то деле сестра золотые монеты царской чеканки нашла в подполе родительского дома, Петр Михайлович запасливый был, да сгинул, не успел сказать про заначку. Сестра, чистая душа, не скрыла, отдала братцу. Дак вот, он на том же самом месте, поперек приметам, возвел дом, такой же большой, только крышу уже не тесом, а железом покрыл.

И тут опять смятение на душе, как-то глянул на сына своего и ужаснулся: до невозможности похож на деда Петра Михайловича, и даже взгляд такой же. Невзлюбил парня, жене ничего не говорил, а сестре своей Анне покался, что не может больше сына видеть, и она сдогадалась: отдай мне парня, все равно одна живу, вместе веселей будет. Отдал, да так отдал, что годами не встречался, избегал. Сестра против отца слова

парнишке не говорила, но он чувствовал, что не след на глаза лезть, с матерью виделся, а отца не знал. Так и жили в одной деревне, как будто чужие.

Парень выучился, работать стал в колхозе, потом война, после демобилизации женился, так вместе с теткой и жили, а лет через пять она повела его к Павлу Петровичу, к отцу, то есть. Сказала, что зовет. Павел Петрович ее попросил уйти. Да, жена его к тому времени померла, дочка замуж вышла в соседнюю деревню. Сын ничего такого не заметил, видит, что лежит отец в постели, все прибрано, не скажешь, что болеет. А он уж при смерти. Так понять можно, что принял яду. Вот тут все сыну и рассказал, покаялся, велел после его смерти в дом перейти, мол, по праву.

Что смотришь? Отец мой и дед твой. А что фамилия другая – на мамину фамилию меня переписал, когда к тетке отправил. И дом тот, и память о нем в этом доме. У гроба я плакал, как ребенок, так жалко было исковерканную жизнь отца и свою тоже, но ничего не попишешь, я обещал ему тебе все рассказать, когда взрослым будешь, чтобы хоть сколько-нибудь понятия имел. Вот, наследуй, горькая память, а наша. Другой нету.

Как помирал Яков Васильич

Рассказ

Ленька был последним дезертиром в семье, так строгий отец обозвал его в последний вечер, когда посидели за столом и вышли покурить на крылечко. Августовская ночь дышала запахами скошенных хлебов и засахарившейся на корню смородины с малиной в большом неухоженном саду за домом. Ягоду собирали, и большими кастрюлями на временной печке под сарайчиком мать варила всякую всячину, но год удался на садовые кустарнички, и ягода сыпалась прямо на землю к великой досаде отца, Якова Васильича.

– Где-нибудь люди бедствуют без сладкого, мясо разоставить нечем, а тут все под ноги. Несправедливо мир устроен.

– Да вы уж перестроили было, да ничего не вышло, – ущипнул его кум Прокопий. – Под коммунизм-то все сроки уходят, а каждому по потребности нету.

Отец не обижался, у них с кумом давний спор, да и не спор вовсе, а повод поговорить по серьезному вопросу, отец с войны партийный, а кум ему в оппозиции, правда, только кухонной, зная, что тобольский конвой шуток не любит, разбирались дома и тихонько.

– Вот ты сам и ответил, почему не дошли до коммунизма. Ты же не сказал, что надо каждому до невозможности работать, чтобы достигнуть, а начал с потребности. И кто тебе чего припас, если ты сам пролежал?

– Где это я пролежал, интересно знать? – вяло возразил Прокопий. Три стопки самогонки расслабили его, он уж и не хотел связываться, да отступить неловко, подумает Яшка, что крыть нечем. – На работу хожу, как все, плотничаю. Чего еще надо? Сказали бы прорабу, как этот коммунизм строить, мы бы его за сезон смаздрячили.

Отец сухо сплюнул, он всегда так реагировал на чью-то глупость, повернулся к Леньке:

– Не передумал еще на производство ехать?

– Нет, батя, не передумал.

– Плохо тебе дома?

– Батя, ну чего ты опять?

– Ладно, будет об этом. Хлын ты, и дезертир, последний с фронта бежишь.

Ленька уехал в Тюмень, жил у товарища, работал на аккумуляторном заводе. После деревни было тошно, ненавидел очереди на остановках и толчею в автобусах, кругом все чужие, поздороваться не с кем. Платили хорошо, через полгода дали место в общежитии, вроде и в транспорте стало свободнее. Ленька писал домой письма и получал короткие записки от матери, что все нормально, только отец хмурый, «уж хоть бы загулял, а то и самогонку гнать перестал». Отца было жалко, Ленька вырос около него, летом с трактора не слазил, в кабине и спал в ночную смену. Когда подрос, стал подменять батю, бывало, смену и пропашет, а отец в это время дома работу сделает.

Два старших брата после школы тоже в тракторной бригаде работали, а из армии домой не вернулись. Один махнул на Север и сейчас роет траншеи под трубопроводы, второй подался в военное училище и служит как-то странно, в письмах совсем ничего, только жив-здоров. Фотокарточку прислал, отец разобрать не мог, толи он в форме, толи в нижнем белье, погон нет, значков нет, не воин, а бич после вытрезвителя. Три года они не бывали дома, мать перестала плакать, отец тоже назвал хлыном и того, и другого, правда, заочно.

После смены Ленька, перепрыгивая через тонкие лужицы на асфальте, зашел в пивнушку. Пиво тут было получше, чем в других местах, может, потому что молодая девчонка торговала, не научилась еще жидким чаем разводить или пенной шапкой прикрывать недолив. Она три кружки, как положено, пускала по кругу, одну отталкивая клиенту, вторую доливая, а третья ждала своей очереди, опадала пена, потом на долив. Такого Ленька и ребята больше нигде не встречали, хотя знакомый по пивной Виссарионыч кивал, мол правильно делает, так и положено. Виссарионычем он не был, это прозвище дали за усы, как у Сталина. Такое впечатление, что он не выходит из пивной, разу не помнит Ленька, чтобы Виссарионыч отсутствовал.

Ленька взял пару кружек и поискал место за стойкой. Виссарионыч перехватил взгляд, кивнул, Ленька прошел к нему.

– У меня вобла есть, примыкай, – густо сказал Виссарионыч. – Любишь с воблой?

– Откуда! – хмыкнул Ленька. – У нас только карась, с вяленным карасиком пиво хорошо идет.

– Угости при случае. А пока соси воблу, деликатес.

Ленька помял во рту кусочек незнакомой рыбы, никакого удовольствия не испытал, но для уважения кивнул соседу, что хорошо.

– Карася скоро не обещаю, отпуск только зимой, а батю неловко просить, чтобы выслал.

– Он у тебя рыбак?

– Нет, дядя Проня рыбак, а батя на меня злится, что уехал из дому.

Виссарионыч важно отхлебнул пива и блаженно зажмурился. Ленька тоже пивнул и закашлялся, не в то горло попало. Помолчали.

– Отец-то старый?

– Старый, к полсотне.

Виссарионыч засмеялся:

– Полста для мужика не возраст. Не отпускал?

– Не то, чтобы... Не хотел. Нас трое, братьевьев, а они с матерью вдвоем остались.

Скучно, наверное.

– Скучно в кино бывает, а им тоскливо. Тоска, милый мой, самая опасная для человека болезнь. С тоски мрут.

В пивной тихонько гудели мужики, пьяных не было, кружки звенели, и Настенька, так звали буфетчицу, почти не закрывала кран, наполняя кружки. Ленька на нее заглядывался, но боялся, все-таки городская, с которой стороны к ней? Виссарионыч спросил:

– Настена нравится тебе? Не темни, и мне нравится тоже, но я стар, а ты поактивней, посмелей. Настя! – крикнул он через весь павильон. – Свежую бочку открывать – меня позови!

– Позову! – крикнула в ответ Настя.

– Ты не спеши с пивом, пойдешь, поможешь ей, вот и познакомишься.

– Да ладно, – безразлично сказал Ленька и покраснел.

Ждать пришлось долго, Ленька совсем было собрался уходить, да Виссарионыч придержал, а потом и Настенька крикнула.

– Пошли! – скомандовал сосед и подхватил Леньку под мышки. – Мы тебе, Настена, вдвоем с другом поможем, друг у меня объявился.

– Знаю такого, частенько заходит. Ты кроме пива ничем не балуешься?

– Нет, что ты, Настена, он не балованный, сельский паренек, скромный.

– Ага, дядя Виссарионыч, все они скромные, пока не стемнело.

– Ты парня не смущай, он и так света не видит. Бери молоток, Леня, выбивай пробку.

Бочку вскрыли, она обдала ароматом свежего пива, жидкость метнулась было в отверстие, но Виссарионыч опытной рукой быстро заткнул его резьбовой пробкой насоса и провернул несколько раз.

– Готово, Настена, торгуй!

– Дядя Виссарионыч, по кружке за услуги.

– Не откажусь, спасибо, дочка. – И, отвернувшись от Леньки: – А к Лёшке-то присмотришься, паренек ладный, да и ты ему глянешься.

Настя потянула Виссарионыча за воротник, дышнула в ухо:

– Пусть к закрытию подходит, к десяти, передай ему.

Ленька краснел и кивал головой, залпом выпил свежую кружку и побежал в общежитие. Помыться надо и приодеться, такая девчонка, и вроде как не зря присматривался.

На вахте ему молча сунули телеграмму. «Ленька, помираю, торопись, а то не захватишь. Отец». Он много раз перечитал две строки, вахтерша смотрела с сочувствием и молчала. Заскочил в комнату, переоделся, вспомнил о Насте, как о чем-то далеком и несбыточном, спустился на вахту, позвонил на вокзал, из-за утреннего дождя автобус в район не пойдет. Надо выбираться на выезд из города и ловить машину. Оставшиеся от аванса деньги сунул в карман пиджака.

Машин было мало, и они не останавливались. Ленька беспокоился, что стемнеет, тогда вовсе никто не посадит, он выскакивал на дорогу, но шофера мотали головой: не берут. Остановился «Урал», большая машина с огромным кузовом, в кабине трое.

– Тебе так быстро надо, что под колеса кидаешься? – беззлобно спросил водитель, стоя на подножке. – Куда тебе?

– В деревню под Голышманово, батя при смерти, боюсь, не успеть.

– Ладно, залазь в кузов, там скамейка, только гляди, бочка может покатиться, дорога неважная.

В кузове грязно и много железа, бочка стоит в углу, рядом тяжелые ящики. Не глядя, сел на скамейку, машина тяжело шла по грязной дороге.

«До района доеду, а дальше пешком. Среди ночи какой транспорт... Придется стороной идти, по большаку замучаешься...».

Об отце думать боялся, никак не мог допустить, что тот беспомощен, он же сильный и молодой, зря ляпнул Виссарионычу, что старик. Ленька видел покойников и похороны в деревне, это всегда событие, провожать все приходят. Но отец... Не может он помереть, никак нельзя. Леньке стало так тоскливо на душе, так больно, он заплакал, уткнув лицо в рукав пиджака. Машину тряхнуло, железо оглушительно сбрыкало, бочка подпрыгнула, ударившись о борт, свалилась на бок, крутнулась и скатилась к кабине. Ленька едва успел убрать ноги, вскочил, пододвинул к бочке ящик, успокоился.

Темнело, стало прохладно, Ленька пожалел, что в спешке не взял плащ, кутался в пиджачок, но тот не спасал. Машина вдруг остановилась, шофер высунулся в открытое окно:

– Айда в кабину, там смерзнешь!

Мужики сжались, уплотнились, кое-как сели. Ленька чувствовал себя неловко, стеснил людей.

– Тебе от трассы-то далеко?

– Пятнадцать.

– С отцом что случилось, болел, что ли?

– Нет, не болел вроде. Не знаю, мать писала, что он изменился, но не сказать, чтоб болел.

Они кричали, чтобы перекрыть гул мотора. Ленька вдруг вспомнил слова Виссарионыча про тоску, вспомнил и похолодел: тоска и сгубила его, а тоска потому, что Ленька уехал, совсем один остался батя. От этой догадки Леньке стало стыдно, как будто и впрямь его вина в смерти отца. Он отринул дурные мысли: «Обойдется все, батя, может, специально такую телеграмму дал, чтобы я приехал». Эта спасительная мысль ослабила сердце, он ловил ее и не отпускал, она согревала, давала утешение.

Мужики дремали, болтая головами и поминутно вздрагивая. Шофер не обращал внимания на товарищей, машину болтало по большаку, он ворочал баранкой, ставя ее на середину.

– Я тебя довезу до деревни, не переживай, нам все равно к утру надо быть в Ишиме, успеем.

Ленька кивал головой с благодарностью, не понимая, что шофер ничего не видит:

– У меня деньги есть, я заплачу.

– Ладно.

Свернули с большака и поехали лугом, привыкший к тряске, сидевший рядом с Ленькой проснулся:

– Ты, Филя, все-таки поехал?

– Дремай, – посоветовал шофер.

– У тебя подремлешь! Я бы лучше в вагончике покемарил, а не в этом гробу.

Ленька вздрогнул от страшного слова.

– С тебя пузырь, – мужик повернулся к Леньке.
– У меня деньги есть, я рассчитаюсь.
– Деньгами пьян не будешь, ты пузырь ставь.
– Найдем, у матери есть, – ему хотелось, чтобы мужик замолчал. – «Если отец плох, то действительно, мать припасла».
– Ты всегда матерью зовешь? – спросил шофер. – Мамой надо звать, мамой, и никак больше. Понял?
– Я зову.
– Ну, как же? Сейчас назвал матерью.
– Так за глаза.
– Все равно! Мама! По-другому никак нельзя.
Беспокойный мужик добавил:
– Ты вот к отцу едешь, а он мать схоронил месяц назад, потому и вспомнил, как надо звать. Раньше тоже не особо знал.
Шофер взревел:
– Да замолчишь ты, наконец!?
– Молчу! – мужик уткнулся носом в плечо спящего соседа.
У деревни шофер остановил машину, сказал, что дальше не поедет, не хочет улицу раздавить. Ленька вытащил деньги из кармана и протянул шоферу десятку. Тот отмахнулся и велел скорее вылезать. Мужик проворчал, что остались без водки. Ленька спрыгнул на землю и поскользнулся на липкой грязи. Машина обдала его несгоревшей соляжкой и ушла в темноту.
В ограде дома горел свет, Ленька перебежал на другую сторону улицы, чтобы сразу увидеть ворота, если они открыты, то все... Совсем не к месту вспомнилась поговорка «Пришла беда – открывай ворота». Вот почему в таких случаях ворота открывают, чтоб все знали, что в этом доме горе. Тесовые ворота были закрыты, сквозь щели высохших досок выбивался свет со двора.
Мать вышла сразу на стук калитки, видно и не спала, Ленька остановился в потерянности, мать заплакала:
– Третью ночь не спит, мается.
– Медичку вызывали?
– Была, да толку-то... Говорит, надо в район везти, а он запретил. Айда, он ждет.
Отец лежал на большой семейной кровати, да и не лежал, а полусидел на высоких подушках, глаза открыты, тихий ночничок едва светит.
– Батя! – Ленька упал на колени. – Ты чо надумал, тятя? Ты чо?
Отец повернул голову:
– Ленька. Приехал. А братовья?
– Нету их, отец, емя дальше ехать, – сказала мать.
Яков Васильич кивнул:
– Не успеют. Буду без них помирать.
– Тятя!
– Мать, покорми парня с дороги, я отдохну.
Какая еда? Леньку трясло, как в лихорадке, мать налила ему полстакана водки, он выпил немного, занюхал соленым огурцом.

– Я боюсь, мама, – сказал он виновато.

– Да чо уж там, не чужой, своя кровь. Не бойся.

Они опять вошли в комнату, отец кивнул:

– Садитесь рядом. Феша, ты помнишь, как я на тебе женился?

– Дак нюшь, помню. К чему это ты?

– Расскажи.

– Ну вот, придумал.

– Расскажи.

– Ну, пришел с фронта, на сеномётке увидел меня, узнал, я тогда совсем молоденькая была, ночью постучал в окошко да и увел.

– А Тришка–бригадир правда баловался с тобой?

– Ну вот, придумал. – Она смутилась, посмотрела на сына. – Домогался, дак ведь ты знашь, что ничо не было.

– Домогался... Ладно. Ты иди, мать, я с сыном...

Ленька сидел на стульчике рядом с изголовьем, слышал тяжелое дыхание отца, лежащим рядом рукотертом вытер пот с его лба.

– Водку пил? – неожиданно спросил отец.

Ленька испугался:

– Мама налила, глонул.

– Ленька, слушай и братовьям скажи: пить можно, только ум не надо пропивать. Бойся.

Он помолчал. Залетевший на свет комар звенел над ночником одиноко и тонко. Ночная прохлада вытягивала из комнаты тепло, оно уходило неохотно, прощально шевеля занавески на окнах.

– Ленька, у меня в груди все сожгло, на работе схватило, кое-как домой пришел. Промать ты не думай, на ней греха нет, я грешен, доводилось с бабами вошкаться. Еще, сын: не ври никогда, соврать порой выгодней, а ты не ври. Обожди...

Он закрыл глаза. Ленька опять вытер холодный пот с отцовского лба. Кукушка из кухонных часов прокричала три раза. Мать не заходила.

Отец вдруг приподнялся, обеими руками ухватил Ленькины руки, сжал их крепко:

– Ленька, запомни, нет правды на земле! Я знаю, я всю жизнь верил и гордился, что знаю правду, а ее нет. Запомни!

Он откинулся на подушки и затих. Ленька не сразу понял, что отец умер, а когда понял, то не испугался, даже сам себе удивился, что страха нет, провел ладонью по его влажному от пота лбу, как видел в кино, и молча благоговейно смотрел в родное лицо. Мать вошла и вскрикнула, Ленька предостерегающе поднял руку, нельзя кричать и плакать, это он точно знал. Мать села на край кровати и не вытирала слез, они так и капали на расстегнутую отцовскую рубашу.

Братовья

Рассказ

Когда Максиму сказали, что родной брат его Матвей Павлович сильно занемог и даже может помереть, он опешил, с мысли сбился: ведь вчера еще сидели на бревнышках у дома и вспоминали молодость, Матвей даже через чур веселый был, все над Максимом шпакурил, выводил из себя.

– Скажи, Макся, ты с Нюркой Маленькой спал?

– Ак нюшь! И с Нюркой спал, и с сестрой ее Марфой.

– А когда? Ну-ка, вспомни, в каком году это было?

Максим занервничал, он не любил, когда его подначивали:

– «В каком году!». Да я разве всех упомяну. Ну, до войны.

– Врешь. Я в войну к ей похаживал, интересовался про тебя, она отперлась, говорит, и рядом не сидел.

Максим опять психанул:

– Твою мать! Да я ее как сейчас помню, я же азартный был до фронта, а она тюхтя, гундит – нихрена не понять. И пониже пупка у нее большая бородавка, ты себе ничего не натер?

Мужики хохотали, поддерживая Максима, Матвей про бородавку промолчал.

И вот на тебе, лежит без памяти, баба говорит, ночью забухтел не понять чего, вскрикнул и кинулся с кровати, прямо на пол упал, пена со рта. Сбегали за медичкой, она уколов наставила, утром машину директор совхоза дал, загрузили мужика, как мешок отходов, так без ума и повезли.

Максим сидел на тех же бревнышках, что и вчера, майское солнце согревало, он отстегнул деревяшку, которую носил вместо протеза, привезенного из Омска, уж больно тяжелый и неловкий делали ему протез. Максим через год ездил в Омск на примерку в протезную мастерскую только потому, что дорогу ему сельсовет оплачивал, а он к другу

своему фронтовому заезжал, вспоминали, выпивали и плакали о молодости и друзьях. Протезов у него в казенке висело штук шесть, а носил самодельный, выстроганный из березы. С торца приколачивал кусок грубой резины, чтобы не скользить, деревяшка оставляла след что на снежной дороге, что на грунтовой, потому сынишка по заданию матери всегда легко его находил, если мать подозревала, что Максим где-то ошалеел.

Они с Матвеем хоть и братья, но не шибко роднились, Максим на восемь лет старше, до войны раза три женился, да все не впрок. Первую свадьбу сыграли по-настоящему, правда, без венчания, к тому времени церковь уже прикрыли, а попа отправили на Урал лес пилить, но отец Павел Михайлович благословил, невесту принял. Только Макся на первой же неделе заявил молодухе, что жить с ней не будет, мол, не рассчитывай, а сам на вечерки стал похаживать, после ужина, бывало, скажет:

– Пойду к Ивану Лаврентьевичу в карты поиграть.

И утянется, до первых петухов прогостюет, потом явится. Отец как-то и встретил его:

– Ты где, сукин ты сын, шлялся? У тебя жена или кто? И чтоб я больше не слышал, что она ночью зубами от горя скричат! – Да и вытянул женатика широким сыромятным ремнем так, что рубаха к телу прикипела, Максим взревел, выскочила нянька Анна, старшая сестра, запричитала над кровью, а просеченную рубаху снять не может, пришлось самогонкой отмачивать, заодно и пострадавшему налила стаканчик.

Потом еще пытался обзавестись, да, видно, не судьба, одна сама ушла, другую проводил, так что на фронт холостячком отправился, это на четвертом-то десятке.

А Матвей дома остался, хотя его год призвали сразу: болезнь у него приключилась какая-то, не то ноги отнимались, не то мочился неудержимо, Макся так и не понял, когда вернулся из Саратовского госпиталя без ноги уже после победы. Матвей жил самостоятельно семьей, работал в колхозе на завидной должности объездчика, соблюдал колхозную собственность, чтобы мужик где лишний прокос для своей коровки не сделал, чтобы баба колосков в подоле с поля не принесла, чтобы ребятишки не мяли хлеба, когда бродили по первым от деревни лескам в поисках сорочьих гнезд, саранок и пучек.

Максиму определили третью группу инвалидности, она называлась рабочей, потому зимой он ходил за овечками, а с весны до глубокой осени ночами сторожил оставленную в поле колхозную технику, чтобы кто не побаловался. При нем была лошадка с ходочком, как и у братеньника, но с братом совет не брал, а когда мать померла, и вовсе чужими стали.

За Максимом закрепилось прозвище «Родной», в деревне редко кто без клички живет, Максим тоже остер на язык, многих наградил кличками, да и сам не избежал. Макся свое прозвище не любил, обидное оно, оскорбительное, пошло от частушки, которую кто-то во злобе сочинил: «На горе стоит осина...», дальше такая гадость, про холстяную рубаху: «Он в рубахе холстяной», и заканчивался ехидно: «Помогай, Максим родной!». Частушку пели, Максим иногда с юмором воспринимал, а однажды братец исполнил, едва его отобрали, за горло ухватил с обиды, мог и не упустить.

Вот Пашку Лукина он перекрестил, прилипла кличка, как новое имя. Дело было в выборы, выбора, как в деревне говорят, большой праздник, в клубе торговля сладостями и колбасой, к тому времени стали уже пиво бочковое завозить, вовсе колготня. Кто «отдал свой голос», отоваривались в очередь и садились в зале на скамейки вдоль стен, встречали входящих, обсуждали. На стенах портреты висят, члены и кандидаты, Ворошилов тоже,

из-за медалей лица не видать. Пришел голосовать и Павел Лукин, механизатор, росточком мал, а до работы жадный, когда целину осваивали, месяцами в тракторе жил, все пахал, дали ему за это аж две медали, одну «За освоение», другую «За доблесть». Паша на выбора явился в пиджаке с медалями, да еще значки ГТО и ДОСААФ нацепил. Макся тут же сидел, сказали, что толи концерт будет, толи комедию какую покажут. Когда Паша вошел в зал, Макся аж подскочил:

– Ты гляди, ну чисто Ворошилов Пашка-то!

Все, с тех пор спроси Лукина, не каждый скажет, а Ворошилов – пожалуйста, это Пашка. Пашка не обижался, даже помогал Максиму крышу на избе дерном перекрыть. Давно это было. Максим тяжело вздохнул.

Вон Манаэль идет, с утренней разнарядки в конторе совхоза, инженер. Максим хоть и пострадал на фронте, но к немцам относился без обиды, и старый Яков Кауц, и школьный учитель безногий после трудармии Эмиль, и сосед Эммануил Григорьевич, по-уличному Манаэль, были почти товарищи, и по рюмке доводилось поднимать. Манаэля он сильно уважал, вот безграмотный совсем, а любую машину соберет и отрегулирует. Когда Максиму первую инвалидскую мотоколяску дали, что-то случилось, скорости перестали включаться. Манаэль велел прикатить к мастерской поломку, а вечером на ней приехал, едва не раздавив, потому что весу в нем было не меньше восьми пудов, и показал Максиму, что вот этим рычагом надо включать и выключать, а скоростей сколь вперед, столь и назад. Смех, конечно, но Максим помнил.

– Доброе здоровье, Максим Павлович!

– Здорово, Манаэль Григорьевич!

– Что с братом случилось?

– Не знаю. Пал с кровати и память отлетела. Не от того, что пал, наверно, как думаешь?

– Да уж не от того, понятно. Поедешь проведовать?

– Позжа, потом, дай оклематься, а сейчас лежит, как чурка, кого около его делать?

– Макся, а если помрет?

– Ну, стало быть, не жилец. Да нет, отойдет, не израненный, не изрубленный, на добрых кормах всю жисть. Да и моложе меня на восемь годов, он даже до пенсии не дожил.

Эммануил Григорьевич присел на бревно:

– Максим Павлович, а ты смерти боишься?

Максим хохотнул:

– Я только увижу, что она по нашей улице идет, деревяшку надерну и на огороды, и лягой прямо на Голую Гриву, там спрячусь у тетки Апрасиньи.

– С Геннадием помирились?

– Не буду, и чтобы не рисовался в наших краях, а то пришибу.

– Так обидно?

– Ак нюшь, какую статью подвел, засранец!

На Троицу, в престольный праздник, после поминок на кладбище собрались за столом у двоюродного брата Владимира Прокопьевича, совхозного бухгалтера, считай, все свои: Максим, Матвей, Иван Лаврентьевич, Паша Менделев, все с бабами, и Генка, он с Валентиной, сестрой покойной жены Максима, живет, тоже тут. Генка не ловкий парень, по пьянке всякую чушь несет, и вот после третьего стакана стал он разоблачать Максима,

что ногу ему не в бою оторвало, а пробило шальной пулей, потому что он ее из окопа высунул, воевать не хотел. Можно было и пропустить, а Максим помушнел, схватил граненый стакан со стола и метнул в Генку. Тот увернулся, это его и спасло, стакан попал в простенок и рассыпался в мелкую крошку. Максим еще что-то сгрёб, но на руке повисли, потом его вытолкали и увели домой.

– Да я на собственной крови примерз к кузову, в полуторку меня забросили после ранения, а там бой, не до меня, а как бой ушел, и все, пропадай. Ладно, что похоронная команда проходила, постонал, двое вернулись, видят, что кровь льдом взялась, один другому говорит: «Оставь его, все равно пропадет». А второй совестливый оказался: «Нельзя», – говорит. – «Седни я брошу, завтра меня кинут». И тащили меня километра два.

Эмануил встал:

– Пойду позавтракаю, и в поле, пшеницу начинаем сеять.

С Матвеем они еще один раз сцепились, из-за травы, Максим каждое утро, возвращаясь с дежурства, подкашивал свежей травы как бы для лошади, но получалась пара хороших навильников, и корове хватало, и теленку. Вот с этой поклажей и остановил Максима колхозный объездчик и учетчик Матвей Павлович:

– Ты, Макся, дуру не гони, каженный день возишь по центнеру, на всю зиму запас. Это все, – он указал на траву в телеге, – выбросишь телятам на базе, я прослежу.

Максим аж подскочил:

– А вот это ты не видел?! – Он выбросил вперед мослатый кукиш. – Ишь, угодник колхозный, начальству двойной тракторной тягой опять по зароду разнотравья отпустишь, а мне свою скотину шумихой да осокой кормить? Хрен тебе, и твоим телятам, все равно они задришутся.

Матвей метался верхом на кауrom мерине, нароя выдернуть Максима из телеги, потом соскочил с лошади и они сцепились. Максим поцарапал брату лицо, Матвей несколько раз ударил брательника кнутом. Максим отбивался сидя, крыл матом:

– Бей, твою мать, бей на убой, что фашисты не добили. Ты всю войну в бутылочку ссал, дак я тебя сейчас кровью умою.

Матвей вовремя одумался, вскочил на коня, отъехал в сторону:

– Максим, не лезь на рожон, сгрузи, как сказал, а нет – посажу.

– За два навильника?

– Колхозная трава. Посажу, есть такой закон.

Максим согласно кивнул:

– У вас на всякого человека статья найдется, это известно. А траву привезу домой, и не вздумай, брательник, с понятами придти, литовкой всех перережу, во мне кровь чужая, так что за себя не отвечаю.

Матвей невпопад спросил:

– С чего это у тебя кровь чужая?

– А в госпитале мне лили, видно, трофейная, на каждом флаконе фамилия «Донор» написана. Ты бы побоялся меня.

На том разошлись, но Матвей все же написал жалобу, бригадир Иван Моряк приезжал, посмотрел, пожалел Максима:

– Матвей в партию вступил, слышал? Хочет жить по правде. Ты его не зли, времена хоть и переменялись, но можешь сбрыкать за разбазаривание общественной собственности.

– Да поди не посадят меня, Иван Васильевич, я же калека, робить не могу, даром кормить будут.

– Ага, разевай шире.... Послушай меня, уймись.

Максим унялся, но с братом долго не разговаривал, до беды. После войны он женился, взял молодую бабенку с двумя ребятишками, все его отговаривали: зачем тебе такая обуза, вон сколько девок без женихов, сколько вдов одиноких, бери – не хочу. А он стал к Марии похаживать, и сам удивлялся: все глянется, и в избушке порядочек, и работающая в колхозе, и с виду хоть и невелика ростом, но ладная. Сошлись, в сельсовете оформились, парнишку она родила, но только десять годков и пожил, свернула ее нехорошая болезнь, выюжным мартовским днем свезли на кладбище. Матвей сам пришел, помогал гроб делать и могилу долбить. Без слов помирились, горе сводит.

Опять Максим начал перебирать, за два года не пятерых ли баб приводил, только ничего не получалось, отвозил обратно. Потом присоветовали ему в соседней деревне бабочку, бездетная, покладистая. Съездил, ее с сестрой на смотрины привез, сговорились. Парнишка всех мамами звал, а тут не может себя перебороть, месяца три, наверно, мучился, пока назвал. Потом легче пошло, привязался к женщине и она к нему, своих-то никогда не было. Через год загулял Максим, приехала какая-то краля, а он быка в Заготскот сдал, деньжонки есть, три ночи дома не ночевал. Сынок явился в ту избу и сказал, что уходит он вместе с мамой в ее деревню. Максим заплакал и пришел домой, с тех пор жили более-менее...

Опять про Матвея думка, какая семья была, отец Павел Михайлович, старший брат Никита, нянька Анна, мама Зоя Степановна, да они двое. Бывало, до колхозов, любую работу ломали, отец никому не давал покоя и сам стоя спал. Сено ставили по стогу на голову, а коров держали восемь, лошадей тоже восемь, все с приплодом, овечек никто не считал. Зато зимой благодать, глызы почистил в загоне, сена напихал в кормушки, на Гавняшку коров с молодняком проводил на водопой, взрослых лошадей в поводу сводил, молодых опасно отпускать, в бочке воду привозили – и свободен. Бабы шерсть теребят, прядут или вяжут что, а мужики с осени сено возят, по теплу к посевной готовятся.

Макся и восстание помнит против советской власти, когда коммунистов и сочувствующих на пешни надевали, а потом восставших мужиков расстреливали и ссылали навечно. И как Колчак шел, тоже помнит, у них в доме двое офицеров стояли, одному новые сапоги хромовые сшили, он их на стенку повесил, Максим налюбоваться не мог. Когда красные пошли, офицеры на коней и на край деревни, к церкви, Максим думал: ну, все, отступят белые, а сапоги ему достанутся. Нет, взмокший офицер успел заскочить и сорвать со стенки хромочи. Максим таких никогда не нашивал.

Когда красные пришли, вечером подъехал верхом солдат, кричит:

– Хозяйка, молочка криночку не продашь?

Мать сунула Максимке маленького Матвейку, вынесла большую кринку свежего молока. Солдат деньги дает, а она отказывается.

– Деньги примите, – сказал солдатик, как учили, – и запомните, что советская власть даром у народа ничего не берет.

Максим хмыкнул, он того солдатику всю жизнь вспоминал, и когда налогами обложили, и когда в колхоз загоняли, и как пенсию ему назначили за отрезанную ногу, что только и можно было один сапог купить на оставшуюся.

После коллективизации хозяйство упало, от высылки Савелий Степанович, материн брат, спас, он в активе был и первым председателем в колхозе. Война потом подмела всё: отец умер, нянька Анна тоже, Никиту убили, Максим калека, один Матвей был матери на радость. Дом срубил хороший, ребятишек нарожал, мать почитал, не то, что Максим, она ему женитьбы на вдове с сиротами забыть не могла.

Он сидел на бревнышке и прутиком чертил на песке, редкие люди проходили мимо, тихонько здоровались, непривычно тихо им отвечал, без прибауток, без усмешек обычных. Больно и тоскливо было на душе, он почувствовал одиночество, вот двое их от всей породы осталось на свете, а понятия, что одна кровь, так и не усвоили. Нет, надо поехать к Матвею, надо, братовья ведь.

Иван Моряк остановил свои дрожки посреди дороги:

– Максим, убрался Матвей Павлович, только что позвонили из больницы. Я поеду в столярку гроб закажу, а ты дойди до его бабы, скажи, пусть одежду готовят.

Максим дотянулся до деревяшки и долго приспособливал ремень, глаза застило, слезы катились прямо на рубаху, он неумело стряхивал их, неожиданно подумав, что не плакал очень и очень давно.

Володькины книжки

Рассказ

Ночь упала вдруг. Густые мрачные тучи опрокинули свет и погасили его, уже нигде не было видно даже краешка чистого неба – все замерло от жуткой тишины. Далеко под стреху хозяйского дома залез серый воробей, галки молча слетели на развесистый тополь, собаки сначала выли, побеждая страх и показывая хозяевам свою преданность, потом, поджав хвосты и загремев цепью, волокли свой перепуганный зад под стену сарая. Корова перестала хрустеть своей жвачкой и тупо поворачивала голову, ожидая уже знакомого грома.

Внезапно прямая, как стрела, молния располовинила небо и уперлась в свинцовые воды озера. Дикая утка побежала по воде, как посуху, и врезалась в камыши, перепугав всегдашних тамошних обитателей. Заквакали и смолкли осторожные лягушки, щуки спустились поближе ко дну и сунули головы в корневища камыша и лопушек. Молния сгорела, и только тогда сухой гром раскатился над водой, над полем, над лесом, бухая раскатами, громкими, как выстрелы.

И хлынул ливень. Молнии, опережая одна другую, высвечивали деревню и все вокруг, они играли в небе, изображая всегда что-то ветвистое, похожее на выдернутые корни огородного паслена. Гремело уже без перерывов, иногда ухало так близко от земли, что она содрогалась, и вода в озере поднималась крутой волной. Не было в природе иных звуков, кроме грома, все затихло на земле и на воде, подчиняясь пугающей стихии.

Жизнь человеку дана для чего? Никто не знает. Потому тычется каждый, как слепой котенок, напрягается, вытягивает шею, и все ждет чего-то, что с ним должно случиться непременно. Володька где-то прочитал, сильно поглянулось: не все догадываются, что сидеть и ждать – безнадежное дело, если сам не приколотить к каблуку поношенных ботинок потерянную доходягой-одром истертую подкову и не станешь упираться, как тот носитель подковы. А, потоптавшись и умяв почву под ногами, выверишь свою тропинку, и пойдешь по ней, спотыкаясь, падая, сдирая локти и колени, разбивая лицо, вытирая пот, слезы и кровь. И как только человек душой и сердцем почувствует, что это его стезя, его дорога – расправит плечи, соберет в горсть усердие и примется улучшать и расширять ее. А кто не поднимется над собой, кто с молодых ногтей удовольствуется тем, что есть, уготована жизнь пресная, тоскливая и даже надоедая. И пройдет его время стороной, не захватив, не закружив, не порадовав страстью нестерпимой, оравой добрых друзей, кулачной дракой на чьей-то свадьбе. Все тускло и серо, вплоть до самой жизни.

Володька думал об этом, сидя в старой бане, где скрывался от отца и читал книжки. Отец книжек не любил, потому все, что Володька нашел в доме покойного безродного учителя Николая Николаевича, стаскал под крышу сарая, и соображал, куда это богатство заныкать к зиме. Ему уже шестнадцать, лицом в мать, чуть конопатенький, рослый, только все еще суховат, сказали, с годами силы наберет и в плечах раздвинется. Он любит читать книжки и думать, за что отец, подойдя втихушку, больно доставал по загривку.

Володька всегда так делал, вычитав не совсем понятные суждения, будто переиначивал их на свой лад и свое понимание. И тут пристыдил сам себя, что до сих пор не определился, куда он пойдет по жизни. Учительница Анна Петровна в седьмом классе говорила: «Эх, Рюмин, голова у тебя есть и сердце тревожное, да не в той семье ты уродился». А в какой надо было – не сказала, и Володька никак не мог увидеть себя не в своем доме, с другим отцом и особенно матерью, с братом и сестрой – тоже другими.

В баню волехнулся солнечный свет в открытую дверь, отец Иван Иванович стоял в косяках, как в раме, и Володька встреч солнцу не видел его лица, только знал, что ничего доброго отец не скажет, сжался, готовый принять матерок или кнут.

– Ты подскалу нарубил? – безразлично спросил отец.

– Нарубил и в кучу стаскал.

– Бери тележку, привезем, пока никто не скоробчил.

Пошли с тележкой на берег озера, густо заросший ивняком. Володька катил тележку, в ней веревка и топор на всякий случай. Отец шел рядом. Он рослый, сутулый, с большими руками, на голове кепка-восьмиклинка, на ногах изношенные кирзовые сапоги. Кепку и сапоги он носит с первых оттепелей и до морозов. Лицо будто облеплено сухой задубевшей кожей, брови выпцвели и совсем не видны, усы тоже отгорели, но подкрашены табачным дымом из самокрутки, которую он почти не выпускает изо рта, перекидывая из одного уголка губ в другой. Глаза черные и глубокие, отчего вид Ивана Ивановича суров и грозен. Да он такой и есть. Может ожечь кнутом или супонью, даже не ругавши, Володька как-то определил, что от лающей собаки можно отмахаться, а тихая молча подойдет и тяпнет. Таков отец. И никого он не любит.

Берег озера густо зарос тальником, отец зовет его подскалом, а мать вербочками. Он рубил, выбирая в зарослях стволы толщиной в завять, так отец наказал, потом стаскал в кучу, получилось, что за один раз в тележке не увезти. Сложили комлями вперед,

вершинки свисают, но они не будут цепляться за землю, если везти ровно, не поднимая оглобелки. Отец обвязал воз веревкой в трех местах, откинул в сторону топор:

– Я утяну, а ты тем часом наруби виц.

Володька понял, что почитать сегодня уже не придется, потому что вицы сохнуть не будут, отец сразу начнет налаживать прясло. Полез в чашу, выбирал тонкие недлинные побеги, срубал и высовывал на волю комельком вперед. Нарубил почти сотню, хватит на городьбу, хотел обкупнуться, пот застил глаза, и вода уже созрела, но боялся отца, он в бога не верит, но до Троицы купаться не велел, а Троица нынче аж в середине июня.

Тележку с вицами отец велел поставить в переулке, чтобы не бегать за каждой палкой, жерди привезли на той неделе, они, пролыщенные, лежали котюром, отец принес в береме заготовки для кольев. Двухметровые заготовки с толстой стороны он тремя ударами топора заострял, сверху донизу прогонял три залысины, чтоб просохли, а не прели. Володька приготовил ведро воды.

Огород у Рюминых был большой, тридцать соток, но пришли депутаты из сельсовета и разрезали его пополам, одна часть Рюминым, другая поселенцам, которые построились на пустом месте без земли. Иван вышел на огород в сапогах и кепке с кнутом в руках, он пас колхозный скот и плетью стегал непослушных телок. Глаза его нехорошо блестели, а руки перебирали овитое тонким ремешком кнутовище. Депутаты не стали пытаться судьбу и утянулись лягой. Вбитые колышки Иван шевелить не стал.

Дома было тихо, мать и ребетня боялись, что отцов гнев выплеснется на них, коли там сдержался, только Володька в душе радовался: в два раза меньше тятать и окучивать, а пуще того – копать картошку. Но в этот раз обошлось.

Новое прясло городили как раз по меже, установленной депутатами. Отец несколькими ударами колом намечал лунку, Володька плескал в нее ковшик воды, отец дожидался, пока вода впитается, и во влажную землю, ухая, глубоко вгонял кол. В четверти от первого вставал второй кол, Володька в это время подтащил три жерди, по ним отец определит, где будет следующая пара кольев. Потом в трех местах связал парные колья вицами, заправлял комелек за кол и сильным движением прокручивал вицы, они рвались повдоль и делались податливыми. На эти опоры укладывали жерди. Работы хватило до темноты, водрузив последнюю жердь и выплюнув измусоленный окурочок, отец махнул рукой: «Все!». Володька сильно устал, приволок топор и ведро, умылся в кадушке, в старой бане вытянулся на сухом и теплом полке.

Вот зачем живет отец? На колхозной работе целную неделю в лесу, пасут табуны молодняка, спят поочередно с напарником на голых нарах в вагончике, поесть нечего, кроме хлеба и сала. Их отец зовет небрежно жраниной. Со смены придет – опять работа, с весны до осени: дров надо напилить, сена накосить скотине, огород обиходить, рыбы наловить в зиму, дичи набить осенью. Семья большая, никто за столом не дремлет, а работник он один. А что видит? Каждую осень почетную грамоту от колхоза, в прошлом году медаль дали. Дома никто не приголубит и он никого. Никак не вписываются мать с отцом в Володькины книжные представления. Вон какие там жены: обнимут, целуют, милыми называют, что-то про любовь... Володька не видел, чтобы мать отца обнимала, разве что когда пьяного вела из застолья. Интересно, отец в городе бывал? Как-то спросил

его об этом, он нахмурился, отвернулся: «Бывал, много городов, вплоть до Берлина». Володька понял. А вот кителя с орденами у отца нет. У гвардии танкиста Прони есть, а у него нет. У Прони на кителе много чего, он в Октябрьскую с трибуны громовым голосом пугает загнивающий мировой капитализм. Говорят, батальоном командовал, а отец рядовой, хоть и с одного года.

Летом Володька в дом почти не заходил, разве что поест, если мать не ставила обед в летней кухне, спал в своей бане или под крышей сарая на ланишном сене. На сене было заманчиво, даже перезимовавшие травы сохраняли свои запахи, и они уводили сонного парня в луга, на выкrest солнца, на тяжелую работу с вилами и сеном, которое только так кажется воздушным, а поднять и уложить в день тридцать копен – света не взвидишь. Зато вечером, уже потемну, так сладко бултыхнуться в прохладные воды старицы...

До сенокоса еще далеко, завтра отец приведет лошадь с плугом и всей семьей будут под лемех бросать картошку. Из погреба ее достали за две недели, в тени сарая она согрелась, ожила и стрельнула белыми, синими и даже красными выскочками–росточками, в теплой и влажной земле быстро схватится и пойдет в рост. После посадки отец, мать и Володька деревянными граблями будут ровнять пахоту, и отец прогладит, чтобы ничьего следа не осталось, только правильные черточки от пальцев граблей.

Как только тепло согнало снег, и в березовых лесах на Горе обнажились поляны и пустоши, один за другим в Гору пошли гурты скота, и молочные, и нагульные мясные, особо охранялись от набегов пакостных бычков табуны телок, ремонтный фонд, будущее обновление дойного стада. Размещали скотину по порядку, чтобы не смешивались, и чтобы травы хватало хотя бы на неделю без перегона. Гурты ходили так близко, что скотники перекликались, если курево кончилось или тоска накатила. Большие и маленькие начальники везли на выпаса своих телятишек, чтобы снять обузу на лето, не сдавать в деревенский табун, не заботиться проводить утром и встретить вечером. Иван знал это уже не первый год, что поздней осенью, после последней перевески, хозяева приедут, отберут бычков поупитанней, пастуху поставят магарыч, и к вечеру в деревню, чтобы потемну вернуться. Все об этом знали, и никто не обращал внимания.

Нынче Иван будет пасти бычков в паре с Костей Ильиным, тот сам к нему пришел и попросился, Иван кивнул, потому что Костя пастух многоопытный, не особо пьющий, стало быть, сменит вовремя. А еще было соображение: Костя заядлый охотник и, как в деревне считалось, не живет без мяса, зимой и летом вкрадчи то козу застрелит, то кабана. У Ивана тоже ружье, снимал его с полатей осенью, когда на всех озерах открывалась охота на северную перелетную дичь, да и то не особо удачливый был охотник. Но уже на вторую смену ружье взял в лес, и патроны зарядил: по пять крупной дробью, мелкой и картечей. На смену приехал не утром, как положено, а накануне вечером. Привез свежего хлеба, сала соленого и бутылку водки. Бычки зашли в загон, Иван накинуд на воротца и столб кольцо из проволоки, чтобы какой шалун не раскатал ворота. Перед вагончиком

развели костер, комаров в этом году густо с первых теплых дней. Иван разложил закуску, выпили по стаканчику. Костя не особо разговорчивый, но под стакан и он не умел молчать.

– Слышь, Иван, – Костя прожевал и с трудом проводил жесткое свиное сало. – Вон по ту сторону колка оденок от вороха остался, кто-то из комбайнеров осенесь вытряхнул бункер, а ночью собрали. На хлеб выходит лось, ближе к рассвету, я выследил, а днем съездил: точно, пожрал и тут же оправился. Так что пить больше не будем, ружье свое приготовь, с вечера поспим, я разбужу.

Пока Костя вошкался с лопнувшим по середке седлом, Иван успел глотнуть прямо из горлышка, вытащил из-под нар мешок с разобранной «ижевкой», вставил два патрона с картечью. Думалось, хорошо, что напарник лося надыбал, поделим по-братски, по задней ляжке возьмем для себя, а остальное Костя в город сбавит, есть у него тропка натопанная. Копейка все же не лишняя. Костя, как положено, обошел загон, проверил, все бычки лежат, жвачку жуют. Столько лет со скотом, и все надивиться не может: каждая тварь по-своему спит. Один лежит на боку, аж ноги откинул; другой под себя ноги подобрал, голову согнул и тут же уложил; этот лежит на брюхе и шею вперед вытянул. А тот вообще стоя спит, видно, так ему нравится, но чутко: только человек подошел, он вскинулся. Костя вернулся в вагончик, хотел подпалить «летучую мышь», да Иван заворчал, что комаров напустит, тогда он в темноте приподнял плаху в полу и добыл ружье.

– От кого прячешь? – спросил Иван.

– Ну, не от тебя же. Уходишь с гуртом за версту, а вдруг какой человек?

– Дак замок же есть!

– А что замок? Для доброго человека. А худой раз стукнет, он и отвалится.

– У тебя картечь заряжена?

– Со вчерашнего дня. Я хотел один завалить, да поостерегся, лось не дурак, не вдруг допустит.

– А вдвоем как пойдем? Ты мне разъемачь, я еще тот охотник-то.

– Да вот и думаю, что надо было с тобой по свету съездить, прикинуть. Ну, ничего, прежде посмотрим, как ветер дует, чтобы он нас не учуял. Если как сейчас, то пойдешь с правой стороны колка, а я с левой. До края не доходи, остановись. Я сам на него выйду. Если учует и побежит – бей, мы его с рассветом по крови на лошадях загоним. Все, спим.

Иван уснул сразу, и ему снилась веселая гулянка, где он плясал «цыганочку» и пел матерные частушки. Даже во сне Иван удивлялся, с чего это вдруг так раздухарился, ведь в жизни на круг не ходил и песен не пел. В самый разгар веселья кто-то неловко толкнул его в плечо, Иван встал, хлебнул горячего чаю, Костя уже расстарался. Стало теплее, из щелей тянуло прохладой.

– Вроде не жарко на улице-то? – спросил сонным голосом.

– Прохладно. Да ты очухивайся, выходить пора. Так, дождевик оставь, шуршать будет.

Костя с ружьем вышел, дверь не закрыл. Иван нашарил бутылку и ухватил пару глотков, враз согрелся, и сон пропал. До колка шли вместе, молча, остановились, Костя показал рукой, куда идти Ивану, шепнул:

– Дойдешь до горелой осины, она поперек лежит – припухни, он скоро прийти должен. Захрустит, слышно будет. Ты лучше ляг, шуму меньше. Ветер нам в спину, хорошо, не учует.

Иван осторожно краем леса дошел до горелой осины, чуть шагнул вглубь леса под разлапистую большую березу, лечь не стал – земля холодная, приткнулся к дереву, ружье положил стволом на нижний сучок. Тишина. Ночь безлунная, черная, только звезды чуть видно из полосы предутреннего сумрака. Пробежал какой-то зверек, может заяц, а может суслик, кому-то тоже не спится. Он чувствовал, что вроде разглуздался, пришел в себя. Сильно хотелось курить, но нельзя, сам понимал, да и Костя припугнул. Глаза к темноте привыкли, сквозь мелколесье вырисовывалось поле, не пахано, где-то тут зерно в стерне, тут и будет лось. Интересно, кто из мужиков хапнул бункер? Это же надо вдвоем управлять, в мешки засыпать, потом в кузов. Значит, и шофер в доле, и должны быть друзья. А кто? Иван улыбнулся догадке: точно, что братцы Чигунаевы, Андрюха и Генка. Потом вдруг подумал: а если зверь с этой стороны выйдет и прямо на него? Стрелять надо наверняка, не дай бог – ранишь, он дурной делается, на рога может поднять.

Чуток начало зариться, воздух побледнел и стал совсем влажным, Иван провел по стволам рукой и снял росу. Поежил, осторожно прошел краем леса вперед, потом в чащу, там темнее. И вот! Хрустнуло в тишине громко, потом опять, и несколько раз. Вскинул ружье: точно, тут! Выстрел, потом вторым стволом. Страшный рев вырвался из леса и ушел в вышину. И жуткая тишина, только слабый стон человека. Иван кинулся в ту сторону и наскочил на прислонившегося к березе Костю.

– Ох, Ваньша, осиротил ты моих ребятишек!

Иван встал на колени, приподнял Костину голову, струйка крови вытекала из уголка перекошенного рта, Костя вытянулся и затих. Иван ничего не понимал, ведь лось должен был идти, почему Костя, зачем он так тихо, что сбил с толку? Живой, надо его трясти, чтоб очнулся. Пошевелил, а тело сползло на бок, дурно запахло из развороченного живота. Ужас поднял Ивана, он бросил ружье и кинулся вон из колка. За всю послевоенную жизнь не видел так близко мертвых, потому бежал прочь, не понимая, что происходит. Уже у вагончика, когда присел на скамейку, вдруг понял: он убил Костю. Иван захватил голову и завыл.

Светало. Иван очнулся, надо что-то делать. Надо в деревню, в сельсовет, к участковому. Надо вести их сюда, показать, где лежит Костя. Он со слезами оседлал коня и погнал его, что есть мочи.

Через три часа его привезли обратно на газике председателя колхоза, с ним участковый Ганя Черненький, фельдшер Валя, председатель сельсовета Лукин. Следом пришла грузовая машина. Дорогой Лукин все помогался, как получилось, что Иван застрелил напарника, пока милиционер не велел ему замолчать и лишний раз не нервировать преступника. Иван не ослушался: он так и сказал: преступника.

Иван показал, где лежит Костя, указал место, откуда стрелял, ружье его тут и лежало. Костю увезли, фельдшер тоже уехала, Лукин остался, шепнув участковому, что опасно в такой глуши один на один с убийцей.

– Скажи, Рюмин, почему Ильин шел к тебе через лес? Он тебе не кричал, что идет? Ну ладно. Я вот тут в тетрадке нарисовал как бы колок, вот тут зерно рассыпано, кстати,

надо еще разобраться, кто хапнул, тут, судя по всему, тонны две было. Да, тут зерно, тут ты, а он? Укажи, где он стоял на номере?

Иван глянул на бумагу и показал пальцем:

– С той стороны колка должен быть.

– Непонятна мне ваша схема. – Милиционер снял фуражку, солнце успело подняться. – Почему ты у самой пшеницы, а он в стороне, не меньше ста метров.

– Я тоже сначала далеко был, как договорились. А потом подошел.

– Почему?

– Не знаю. Тут ближе.

– А Ильин знал, что ты должен переместиться?

– Откуда? Я ему не кричал. Ведь лося ждали.

– Рюмин, уточни: когда ты стрелял, уже начало светать?

– Чуток светлело.

Ганя Черненький захлопнул свой кожаный планшет:

– «Чуток!». Если светать начало – кончилась охота, зверь уже не придет. И Ильин это знал, бывалый браконьер. Потому и шел к тебе напрямую через лес. Он тебе кричал?

Иван безнадежно качнул головой.

– Плохо дело, Рюмин, – подвел итог участковый. – Поедешь со мной в райотдел, следовательно этим делом будет заниматься.

Володьке никогда не забыть, как он метал первый свой стог. Сгребали сено с братом Серьгой и сестрой Надюхой, потом копнили, дело это знакомое. К вечеру пешком пришла мать.

– Ты зачем, на ночь глядя? Мы уже сложили, – доложил Володька.

– Метать будем, меня на завтра в бригаду занарядили, на огород.

Володька все не верил: метать сено ночью, что ли?

– Ночью, Володька, теперь все будем делать после работы. И ты в колхоз выходи.

– А школа?

– Хватит семилетки, у нас в породе шибко грамотных не было.

Верхом на бывшей отцовской Пегухе Володька доехал до Коровьей Пады, срубил пять ветвистых березок, поперечинка к волокуше лежала в телеге. Создавал вершинки на поперечинку, на Пегуху надел хомут с тяжами, концы у тяжей петлей, натянул их на поперечину, сказал брату:

– Серьга, бери вилы, учись на волокушу класть.

И сестре:

– Ты, Надюха, за ним следом подсребай.

Мать вмешалась:

– Не шевель парня, малой он.

Володька сказал устало:

– Ты стог уминать залезешь, я снизу подавать, а кто нам сено подвезет? Пусть привыкат, я подучу.

Мать перехватила вилы:

– Пока сама буду.

Володька крикнул:

– Сергей, вставай рядом с мамой, учись. Не велика наука.

Три копны ссадили с волокуши одну к одной, Володька стал закладывать проемы, ничего, получалось, только тяжело и сильно охота пить. Втыкал вилы в землю, подбегал к телеге, сдергивал с жестяного ведра материн платок, отцовской походной кружкой загребал воду, пил, не отрываясь, и быстрым шагом возвращался к стогу. Одному метать – это не с отцом, но мать подсказывала:

– Метальщик, с того краю нависат, а с этого пусто.

Он закидывал провалы, а она снизу лишнее грабелями убирала.

– Поди, пора, Володька, уминать начинать, сено доброе, не дай бог – прольет ливнем.

Володька воткнул в стог пару вил, мать, как по ступенькам, поднялась, встала на верхние, а нижние он тут же переткнул выше, мать оттолкнулась и уползла в центр стога. Утоптала середину, обошла по краям, и началась главная работа. Володька по кругу подавал наверх тяжелые навильники, мать перехватывала их грабелями и безжалостно втаптывала по кромке стога, обозначая ненасытную середину. Володька взмок, только рубаху с длинным рукавом сбрасывать нельзя, сухая сенная пыль зудом изведет все тело, а там только начти расчесывать – все комары твои.

Серьга подвозил неуклюжие копны, он не знал еще, что к каждой работе на лугу надо приладиться, может, сто раз бестолково сложить копну, чтобы на сто первый получилась настоящая, которую не только к стогу, а хоть до самой деревни вези.

Большая круглая луна мешала Володьке подавать сено ей навстречу, слепила глаза, а он уже пересадил вилы на длинный стоговой черен, и из последних сил забрасывал матери под ноги охапки сена.

Завершили, длинные вицы связал вершинками и подал на вилах матери, она раскинула их по сторонам света, чтобы ветры не трепали стожок. Закинул наверх вожжи, ухватился, еще Серьгу позвал и крикнул:

– Мама, спускайся.

Вожжи потянул обратно и сразу ослаб, мать села рядом и плакала. Серьга прилег рядом. Надька заскребала сено и черенком граблей подбивала его под основание стога. Володька поднялся запрягать Пегуху. Луна повисела над головой и медленно покатилась на отдых.

Раным-рано прибежала Матренка Петелина, она в этот день исполнительница при сельсовете, разговор у нее быстрый, из всей скороговорки Володька понял только, что вызывает его председатель и прямо сейчас. Володька с матерью тоже ходили в исполнители, назначали, и от колхозной работы освобождали. Надо было сидеть в коридорчике и заходить в кабинет, когда председатель крикнет: «Исполнитель!». Велено было бежать к бригадиру животноводства, найти его дома или на ферме. Потом искал киномеханика Сашку, он вчера билеты продал, полный зал народу запустил, а сам киновудку закрыл и на своем «ковровце» уехал к полюбовнице красавице Гале Смирнихиной. Люди ждали долго, потом засвистели, затопали ногами, стали кричать: «Сапожник!». А в киновудке тишина, тогда и расчухали, что Сашка уже на седьмом взвозу. А вечером председатель дал Володьке два рубля 87 копеек и велел купить в сельпо

бутылку водки, да не сказывать, для кого, принести и его вызвать в коридорчик. После этого их с матерью отпустили домой.

Зачем Володьку вызвали в сельсовет, он не задумывался, сказали прийти – придет. Шел по улице безлюдной совсем, большие на работе, ребетня в школе, маленькие в садике или дома с бабками. Навстречу учительница по русскому языку и литературе, так и знай, будет выпытывать, что в школу не ходит. Самое время хорошую книжку спросить, да ее разговор не перебежешь.

– Здравствуй, Рюмин.

– Здравствуйте, Анна Петровна.

– На днях вечером заходила к вам, да дверь на клямке.

– Сено метали всей семьей.

– Ты в колхоз-то не вышел еще?

– Нет. Хотел на тракториста, да годов мало. Скотником зовут, да мать не велит, тяжело там.

– Может, в школу вернешься? Тебе учиться надо, способности есть и интерес.

Володька хмыкнул:

– Только денег нет. Пусть мелкие учатся, а я как-нибудь.

– Рюмин, если все решил, давай, я с директором договорюсь, истопником и дворником в школу.

– Спасибо, Анна Петровна, не пойду. Там девчонки, стыдно. А книжки интересные у вас есть?

– Есть. Я тебе домой принесу, вечером.

Володька покраснел, но промолчал, неловко было про такое учительнице говорить.

Председатель сельсовета Евграф Леонтьевич встретил прямо в дверях. Он один в деревне до сих пор носил военную форму под ремнем и цветную колодку на левом кармане кителя. Длинные седые волосы он клубком укутывал на голове, стараясь прикрыть лысину. Когда он гневался, вся эта городьба сваливалась на сторону, Евграф Леонтьевич терял всякую строгость и быстро нахлобучивал шляпу или шапку, смотря по сезону.

– Вот что, Рюмин, мне в районе дали неделю, чтобы избача нашел, ну, это по-старому, теперь завклуб и библиотекарь. А где взять? Из колхоза никого не отпускают, в школе тоже лишних грамотных нет, а ты вроде не тут и не там. Работа такая: клуб открыть, когда Сашка протрезвится и кинокартину привезет, в субботу Николай Агапович приходит с гармошкой, танцы. Он, понятно, чтобы от Груни утянуться, но все равно «Амурские волны» и «Цыганочку» отыграют. Так, а ты каждый день с двух часов и до управы, пока коров пастухи пригонят, сидишь в библиотеке книжечки выдаешь. Завтра доедешь до районной библиотеки, кой чему научат.

Володька возмутился:

– Прогонят они меня, годами не вышел.

– Дурак, я тебе справку напишу, что семнадцать полных. Женихашься уже вовсю, а? Поговаривают, что к тебе все летичко молоденькая училка захаживала.

Володька смутился:

– Так она книжки приносила, Евграф Леонтьевич.

Председатель засмеялся:

– Знамо дело, и мы когда-то книжки почитывали. Все, пишу тебе бумагу в район.

Володька вышел, и все с ума не идет хохоточек председателя из-за Анны Петровны, наболтают в деревне про девчонку, что зря. Надо сказать, чтоб не ходила. Опа, так она сегодня придет, обещала! Нет, надо перехватить, решил на улице подождать, чтобы в дом не заходила.

Опять вспомнился председатель, что жениться начал. Тут он прав, соглашался Володька, есть такой грех. Тянет его к Танюше Ильиной, только как к ней теперь подходить, если отец ее отца застрелил? Танюша и сейчас не шибко сторонится, только он не дурак, соображает, что появившись – сразу про отца вспомнит. Если бы в школу ходил, все проще, где-то на перемене зажал бы на парте, пощекотал. Девчонки это любят, хоть и повизгивают для вида. Все ребята так делают, если девчонка нравится, да и они тоже должны соображать, что не просто так парень тяжело дышит. Неделю назад Володька увидел ее во сне в голубеньком платье и такую улыбчивую, решил написать ей письмо, как в романах: «Я к вам пишу...». А что больше остается? Вот разве в библиотеку будет приходить, тогда удастся поговорить.

В район уехал на попутке, да и там недолго задержали. Заведующая посмотрела сельсоветскую бумагу и велела написать заявление. Володька старательно выводил буквы, все слова проверил – нет ошибок. Она глянула на листок и сказала, что приказ вышлет в совет, а к работе надо приступать немедленно. Прибежал домой к вечеру, обрадовал мать:

– Нанялся избачем, завтра клуб открываю.

– А жалованье?

– Какое жалованье? – удивился Володька.

Мать всплеснула руками:

– А робить ты за что будешь? Там же и полы надо мыть, и печи топить.

Володька припух:

– А мне не сказали.

– Узнай в совете и мне скажешь. Может, лучше скотником пойти, зимой, конечно, тяжело, зато летом вольготно, пасешь на свежем воздухе. – И вздохнула, вспомнила отца.

В библиотеке Володька кинулся было к широким дощатым полкам с книгами, но остепенился: в читалке месяцами не метено, на окнах тенеты, стекла в рамах не хватает, пыли и листьев с соседних тополей нанесло. Нашел ржавое ведро, драную занавеску с печи сорвал (попрошу мать, другую даст). Сбегал на колодец за водой, заодно наломал веток, подмел большой мусор, на скорую руку протер подоконники и рамы, помыл пол. Стало приглядней. Глянул в клубный зал, загадили его до последней крайности. Володька и дома часто мыл полы, когда мать на работе, так что и тут управил. В тумбочке стола нашел краски, оторвал вывеску у входа и старательно вывел: «Клуб. Библиотека». Приколотил, отошел в сторону, полюбовался: красиво!

Потом ходил вдоль полок и читал названия книг, попадались и знакомые, но редко, много надо еще прочитать. Исполнительница из сельсовета стукнула дверь:

– Звонили из района, завтра библиотекаря придет тебе в помощницы, да бухгалтерша Федоровна велела сказать: зарплата у тебя 32 рубля.

Домой пришел к вечеру, надо по хозяйству управиться, только собрался, соседка мать под руки ведет:

– Ребятишки, горюшко-то какое, нетука теперь у вас отца.

Володька выхватил казенную бумагу, прочитал: «Осужденный Рюмин И.И. погиб во время производства работ на пилораме. Похоронен по месту отбывания наказания». Подпись и печать.

Через неделю приехала из района рыженькая девчонка, он видел ее в детском отделе, подумал тогда, что из читающих. На ней было легкое платьице с пояском и стоптанные туфельки, в руках тряпичная курточка. Рыжие волосы вились и были прижаты заколкой с ромашками. А глаза серые и большие, губки поджаты скромно.

– Меня зовут Валентина, а вы Владимир?

– И с чего мы на вы? – дружелюбно улыбнулся Володька. – Тебе сколько лет?

– Почти шестнадцать. Я после семилетки, но в техникум поступила.

– Молодец. Мы с тобой одноклассники. Чему учить будешь, Валентина?

И началось. Валя нашла журнал учета книг, полдня сверяли наличие, расставляли по полкам по авторам в алфавитном порядке. Скудная работа!

– А ты надолго приехала? – вдруг вспомнил Володька.

– На три дня, мне сказали.

Володька засмеялся:

– Уже все управили, осталось с формулярами разобраться. Два дня свободных.

Хочешь, по грибы ходим, я заросли опять знаю.

– Мне еще сельсовет квартиру не нашел.

– Эка беда! – рассмеялся Володька. – У нас перекантуешься. На мать не обращай внимания, у нас отца убило.

– Господи, горе-то какое?

– Это далеко, он в тюрьме был. Ладно, пошли обедать.

Ели щи со сметаной и кукурузным хлебом из магазина, пили чай на листочках смородины. Серьга не утерпел, прямо за столом спросил:

– Братка, теперь она у нас жить будет? Вы жених и невеста?

Валя покраснела и выскочила из стола, Серьга получил плюху по затылку. Гостью поймал в дверях:

– Не слушай его, малек, что с него взять?

Пошли в совет искать квартиру.

За это время Володька научился ориентироваться в своем хозяйстве, заполнять журнал и вести учет. И все присматривался к девчонке, такая она славная, добрая, беспокойная. Глаза на Володьку вскинет, у того сердце в горлышке стучит. Валя табуретку поставила, чтобы на верхней полке прибрать, Володька осторожно взял ее за талию и опустил на пол. Девчонка вскинула голову:

– Зачем ты так?

– Не знаю.

– Не надо. Тебе просто пообниматься охота, а я так не могу.

– Да ладно тебе, подумаешь: в руках подержал. Я целуюсь с девчонками, и ничего, – напрополоу врал Володька.

– Вот видишь, – громко упрекнула Валя. – А я так не хочу.

Анну Петровну дождался в переулке перед самым домом. Увидел ее издали и вышел навстречу. Были последние теплые дни сентября, она шла в спортивном костюме, в кроссовках, с косынкой на шее.

– Рюмин, а я к тебе, – она весело улыбнулась.

– Не надо вам ко мне приходить, по деревне уже разговоры пошли. – Володька хмурился.

– О чем, Рюмин?

– Про нас, что вы ко мне не зря ходите.

– Конечно, не зря. Хочу, чтобы ты продолжал расти и становиться культурным, грамотным человеком. Чтобы ты, наконец, понял, что учиться все равно придется, если не хочешь оказаться на обочине жизни.

Володька смутился:

– Ну, это вы так кучеряво, а наши бабы судят круто: ходит – значит, шуры-муры.

Анна Петровна засмеялась:

– Рюмин, кому это в голову пришло? Хотя, сказать честно, ты мне нравишься, и мы могли бы дружить, ведь я всего на два годика постарше.

– Как? – оторопел Володька.

– Да просто, после трех курсов училища ушла на заочное, так сложилось. Впрочем, зачем я тебе все это объясняю? Ты же девушку во мне не видишь, только Анну Петровну, которая двойки ставила, если проболтался. Ну, хорошо, если дома над тобой столь строгий контроль, буду приходить к тебе в библиотеку. Не выгонишь?

Володька стушевался, не зная, что сказать:

– Вы на меня не обижайтесь, Анна Петровна, я за вас переживаю.

– Вот и славно. До свидания. Да, а книги-то возьми.

А ведь Анна Петровна исполнила обещанное, каждый вечер приходила в библиотеку, он и сам не заметил, что ее рассказы о великих людях, мудрецах и писателях, стали ему интересны. Он просил их книжки, она приносила, и ночами, при керосиновой лампе со стеклом, читал, удивляясь, что мятущиеся души и судьбы книжных людей ему понятны, а поступки он тоже совершал такие же. Нет, он не заметил, что учительница стала обращаться к нему проще, поласковой, не как к непослушному школьнику. В тот новогодний вечер они устроили праздник для колхозников, правление выделило немного денег, Анна Петровна столько всего придумала, что даже бабульки вышли поплясать «цыганочку» под гармошку Николая Агаповича. Когда все разошлись, Анна Петровна устало села на стул и обмахивалась капроновой косынкой. Володька подошел, встал перед ней на колени и молча глядел в глаза. Она не ойкнула, не вскочила, нежно сжала руками его голову и поцеловала в губы. Он встал, держа ее за руки, и они долго стояли, глядя друг другу в глаза.

Лампочки три раза моргнули, дизелист на станции предупреждал, что через десять минут выключит электричество, он и так в честь праздника два лишних часа отработал. Володька очнулся, побежал за спичками и зажег настенную лампу, потом вторую, электричество погасло, и сумрак охватил комнату. Они опять сошлись, обнялись неловко и стояли, чуть отшатнувшись друг от друга.

– Володя, ты целовался с девочками? – прошептала Анна Петровна.

Володька подумал, что надо бы сказать о библиотекарше Вале, но не стал.

– А я целовалась с парнем. В училище. Ты не будешь ревновать?

Володька улыбнулся:

– Не буду. С чего мне вас ревновать?

Анна Петровна отошла назад.

– Ты и после поцелуя будешь меня учительницей считать? Володя, зови меня Аней, мне так очень нравится.

Володька неловко ухватил девушку в охапку и крепко прижал, чувствуя ее гулкое сердце, трепетное легкое тельце и щеки пышных волос.

– Аня, Анюшка, буду звать...

Анна высвободилась из непрочных объятий, опять поцеловала парня в губы.

– Володя, я уеду из школы в другой район, так надо, у меня там мама. Я тебе напишу письмо. Можешь приехать, только я скоро выйду замуж, жених мой в армии служит. Проводи меня.

Шли молча, простились за ручку, без поцелуев, да и все случившееся Володьке казалось видением.

Анна Петровна уехала из деревни сразу после Нового года, ему тогда стало тоскливо и совсем безысходно, даже поговорить не с кем. Больше он Анну Петровну не видел и писем от нее не получал.

Анна Петровна вернулась в село через десять лет, после окончания института директором средней школы, одна, без мужа и детей. С удивлением узнала, что Володя Рюмин окончил вечернюю школу, потом Уральский университет, что у него большая семья и живет он в далеком городе. Бывший клуб переделали в квартиры, Анна Петровна заходила в одну, где когда-то был клубный зал и новогодняя елка, возле которой она целовалась с Володей. Ей было грустно. Хозяева, показавшие директору квартиру, были напуганы ее слезами и проводили чуть не до школы. В ее квартире было много книг. Она сходила в дом Рюминых, и мама, похвалившаяся сыном, спросила, не заберет ли Анна Петровна Володькины книжки. Тогда она полдня провела в их доме, разбирая мешки с книгами, которые накопил Володя и даже те, что она когда-то приносила ему. Мешки на колхозной телеге перевезли на квартиру директора, и уже через неделю учитель труда собрал в большой комнате целую стенку полок, сделанных учениками в школьной мастерской.

Анна Петровна была хорошим директором, ее уважали в коллективе, власти давали награды и звания. Вечером, когда школа совсем пустела, она приходила в свой ухоженный, похожий на гостиницу, домик, садилась в глубокое кресло, положив на столик несколько стопок книг из Володиных мешков. Она перебирала их, просматривая

страницы, отмеченные его карандашом. Когда часы били полночь, она уходила в спальню и ждала новых снов, которыми жила. Ей снилась новогодняя елка, слышалось Володино «Аня, Анюшка!», потом моргал свет, и наступала темнота, которая принимала ее до утра.

К выходу на пенсию Анна Петровна собрала много материалов о земляке, ставшем известным ученым. По ее просьбе школьные краеведы отправляли сочиненные ею запросы, на которые профессор Рюмин время от времени отвечал, присылая фото дипломов, знаков, снимки с конференций, где он был рядом с большими начальниками и хмурыми генералами. Анна Петровна оформила большой стенд, посвященный Владимиру Ивановичу Рюмину. Когда в школу приезжали гости, она взволнованно рассказывала об удивительной судьбе деревенского мальчика, ставшего мировой знаменитостью. Никто не догадывался, сколько за взволнованностью и сдержанностью было желания рассказать о книжках, какие она носила Володе, о новогодней ночи в сельском клубе и нескольких поцелуях, застывших всю остатную жизнь.

Нюхач

Рассказ

– Ленка-то Безбородихина опять аборт сделала. – Михаил Прохорович бросил на стол пучок свежего зеленого лука, только что с грядки, ходил по заданию супруги Галины Ивановны, ей надо для заправки супчика на завтрак.

– С чего ты взял? Доболташь вот языком, привяжут, присудят моральный убыток, дак будешь знать. – Галина Ивановна толкнула на газовую плиту сковородку с добрым куском топленого сала и принялась крошить лук.

– Я что, слепой, что ли? Глянь в окошко, вон сидит на бревнышке, нахохлилась. – Михаил Прохорович протиснулся за стол, пожевал перышко лука.

– С чегой-то она нахохлилась бы? – Галина Ивановна все-таки откинула занавеску. – Ну, сидит и сидит. Да и не хаживал к ней никто будто. Болташь, что и сам не знашь.

Михаил Прохорович спорить не стал, ему все равно, что там творится с соседкой Ленкой. Девка она молодая, в прошлом году школу окончила, да не всю, а только сколько-то классов, последний звонок отпраздновали, и пропала Ленка, не появилась дома. Мать ее Евдинья Безбородихина не хлопотала и в милицию не ездила, потому что какая-то Ленкина подружка приезжала из райцентра и сказала ей, что Ленка по большой любви уехала с дальнебойщиком, познакомилась, пока автобус у поста ГАИ ждали в свою маленькую деревеньку Чесночки. С месяц, наверно, путешествовала Ленка, вернулась ночью, сильный скандал был в домишке, только Безбородиха ничего не могла сделать, Ленка так ей и сказала: «Не твое, мамаша, дело...». Никто, конечно, таких слов не слышал, это Михаил Прохорович потом так емко выразился, но сплетки по деревне гуляли не славные, к тому же ближе к осени слегла Ленка в больницу на одну ночь. Это потом дочь Татьяна сказала, она на «скорой» ездит медсестрой, два раза в неделю посещает родителей с мужем на «москвиче» за каким-нибудь пропитанием. Михаил Прохорович вроде никому не сказывал про новость, но деревня все равно узнала, зашептались и захихикали. Евдинья тогда крепко возмутилась, страшала, что в суд подаст, если кто про ее Ленку нехорошее брякнет, так и расценила, что самоходную косилку купит на высуженные деньги да прицепные грабли к ней, ей как раз в хозяйстве только граблей и не хватало. Михаил Прохорович даже смеяться не стал над ее глупостью, сказал только, что он человек довольно подержанный, но, как мужик все-таки, за потасканное Ленкино достоинство и простых деревянных грабелъцев не дал бы. Евдинье эти слова передали, и она не раз кричала через дорогу, что выведет этого пустобреха на чистую воду.

И с супругой своей Михаил Прохорович вчера рассорился основательно. Он в прошлой жизни, то есть, при социализме, когда в совхозе работал, плотником был, даже столяром, в мастерской оконные рамы вязал и филенчатые двери сколачивал, инструмент разный заставлял прораба выписывать, специалистом был знатным, для районных начальников заказы исполнял.

Званием плотника и столяра Михаил Прохорович дорожил, над людьми, считающими это ремесло простым и пустячным, откровенно издевался, часто повторял нехитрую притчу: «Пришли к хозяину два мужика плотническое дело исполнять наниматься, тот и спрашивает: «А что вы, ребята, можете?» «Да все!» – отвечают. «А конкретно – что?», – не унимался хозяин. «Можем жерди хомячить и столбы хорохорить». «Добре. А лестницу, к примеру, можете сколотить?». Тут мужики и упали духом: «Вот что не могём, то не могём!». Немудренная история, но помогала Михаилу Прохоровичу отстаивать высоту профессии.

А как на пенсию вышел, в избушке на ограде верстачок организовал, пилил и строгал, но все впустую, так заготовки годами и лежали на стеллажах. Супруга его не

выносила эти занятия, ворчала и грозилась подпалить всю мастерскую, от которой никакого толку нет. Михаил Прохорович понимал бесполезность своих занятий, но душа не лежала работать на заказ, вот попилил-построгал – на душе полегчало, он и доволен, а баба поскрипит и тут же сядет, он на это внимания не обращал. Но вчера она его вывела из терпения.

Михаил Прохорович у верстачка прикидывал, как ему красиво обстрогать брусок и превратить его в восьмигранник, больно хотелось увидеть такую вещицу, примерить, как она смотрелась бы ножкой стула или стоячком в серванте. Хорошо бы смотрелась, если пустить по ребрам граней неглубокие насечки да густо проолифить дерево, предварительно отшлифовав и высушив. Он вздрогнул даже от неожиданного резкого голоса жены.

– Вот скажи мне, Михаил, и сколько это будет продолжаться, и когда ты перестанешь прятаться в свою забегаловку? Ну, чисто ребенок, ей богу, крутит и вертит свои деревяшки! Вот выйди, посмотри, что добрые люди делают, пока ты в игрушки играешь! Иди, погляди!

Михаил Прохорович отложил брусок, нехотя вышел во двор. Галина Ивановна уже стояла у высокого тына, разделявшего их и соседский огороды, и кивала ему на огуречник Якова Андреевича. С Яшкой Кауцом они выросли вместе, его в первый год войны родители привезли с Волги, Яшка – немец, и война с немцами, потому его не любили и частенько бивали ровесники, а Мишкина мама, всякий раз отмывая Яшкины ссадины и примачивая синяки, плакала: «Мишка, пусть рука у тебя отсохнет, если поднимешь ее на немчиков. За что же вы их так, они ведь ни в чем не виноваты!». «Мама, дак не я бью, а ребятишки». Потом их стали бить вместе.

Михаил Прохорович глянул через тын, оценил объект и повернулся уходить, Галина Ивановна догнала его вопросом:

– Ты видел?

– Видел, ну и что?

– А то, что теплицу изладил Кауц.

– И что из того?

– Вот бестолковый! А то, что среди лета будут красные помидоры вкушать. Это же теплица!

Михаил Прохорович терпеливо выслушал и лениво спросил:

– Ты меня-то зачем от дела оторвала?

Галина Ивановна возмутилась:

– Подумать только! От дела я его оторвала! Он на дощечку любовался, а я его оторвала. Позвала тебя, чтобы ты такую же теплицу изладил, как и Кауц.

Михаил Прохорович помолчал, потом ответил:

– На вас с Яшкой удержу нет. Ему завтра в голову взбредет Байконур в огороде организовать, ты и меня обяжешь ракеты выстреливать? А насчет красных помидоров вы оба с Яшкой ошиблись. Запомни: ты живешь в стране вечно зеленых помидор, и что бы там Яшка не строил, помидоры наши будут вызревать в старых пимах на полатах. Все, про Байконур больше ни слова.

Галина Ивановна сильно на него обиделась и весь вечер не разговаривала, утром подняла с постели и отправила на огород за луком.

В дочке своей единственной Михаил Прохорович души не чаял, никого у него не было больше, потому сильно за нее переживал. Замуж вышла она по глупости, так считал, привезла еще из медучилища прыщеватого верзилу, сына с ним нажили, муженек ни с того, ни с сего силу стал набирать, власти потребовал, до того дошел, что однажды заявил тестю, что тот плохо о дочери заботится. Так и сказал, что вы теперь уже старые и вам ничего не надо, стало быть, всю пенсию надо отдавать дочери, ну, ему, стало быть, так надо понимать. Михаил Прохорович не сильно удивился наглости, к тому все шло последнее время, он встал над столом (в застолье дело было) и поднес к самому носу зятя здоровенную фигу. Тем она была убедительна, что еще в молодые неосторожные годы рассек начинающий плотник большой палец, тот расшаперился, заматерел, и теперь, просунутый между своими собратями, был вызывающе безобразен.

Танюха была девчонка толковая, в школе на пятерки училась, все детство кукол лечила, потом вечерами в райцентр ездила, санитаркой работала в больнице. Зарплату ей не платили, но домой привозили на машине «скорой помощи», она гордилась. Михаил Прохорович губу раскатил, что дочка врачом станет, их с матерью в старости поддерживать будет, но времена изменились, в институт поступить невозможно, дали на район три места – сынок главного врача и еще кто-то из деток при руководстве возжелали, им дали бумаги, а с Танькой и разговаривать не захотели. Так она оказалась в училище, теперь вот ездит на «скорой», уколы ставит да упреки выслушивает, что нужных ампул нету.

Крадчи от супруги Михаил Прохорович предлагал дочери отправить обратно в город своего долговязого, видел он, что Артур, сын Якова Андреевича, всегда у забора торчит, когда Татьяна приезжает, раз даже намекнул ему насчет этого, и парень признался, что жалеет, не сразу заметил соседку, все мелкой считал. «А как бы она свободной была?». «Сразу бы в ноги пал». «А дите?». «Ребенка я уж сейчас люблю». Вот и подивись на жизнь, а парень он славный, трезвый и работающий, на «камазе» арендованном грузы по России возит, при деньгах. И аккуратный, всегда чистенький, одно слово – немец. Сказал ей об этом и открылся так же, что давно заметил: не особо дочь чтит своего муженька. Татьяна от такого предложения всплакнула только, да еще сказала, что нюхач папаня, ничего от него не скроется. На том и остановились.

К вечеру того же дня приехала Татьяна, муженек так и остался в машине, внук к деду в мастерскую забрался. И тут слышно было, что супруга призвала дочь в союзники:

– Танька, внуши отцу, чтобы он языком не блавостил, ей богу, доведет до беды! Про Ленку утрось сказанул, что опять аборт сделала. Дак ладно – дома, он и на людях может брякнуть, вот пойдет корову встречать и не вернется, на суд выловят.

Татьяна хохотнула:

– Ну, папаня, нюхач старый! Мама, только ты никому не говори, Ленка в самом деле вчера в больнице ночевала. Только ты никому не говори. Нехорошо это...

Дядя Федя, тетя Таня

Сказ

На новом месте назначения дали мне с семьей квартирку скромную, можно даже сказать – бедненькую дали квартирку: домик на две комнаты в отдаленном, почти деревенском уголке районного центра. Сказали, что временно. Домик до нас пустовал, потому заехали сразу, сгрузив свой невзрачный скарб на узенькой ограде: жена решила побелить стены и покрасить пола.

Я отворил покосившуюся калитку огорода и ступил на зеленый ковер сорной травы: без хозяина и дом, и огород сирота. Зато соседний участок вызывающе выглядел: буйный картофель достигал высоты изгороди, на меже распластались зеленые с прожилками листья, а сами тыквы частью свалились с межи и мирно покоились прямо на земле, частью свисали с жердей изгороди на толстых жилах ботвы. Три ряда помидоров тоже не отстали в росте, а плоды терялись в листве и только изредка высывались зелеными пупырышками. Но краше всего выглядели две высокие огуречные гряды, такие в наших краях складывают из скопившегося за зиму навоза, с наступлением тепла он начинает согреваться и подпитывает спасительным теплом слабенькие стебельки огуречной рассады. Гряды пропрели и осели за лето, но и сейчас, в середине июля, выглядели внушительно. По покатым бокам их сползали крупные огурцы, начинающие желтеть. Огромные шляпы подсолнухов у дальней межи грустно опустили головы и ждали созревания, веселые воробьи, как акробаты, свисали с полей шляп и ловко воровали из ячеек еще молочные семечки. Все было зелено и радостно.

С соседями своими я познакомился в тот же вечер, потому что надо было заносить в дом громоздкие вещи, и тут без помощников не обойтись. В ограде встретила пожилая женщина, довольно небрежно одетая: грязный халат, в каких обычно работают уборщицы в учреждениях, был заношен до крайности и неуклюже топорщился, столь же несвежая косынка повязана на бок, отчего хозяйка казалась забиякой, на ногах рваные опорки резиновых сапог. Она несла подойник с парным молоком, его белизна нелепо смотрелась на фоне затрапезной доярки. Поздоровался, объяснил, что сосед, спросил, есть ли в доме мужчина, нужна помощь.

– Муж ваш дома?

– Муж – объелся груш. Дома, где ж ему быть? Федя – брат медведя! Иди сюда!

Из дверей рубленых сеней, у нас их называют сенками, вышел крепкий кряжистый мужичек, сразу подал мне руку:

– Вижу, что новоселы. Пошли, подмогну.

Мы управились довольно быстро, за это время я узнал, что жену его зовут Татьяна Аверьяновна, сам он приезжий, сошлись три года назад.

– Ты ее бабкой Таней зови, она любит. Да и на пенсии, все равно бабушка.

Бабка Таня просунулась в открытое окно:

– Айдайте к нам ужинать, хозяйка когда еще наготовит.

На столе большая сковорода жареной картошки, нарезаны уже знакомые мне огурцы, молоко в банке и чайник. Чайник оказался с сюрпризом, бабка Таня ловко налила всем по стакану мутноватой бражки и провозгласила тост за новых соседей, чтобы нам в дружбе жилось.

Дружить с бабкой Таней оказалось непросто, как только я выходил на крыльцо, она открывала окно и кричала:

– Иди сюда, милый мой!

Если не смог отнекаться и заходил, бабка Таня наливала по стакану браги, мы выпивали, я заедал недобродившую еще жидкость огурцом или луковым пером. Отказываться было бесполезно, потому всячески избегал посещений. Федор это не одобрял:

– Ты заходи, мне одному бабка не нальет, когда сама вдруг не потребляет.

Вечерами соседи носили ведрами воду из колонки на огород, щедро заливая все, что посажено в огороде. Похоже, бабку Таню не особенно интересовали результаты своей работы, а больше нравился процесс, но активность этих людей удивляла. Со временем примирился, что бабка Таня частенько пьяненькая, чем и Федор не всегда доволен. Он был хороший плотник, раньше гнул полозья для саней и конские дуги, потом спроса не стало, баловался всякой мелочью.

Прожили зиму. Весной по предложению соседей я натаскал вилами большую кучу навоза и сложил гряду, огурцы быстро пошли в рост, чему немало способствовала очень теплая погода. У соседского плетня высились две большие гряды, которые дед и бабка каждый вечер заливали водой из колонки. Скоро над грядами поднялась буйная зелень, и бабка Таня позвала меня:

– Глянь, милинькай мой, не пойму, кто растет, только не огурцы, это уж точно. Я же, дорогой мой, агроном, курсы кончала, в эмтээсе робила. Глянь.

На грядах росли тыквы, точно такие жена посадила по краю картофельного огорода, но наши значительно отставали в росте, а эти на навозном тепле нежились.

Бабка Таня так и села на гряду:

– Вот дура – в лес подула, голы веники ломать! В той коробочке у меня и тыквенные семена были, и огуречные. Тыфу ты, прости господи!

Встала, наклонилась ко мне:

– Как садила – не помню, мы в тот день с дедом картошку сдали, обмыли. И вот, пожалуйста! Мичуринец хренов! Только ты никому не рассказывай, засмеют.

Как-то вечером соседка окликнула меня через плетень:

– Ты, миленькай мой, не отвезешь нас с дедом утричком на покос?

Я согласился. Утром загрузили в мой «уазик» грабли и вилы, сумку и ведро. Дед Федор сел рядом и показывал дорогу, то и дело уточняя:

– Сюда поверни... Вот тут направо... Тормозни, вон ямка.

Странно, но меня это штурманское поведение деда не раздражало, а веселило.

– Сенов-то много надо ставить?

Бабка Таня оживилась:

– Да дивненько, миленькай, дивно. Корова – жрать здорова, потом бычок, худ как сверчок, телочка нонешная, да овечки. Но – накосим, уж половину накосили, нынче бы собрать.

Дед указал на березовый колочек, куда надо подъехать. Пока разгружались, я зашел в лесок, ущипнул присохшую клубничку, пропустил между пальцами веточку костянки и порадовался терпкому кисленькому удовольствию. Пошел было дальше, но бабкин окрик остановил:

– Милай, подь сюда скорей!

Бабка Таня стояла на коленях и, наклонившись, что-то бережно перебирала, любуясь и приговаривая:

– Да миленькие вы мои, да хорошинькие, да в кого такие уродились-то!

Ненужные уже грабельцы лежали тут же, легонький валочек подсохшей травы откинут, а под ним на влажной подушке лесного покоса в рядочек выстроились маленькие крепкие груздочки. Я руками остороженько отгребал подбывавшую траву и сламывал фарфоровые груздочки. Вспомнился отец с его постоянным наказом «собирать грузди не больше свиной бирьки». И дед Федор присоединился к нашему пиршеству, скоро весь покос проползли и собрали два бабкиных платка.

– Вези домой, пусть хозяйка вымочит и засолит, а мы начнем, уж ободняло.

Я только вернулся с работы, бабка Таня ждала у окна:

– Забирай своих, и к нам, свежую картошку пробовать.

Наверно, это повелось с голодных лет, когда в крестьянском хозяйстве не только хлеба – картошки не хватало до нового урожая, потому свежую, молодую картошку ждали. Ее не копали, разворотив все гнездо, как делают осенью, гнездо аккуратно подкапывали, отец, помню, руками подрывал рыхлый чернозем, нащупывал самую крупную картофелину и осторожно отщипывал ее от корневища. Такую картошку варили в мундире или счищали тонкую кожуру тыльной стороной ножа.

Бабка Таня вывалила на блюдо чугунок картошки, сваренной на таганке в ограде, она припахивала дымком, кожура полопалась, разварившийся крахмал выпирал из разломов. Дед Федор налил по стакану браги:

– Ну, робята, как говорят цыганы: «Картошка присхандыла, мокрым чаем припием, и пчалыгу традыём». Не спрашивай, переводов не знаю.

Я не стал пить, чтобы не портить праздник. Чуть остывшую картофелину разломил пополам, круто посолил и, обжигаясь, прикусывал, осторожно разминал языком во рту, глотая горячую и приятную кашу.

Когда уходили, заметил в ведре, приготовленном для поросенка, пригоршню мелкой картошки. Точно, они не подкапывают.

– А зачем? – Удивилась бабка Таня. – У нас ее без малого гектар. Вот копать начнем осенью – только шур да бар, огонь да вода! Успеть прибрать, а то хизнет.

Я понял, что пропасть может.

Мои друзья, приехав в гости, домишко мой забраковали, через неделю привезли две машины бруса: строй! Нанял троих мужиков, залили фундамент, выложили стены. Под стройку ушла часть огорода. Деньги быстро кончились, а осенью начальство предложило благоустроенную трехкомнатную квартиру с условием, что и домик, и стройку сдам властям. Надо было принимать решение. Вечером рассказал соседям.

– Ну, и что ты надумал? – Бабка Таня была явно заинтригована.

– Ума не дам. На будущее лето можно дом достроить, улочка у нас тихая, огород, ягодник, можно поросеночка держать. Все-таки на земле.

– Правильно, милай ты мой! Ты погляди, красота-то какая! И тихо, и чисто, и соседи хорошие. Откажись, достраивай и обзаводись!

– С другой стороны – благоустроенная квартира: за водой бегать не надо, дров не надо, туалет посреди квартиры. Никаких забот, пришел с работы, включил телевизор и на диван.

– Правильно! Нахрена тебе грязь да мухота! Всю жизнь в говне копать! То ли дело – открыл крантик – водичка, тавалет – только дерни за веревочку. Переходи, и не думай!

Дед Федор хохотал от души:

– Ну, бабка, признавайся, ты за белых аль за красных? И куда теперь ему с твоим советом?

Через неделю я получил ордер и переехал в новый дом. Со стариками изредка общался, не переставая удивляться их оптимизму и жизнелюбию. Впрочем, они едва ли свою жизнь так понимали. Дед Федор умер первым, через месяц похоронили бабку Таню. Я жил уже в другом районе, приехал, постоял у могил с простыми деревянными крестами. Было светло и грустно.

Про Максима, инвалида и говоруна

Рассказ

Зенитчики еще не успели как следует окопаться, только развернули орудия и перенесли с полуторки ящики со снарядами. Максим рыл окопчик, безнадежно ковыряя лопаткой мерзлую землю. Друг Агафон со стороны с усмешкой смотрел за возней своего товарища:

– Макся, тебе так до дня победы не вырыть. Ты не долби, ты режь, оно лучше выходит.

– Не режется, тут вроде солонец, лопата вязнет.

Агафон взял у него инструмент, сделал несколько движений, согласился:

– Да, земляца попала тебе.... Сам выбирал.

– Одно только думаю: хорошо, что не могилу копать, все-таки окопчик помельче.

– Не каркай! Переходи на мое место, я дивно вырыл, и грунт у меня податливый.

Максим вылез из неглубокой лунки, достал портсигар, полученный в подарок из посылки работниц тюменской овчинной фабрики. На алюминиевой крышке подержанной уже вещи красовалась точками выбитая надпись «На память от Косты». Мужики решили, что портсигар сдал в посылку или демобилизованный по ранению, или солдат той мировой, потому что на обратной стороне коряво нацарапано «Германский фронт». Закурили.

Только чуть зарилось. Ночь не отступала, и сизый сумрак неуютно обволакивал душу. Максим всякое время суток сравнивал со своим, сибирским, и не находил ничего похожего. Вот и этот рассвет был незнакомым и чужим.

– Рождество сегодня, – горько сказал Максим, вспомнив, как дома встречали это утро. – Пока не закрыли церкву, всей семьей ходили на службу. И отец, Павел Михайлович, и мама, и нянька Анна, и Никита, его убили ланись.

– Когда убили?

– В прошлом году, осенесь.

– Так и говори, а то – ланись. И осенью, а не осенесь, нерусь!

– Пошто нерусь, русский я.

– А почему говоришь так?

– У нас все так говорят. Я тоже не шибко грамотный. В младшую группу ходил зиму, учился, потом надо было в среднюю, а отец сказал: «Макся, ты не ходи в школу, в средней группе ребятишек будут кастрировать». Я и не пошел.

Агафон тихонько смеялся:

– Ты, Макся, за яйца свои пострадал. Мужик толковый, будь граматёшка – отирался бы где при штабе, не копал бы Россию.

– Не-е, мне в штабе не усидеть, я бы брякнул что-нибудь про начальство, и поехал в штрафбат, как наш командир.

– Жалко мужика.

Новый командир батареи капитан Степура крикнул издали:

– Не сидеть, окапываться!

Максим привычно загасил окурок, втоптав носком сапога в мерзлую землю. Агафон тоже встал:

– Переходи в мой окоп, вон, у второго орудия.

Максим нехотя пошел, волоча винтовку и лопату.

Скоро должно было вставать солнце. Он сел в почти готовый окопчик и грустно смотрел на восток. Место появления светила обозначилось обширным сиянием, но цвета были не те, к которым он привык. Восход всегда притягивал его: и на весенней пашне, когда суровый отец поднимал чуть свет; и на раздольных лугах родных афонских сенокосов, потому что утренняя кошенина самая наилучшая для сена; и на жатве, пока не обдуло ночную прохладу, надо наострить серпы и поправить вчерашние спешные сулоны урожайных и крепких снопов. Таинственная сила самого жизнеутверждающего явления завораживала его, первое появление солнца было сигналом к новому дню.

Несколько крупных точек на мгновение опередили солнечный луч, и Максим узнал самолеты. Гул появился чуть позже. Это бомбардировщики. Должны быть наши, но по очертаниям и особенностям звуков он понял, что противника. Похоже, отбомбились, домой идут. Высота приличная, и курс чуть в стороне от батареи. Над ними, как воробы над коршуном, зависли истребители сопровождения.

– Воздух! – заорал капитан Степура, и бойцы переглянулись.

– Товарищ капитан, это не наш воздух, эропланы разве что над четвертой батареей пройдут, – спокойно уточнил старшина Моспанов.

– Отставить разговоры! Орудия к бою!

– Какой бой, нам их сроду не достать!

– Пушай себе летят...

– Товарищ капитан, не надо их дразнить. Давайте пропустим, все равно не собьем, только себя обнаружим, – бубнил старшина.

– Это что за собрание!? Что значит – пропустим!? Я для того сюда поставлен, чтобы уничтожать самолеты противника! Орудия – к бою!

Максим подбежал к ящикам со снарядами.

– Каким стрелять будем?

– А хрен его знает! – ответил командир орудия сержант Мяличев. – Их никаким не достать.

Капитан Степура отдавал команды зычным голосом, то и дело поднося к глазам бинокль. После команды «огонь!» зенитки вразнобой закашляли, выплевывая горячие гильзы. Максим видел разрывы, которые не могли даже напугать летчиков. Сидевший на рации рядовой Пашенко вдруг встал и крикнул:

– Товарищ капитан, вас первый к аппарату!

Капитан побледнел, услышав отборный мат полковника, Максим присел на ящик после его команды прекратить огонь. Но было уже поздно. Два самолета выпали из строя и стали скатываться прямо на голову Максиму.

– Вот теперича действительно воздух, – хохотнул он и полез в окопчик Агафона.

Самолеты выбросили пять мелких бомб, непонятно, почему не использованных на основном задании, и стали набирать высоту. Зенитки молчали. Капитан стоял, втянув голову в плечи. Старшина Моспанов свалил его в свой окоп. Бомбы разорвались дружно, осыпав землей и осколками все вокруг. Одна разнесла Агафона, попав прямо в

обменянное с Максимом место. Еще одна повредила оружие. Осколок навывлет пробил живот капитану. Сержант Мяличев чуть дернулся на станине оружия и затих. Тишина наступила страшная. Максим вскочил и, кинувшись в сторону Агафона, упал, пробежав несколько метров. Воронку на месте своего окопа он успел увидеть, но сильная боль в ногах уронила на землю.

– У тебя же ступня пробита, едрена мать, – радист Пащенко присел на корточки и тупо смотрел на рваное отверстие в сапоге, из которого сочилась грязная кровь.

– Сымай сапог, нехрен сидеть сиднем.

Пащенко немного повозился и возразил:

– Не снять, резать придется.

– Сапог губить не позволю, сымай.

– Не позволит он! Тут дыра насквозь.

Максим с детства боялся собственной крови, и теперь, едва глянув, сомлел и повалился на бок. Пащенко разрезал голенище и, отбросив сапог, начал неумело делать перевязку.

– Капитана сразу осколком навывлет, так в страхе и помер. Ему полковник вломил, что он обнаружил батарею. Нас, говорит, для важного дела разместили. И Ендырева в ключья разорвало, с которым ты окопом сменялся. Толковый у тебя обмен получился.

Максиму было неловко, будто он виноват в гибели товарища. Пащенко приспособил к забинтованной ноге разрезанный сапог.

Артиллерийский обстрел начался внезапно, видно, сообщили летчики расположение батареи. Пащенко вместе с шофером полуторки, которая привезла снаряды, оттащили Максима к машине и затолкали в кузов. Он лежал на спине, подсунув под голову кусок брезента. Рана ныла, он с трудом поднял ногу, холодная кровь скатилась по штанине под задницу и под спину, боль чуть утихла.

Солнце уже встало и светило ему прямо в глаза. Такое яркое солнце! Он знал, что надо просыпаться, но какой-то мерзавчик внушал ему: «Поспи еще, мать разбудит». И действительно, мама встала на лестницу, черенком легоньких деревянных грабельцев нащупала в чердачной темноте его тщедушное тельце и легонько побеспокоила: «Вставай!». Максим очнулся, мамы не было, было раннее рождественское утро в украинской морозной степи, нехорошая тишина, нарушаемая стонами мужиков, кузов полуторки и терзающая боль в ноге. Кровь опять стекла по штанине, неприятно похолодив спину. Максим покричал, но никто не ответил. Он больше всего боялся страха, но ощущал только тоску. Если не найдут, то изойдет кровью и замерзнет. Найти могут только случайно, потому что сейчас не до разбитой батареи. Страшно не было, но хотелось плакать.

Его нашли действительно случайно в вечерних сумерках. Двое бойцов пытались завести полуторку, но не смогли, раненого Максима не сразу отодрали от деревянного кузова: набрякшая кровью шинель пристыла к доскам. Его вели и тащили долго, один боец предлагал бросить, но второй не согласился, так и доволокли до расположения.

Как попал в госпиталь, Максим не знал, очнулся от боли в раненой ноге, попросил пить. Солдат из старших возрастов в застиранном сером халате сказал, что после операции вода не полагается, и вытер его губы мокрым грязным полотенцем.

– У меня нога болит шибко, – сказал Максим. – Ранило меня.

Санитар засмеялся:

– Не может у тебя нога болеть, потому как ее нету.

Максим не сразу понял.

– Почему нету?

– Отрезали. Гангрена у тебя началась. Отпластнули по самое колено.

– Врешь! – Максим хотел было вскочить, но голову обнесло, и он опять плавал по деревенским старицам, ставил фитили и морды, вытрясал в лодку лобастых налимов, длинных шуругаек и плоских карасей. Все тот же мерзавчик подсказывал ему, что не надо бы смотреть во сне рыбу, это к болезни, но рыба просто перла в его снасти, и Максим ничего не мог с этим поделать.

Через день врач сказал, что отправляет его в тыловой госпиталь, потому что не уверен, покончено ли с заражением:

– До санпоезда доедешь, а там помереть не дадут, у тебя еще полметра в запасе.

– Каких полметра? – не понял Максим.

– Ноги до туловища! Простых вещей понять не могут!

Его сняли в Саратове и в госпитале резали еще два раза, пытаясь сохранить хоть сколько-то конечности и опасаясь общего заражения. Учился ходить на костылях, падал, разбивал культю, плакал по ночам, тяжело задумался о жизни после случая с соседом по койке, веселым парнем с Волги, которому отрезали обе ноги под самый корень. Он шутил, что на обувь теперь тратиться не надо, что на танцы время терять не будет. Утром попросил ребят посадить его на подоконник. Максим тоже помогал. Парень сидел недолго и молча опрокинулся наружу с третьего этажа.

Максима никто в деревне не ждал, кроме матери. До войны он несколько раз женился, но все как-то не получалось. Отец поначалу ругался, потом попустился, Максим погуливал, пока не забрали на фронт. Теперь отгулял. Для деревенской работы не годен, другой не знает, и грамоты нет.

Деревня встретила его нерадостными новостями: схоронили от скоротечной болезни отца, Павла Михайловича, и старшую сестру Анну, няньку, как звал ее Максим. Брат Матвей в первый вечер не пришел, сказался больным, мама наскоро собрала стол, пришли демобилизованные раньше калеки Антон, Киприян, Федор Петрович. Выпили бражки.

– Мама, а про отца-то чё не писали. И про няньку.

– А кто писатели-то, Макся, я немтая, а Матвей все по больницам.

– Так и ссытся?

– Да вроде проходит.

– Знамо, пузырь – он понюхачей самого Гитлера капут чувствует.

– Макся, при людях-то!

– А то люди не знают, что братец еще до первой немецкой артподготовки в штаны прудить начал. Эх, мать, а чё бы мы делали, если б всем миром под себя мочиться стали, вплоть до товарища Сталина?

Вечером натопили баню, Максим неумело подставил под культю деревяшку, и, не привязывая ремней, поковылял мыться. С непривычки сильным жаром охватило голову, пришлось спуститься на пол и приоткрыть дверь. Подложив под голову веник, он прилег

на порожек, ловя свежий воздух через приоткрытую дверь. Кто-то закрыл собою узенький вход в предбанник, Максим поднял глаза: Матвей.

– Здорово, брат. С возвращеньцем.

– Здорово. Проходи, парься.

После бани Максим по праву старшего сидел на лавке в кутнем углу, это место отца. Лишний кусок штанины белых домашних кальсон он подогнул и привязал нянькиным пояском. Пустой стол, вот тут сидел Никита, тут нянька, тут отец.

– Жениться тебе придется, Макся, – сказал Матвей. – Я отделился, матери одной тяжело.

– Ага, прямо седни и начну, вот ветер стихнет.

– Ты смехуечками-то не отделивайся, бабья полдеревни слободного, мужиков перебили.

– Мне жениться нельзя, я еще до войны сколь разр под венец ходил, да только на месяц и хватало. Терпеть ненавижу, как бабы начинают руководить. А теперь и вовсе, на чужой крови живу.

– Пошто? – испугался Матвей.

– Своя вся истекла, мне немецкую лили, сам на каждом флаконе видел: фамилия Донор написана. Так что не до женитьбы, хоть бы до лета дотянуть.

– Ох, и болтун ты, Макся, каким был, таким и остался, – вздохнула мать.

Исполнительницей от сельсовета прибежала невысокая молоденькая женщина, вошла в избу, поздоровалась, насухо вытерла влажные от осенней слякоти калоши на валенках.

– Ты Максим Онисимов будешь? Распишись вот в извещении, что завтра явиться в район на комиссию.

Максим расписался коряво.

– А на чем являться?

– Подвода пойдет, вас тут с десятков изувеченных.

– На вожжах не ты ли сидеть будешь?

– Нет, – хохотнула женщина. – Иван Кириков, он хоть и безрукий, но с такой командой управится.

– Чья она, мама? Вроде как не афонская?

– С Горы приехала, замуж туда выходила, да мужика убили, вернулась с двумя ребятишками.

– А пошто к нам, родня тут какая?

– Седьмая вода на киселе. Бьется бабенка, отец родной где-то в Поречье погуливает, всю войну просидел в каталашке, теперь вроде завхозом в больнице, так сказывают. А ты не глаз ли положил?

Максим стушевался:

– Да так, хорошая бабенка, веселая.

Мать в кути забрякала ухватами:

– Ты с ума не сойди, у ей двое, ты будешь третий, тоже дите, только что под себя не ходишь. Вот веселуха-то будет!

– Ладно, собери мне что в дорогу.

Рано утром у колхозного правления собрались все инвалиды, которым следовало явиться в районную больницу. Курили, подсмеивали друг над другом.

– Григорья с Эмилем в передок посадим, у их обеих ног нету, Максю с Васькой Макаровым по бокам, посередке Ванька Киричонок.

– Ему непременно надо посередке, потому как вздремнет со хмеля и под фургончик свалится, тогда и ноги может лишиться дополнительно.

– Ты меня не трожь! – витийствовал Кириков, маленький шустрый мужичек без левой руки, но ловко запрягавший пару лошадей. – А то ведь я могу и поперед из района рвануть, вот тут поползете до дому, как фриц из Сталинградского капкана.

Ванька руки лишился под Сталинградом, в деревне уже обжился, после признания Сталинградской битвы поворотным сражением во всей войне он особенно оживился, будто сам лично замыкал кольцо и брал фельдмаршалов в плен. Бывший хороший тракторист, отлученный от любимой «колесянки», он долго привыкал к лошадям, смирился, но стал попивать. В деревне, где выпивали только по праздникам, мужик навеселе среди недели скоро стал посмешищем, за ним, тридцатилетним, крепко привязалось обращение и старого и малого: Ванька Кирик, Киричонок. Деревня, у неё свои законы.

Комиссия в районной больнице с участием офицера военкомата, щеголя–капитана, проходила быстро. Максим только кивал в ответ на самые простые вопросы, но когда пожилая женщина из собеса спросила, где он работает, Максим растерялся:

– Был в колхозе, пока нет работы. Да я и на ногах-то плохо стою.

– На ноге, – уточнил хирург, – вторая нога у вас почти в порядке.

– На ней отсутствует икрная мышца, – приподняла очки терапевт.

– Ну, не совсем, – возразил хирург. И Максиму: – Ну-ка, пройдитеесь.

Максим тяжело встал с табуретки, установил на крашеном полу деревяшку и сделал несколько шагов без костыля. Пересилив боль, он улыбнулся:

– Вот, помаленьку хожу.

– Можно дать третью группу, – повернувшись в их сторону, произнес офицер военкомата, до этого лепетавший с медсестрой регистрации.

– Он нетрудоспособен, Роман Дмитриевич, я за вторую.

– Нетрудоспособен, а, по моим сведениям, жениться собрался.

Максим хохотнул:

– Так оно, товарищ капитан, что для женитьбы необходимо, немец мне милостиво оставил, спасибо ему.

– Награды есть? – спросил капитан.

– Медалёшки, – равнодушно ответил Максим.

– Надо было воевать лучше, были бы ордена, – посоветовал капитан.

– Вот ты точно роты водил в рукопашную атаку! – резко выпалил Максим. – А я на продскладе винной бочкой себе ногу отдал! Да ежели бы я херово воевал, ты бы сейчас в хромовые сапожки не заглядывал, как в зеркальце, а у бюргера свиней пас!

– Товарищ инвалид! Ведите себя! – капитан вскочил.

Максим продолжал сидеть, его била дрожь, пот залил глаза:

– Я пока еще только калека, инвалидом вы меня признавать не хотите, потому что за это копейку платить надо.

Он встал и, тяжело припадая на деревяшку, вышел из кабинета, оставив на крашеном полу струйку яркой крови из лопнувшего шва на культе.

После обеда процедура закончилась, всем дали третью группу инвалидности, вторую только тем, у кого не было обеих ног. Но самое непонятное было в строгом наказе главного врача в апреле всем прибыть на перекомиссию.

– Правда, мужики, чо до апреля изменится?

– Какой ты бестолковый, Киричонок, и отец твой такой же был. – Максим уже успокоился и не мог упустить возможности подначить. – В апреле весна, все живое в рост прет, ты же знашь, что ни корову, ни бабу в это время не удержишь, щепы на щепу... Вот и возникли у советской власти опасения, что рука у тебя вырастет, а ты, сволочь подкулачная, сокроешь сей факт от любимого государства, и будешь продолжать огребать ежемесячно свои полторы сотни.

Василий Фёдорович, родственник и грамотный человек, шепнул Максиму:

– Ты придержи язык, а то не посмотрят, что инвалид, подметут.

– Зачем я им? Кормить задаром.

Василий засмеялся:

– Ага, пельмени для тебя всем комсоставом будут лепить. Да подведут к ближайшей стенке и шлепнут, а потом протоколом тройки оформят. Эх ты, фронтовичек!

В субботу, напарившись в бане, Максим помыл и выскоблил ножом деревяшку, надел чистую рубаху и сказал матери:

– Пойду к Ивану Лаврентьевичу в карты поиграть.

А сам мимо Иванова дома подался в другую сторону, где жила Мария Горлова с ребятишками. Осторожно с мужиками поговорил, не хаживает ли к ней кто – сказали, что нет, не хаживает. Подошел к избенке, выдернул верхнюю жердинку в воротцах, через нижнюю с трудом переволок деревяшку, лампа в простенке горит, но дверь уже заперта. Неловко погромел щеколдой, из избы кто-то вышел.

– Хозяйка, открывай, а то ветер сёдни холодный.

– Не открою, не признаю я.

– Максим Онисимов, извещение ты мне приносила.

– Ну, дак я тебе его отдала. Какой спрос?

– Беда с бабой! К тебе я пришел, пусти хоть на минуту, култышку перевяжу, а то не дойти до дома.

Крючок сбрыкал, отпустив дверь. Максим следом за хозяйкой вошел в избу. Чистенько прибрано, хоть и бедно. Русская печка в треть избы, стол, три табуретки, койка. С полатей свесились две стриженные головы, Володька и Генка, он уже знал их имена. В избушке этой раньше жили Заварухины, Максим тут бывал. Мария прошла в кутный угол, села на залавочек.

– Бери табуретку, переобувайся.

Максим снял деревяшку, перемотнул портянку, крови не было. Отложил протез в сторону.

– Посижу маленько. Ты пореченская родом?

– Там родилась, потом здесь в няньках жила, на семнадцатом году вышла за парня из Маслянской МТС, он тут хлеб молотил. Вот родили двоих, его забрали и под

Сталинградом убили, деваться некуда, подалась к своим, хоть и не большая родня, но не бросили. Живу вот.

– В колхозе робишь?

– В колхозе.

– Тяжело одной-то?

Она вздохнула:

– Всем тяжело теперь. Тебе вот тоже не сладко.

– Да я привыкну, мозоли набью, и тогда хоть бегом.

Оба молчали, ребяташки на полатах тихонько посапывали.

– Мария, давай сойдемся с тобой. Я работать начну, пенсию вот назначили, полегче будет.

– Нет, на двоих детей никто ко мне не пойдет, и ты тоже так, баловство одно. Не стоит на разговоры.

Максим приобиделся:

– Отчего это вдруг баловство? Мне тридцать пять, куда еще? Хватит, набаловался.

– Сгоряча это ты, Максим, посмотри, сколько девок осталось без женихов, а вдов молоденьких, бездетных! Своих народишь, зачем тебе чужие, ну, ты сам подумай!

– А мы с тобой разве не родим? – осмелел Максим. – Выправится жизнь, и дети вырастут. Другое дело, если брезгуешь, не подхожу тебе, так и скажи.

– Господи! – Мария заплакала. – Я пять лет уж мужского разговора душевного не слышала. Не тревожь ты меня, Богом прошу. Иди домой, дай мне срок подумать.

Максим озаботился:

– Ты, если обо мне справки наводить, то не теряй время, я тебе сам во всем признаюсь. Зло не употребляю, табак курю, приматериваюсь, вредным бываю. Хуже уже никто не скажет.

– Иди до завтра, я хоть ребяташкам все обскажу, большие ведь. У тебя нигде нет нагулянных?

– Да не было до войны, и сейчас вроде похожих не встречал. – Он пристегнул деревяшку, надернул фуфайку, тяжело встал.

– Иди, я посвечу в сенках, там одна плаха скачет.

– Переберу пол, это я в первый же день.

У самых воротец Мария спросила:

– Максим, а ведь ты на меня сразу посмотрел, когда и с исполнительным к вам прибежала, правда?

– Как есть, правда. Я и матери сказал.

– Ладно, мне утра вставать рано, иди тихонько.

Мать не одобряла решение Максима перейти к Марии, да и Матвей пытался вмешаться, в основном напирая на ребяташек. Большие уже, семь и девять, с такими и здоровый мужик горя хватит. Максим отмалчивался, собрал в армейский вещмешок кальсоны, рубахи, гимнастерку. Поздним ноябрьским вечером ушел в избушку Марии.

Когда ребяташки на полатах успокоились, она ушла за занавеску в кутный угол:

– Ложись, я потом лампу погашу.

Ночь высвечивала худую фигуру незнакомого мужчины. Она присела перед койкой.

- Ты культи моей бояться не будешь?
- Привыкну. Мне к стенке или с краю?
- Ложись к стене.

Он неловко, неумело обнял ее открытые плечи. Кто-то из ребятишек заворочался и забормотал на полатах. Они испуганно притихли, Мария тихонько шептала ему в ухо:

- Пускай они улягутся, а ты обними меня крепко, чтоб дух захватило.

В ноябре ночи длинные, да ребятишкам вставать в школу. Поочередно спрыгнув с полатей и сбегав на улицу, они наскоро умылись под рукомойником. Максим лежал на койке, Мария уже сварила пластынку, жиденький суп с картошкой, нарезанной пластиками, положила с обеих сторон стола по куску хлеба.

Генка первым подошел к Максиму:

- Мне тебя тятей звать или папкой?

Максим стушевался:

- Мать, как лучше?
- Ты отец, ты и решай, – строго ответила Мария.
- Зови папкой. Я своего тятей звал, тоже ничего.
- И я буду папкой тоже, – добавил Володя.
- Ешьте и в школу, – скомандовала мать.

Проводив детей, она села на койку и обняла Максима.

- Я седни с работы отпросилась, если не передумал, ходим в сельсовет.
- Мне и передумать-то некогда было. Успеем еще, день большой, ложись ко мне.

В тот же день в сельском совете их записали мужем и женой. Деревня дня два обсуждала новость, пока не случилась какая-то другая.

Про английскую королеву и молосное масло

Сказ

Нынешним утром, с самого ранья, подался я в лавку. Ну, это я раньше, годков этак пятьдесят назад, мог сказать, что пошел в лавку, в сельпо, а теперич у нас маркет. Все советские еще магазины стали звать маркет. Да новые построили, ошкуренные бревна на попа ставят, какой-то пеной вонючей стыки промажут, а сверху железом обошьют, и думают, что ладно. Ну, это нас не касается.

Я хоть и не застал, а от добрых людей наслышан, какая в старые годы, при царизме еще, торговля была. Особливо завязло в памяти про Никольскую ярманку в уезде. Как-то стукнул в мои воротилки чужой человек, с портфелем, при шляпе. Говорит: «Власти направили, мол, человек вы поживший и можете много чего рассказать». Интересуюсь, что за птица, потому как я ему сейчас язык развяжу, а потом меня за него же притянут. Нет, говорит, я ученый, интересуюсь историей наших мест. Цельную ночь проговорили, я бутылочку выставил, а он и открывать не велел, на сухую толковали. Ну, мои речи тут не к месту, а вот он мне глаза разул на Никольскую-то. Речист, прямо как только что из торговых рядов вышел.

«Ярманка, говорит,— это праздник, тут схлестываются купцы со всех краев, тутошние крестьяне со своим товаром. Мясные туши на вешелах, и скотские, и свинные, и бараньи. На прилавках птица всякая: куры, утки и гуси, индюки по тридцать фунтов. Зерно, само собой, пшеничка со здешних увалов влет уходила, оттого что хлебы из той муки выходили пышные да скусные. Но особенно, он говорит, был интерес к молосному маслу, ныне его сливочным зовут. Были приезжие купцы, которые оптом скупали масло из волостей сладковских и казанских, по нынешнему обозначению. А почему? Да потому, что травы у нас растут отдельные, нетука их в иных местах, так природа распорядилась. Травы те через коровку попадают в молоко, а потом в сметану или сливки. И родится масло запаха и суса необыкновенного. Так вот, те купцы везли бочонки масла аж другим народам, и еще с улыбочкой добавил, что даже ко двору английской королевы доставляли, она, говорит, без русского масла за стол не садится, янится».

Масло в самолучшие времена во всяком доме было, и к блинам, и на хлеб. Славные вафли на нем выпекали и стружки варили из муки сеяной тонкого размолу. И в каждом доме была маслобойка, теперь разве что в музее каком сыщешь. Делали ее по всем правилам бондари, дощечка к дощечке, как бочка, только узкая, а в нее вставляется мутовка с крестовиной на конце. Молоко хозяйка процедит и разливает по кринкам глиняным, лучше нет посуды для молока. Ставят в прохладное место, к предмету, в малую ямку в сарае. Как устоится, приносят кринки на стол, хозяйка берет большую деревянную ложку и начинает сверху сметану собирать. До самой середины дойдет! Ну, может,

сгоряча прибавил, но дивно сметаны. Тут же ее в маслобойку, на мутовку одевают крышку и маслобойку закупоривают. Тогда кто-то садится, ставит этот механизм поближе и коленками прижимает. А мутовка вверх–вниз, и так надоедливо и длинно. Обычно меня садили, когда юнцом был, всегда находили причину, чтоб наказать. Когда масло начинает сбиваться, мутовку не протащишь. Потом мать сливает пахту, я уже с кружкой, вкуснятина! А масло все в комок собирают и отжимают, потом в чистую тряпицу и над блюдом держат, жмут, чтобы вся жидкость ушла. Вот тогда настоящее масло, его подсаливали и топили в вольном печном жару, тогда оно в глиняной корчаге долго не стареет. Топленое солят, остается подденье, все дочиста кусочком вымакивали, поддевали, оттого и подденье.

Как жену свою родную Евдинью Ивановну похоронил, так корову не держу, ни молока, ни масла. А в маркете каких только пачек нет, и своего происхождения, и из других областей. Когда шибко охота, беру. Любил ране глазунью из трех яичек на молосном масле. Ну и состряпал. Сковороду разогрел, кусок масла кинул, а оно как вжарит шрапнелью, едва отскочил, чем и спасся. Вижу, кусок тает и по сковороде носится, того и гляди выпрыгнет. А почему? Потому что воды много, над блюдом не держали полдня, чистыми ручками не выжимали. Конечно, неславно это.

Я еще совсем мальцом был, бегал в лавку купца Измествьева, сам купец тут и торговал. Говорили, что откупился от большевиков, свои магазины вместе с товаром отдал советской власти. За это его оставили за прилавком. Как он баско выбрасывал на прилавок штуку мануфактуры, а потом аршинной линейкой шустро отмерял, сколь надо. Любо было смотреть, прямо играл за прилавком.

Теперича мануфактуру к нам не возят, все больше китайские штаны да рубахи. Старуха моя, еще жива была, купила мне кустом, говорит, летом носить станешь. Надел я его после бани, глянул на себя в трюме – господи, стыд-ок какой! На рубахе чья-то харя нарисована, не наша, и подписана другим языком. А на штанах лампасы, какие у генералов на фронте видал. Носил, но только дома и в ограде, еще картошку тятать выходил, когда соседей не видно. А после постирала бабка, весь мой кустом кумелькой сбежался, мотня растянулась до стыдных размеров, рубаха широкой сделалась, еще одного мужика можно засунуть. Отдал жене на тряпки пол мыть.

Однако вижу, что есть в торговле и путние товары, на днях приезжал большой начальник на черной квадратной легковушке, заходил в сельсовет, нынче администрация какая-то, дак на ём кустомчик славный, материальчик вроде не сукно, не шерсть, но завидный, и шили не в районе, нет. Потом мне разъемачили, что и машина, и кустом не наших рук дело, а иноземного происхождения. Я даже пожалел.

Ну, довольно про это. Пришел я в магазин, держит его наш мужик немецкого происхождения Андрей Адамович или Абрамович. А расцвел, сказывают, на деньги дяди своего, который в свой фатерлянд еще при советской власти смотался. Там теперь фабрику держит и племяшу копейки подбрасывают. Заинтересован я был колбасой, даже снилась, зараза, последние ночи перед пенсией. Вот, поперся с утра поране. Гляжу на колбасы под стеклом, очки нацепил, я их и пользую только, когда за пенсию расписываюсь, а тут кстати в кармане обнаружил. Гляжу не на колбасу, а на цифры, и смущение меня одолело. Как же так, мясо скотское лежит по триста вместе с костями, а колбаса по сто? Засумлевался, отошел в сторону. Вспомнил, как с прошлой пенсии хапнул

ливерной, в былые времена жена моя славные пирожки пекла, да и, бывало, кинет на сковородку сальца топленого, порежет колбаску на кусочки, обжарит – за милу душу отобедаю. Ну и я тем же макарон, только жарено мое растеклось по сковородке и дух издает противный. Тут и подсказала память, из чего ее делают: ухо, горло, нос...

А бывалочи, вспомнишь, какая славная колбаска была, правда, не каждый день и не повсюду, но в городе завсегда каральку прикупишь, да еще палку толстОй, звали ее вроде как врачебной, уж забыл. И ежели в автобусе кто-то в авоське колбасу везет, то уж не скроешь, такой дух по рядам. Попал я единожды в нехороший момент. ПробЕгал по гумажным делам, в магазин не попал, едва в автобус успел. А за весь день маковой росинки во рту не было, ругал себя и жену, что так и не всучила мне пяток пирожков, отказался. Как бы они сейчас к дУше пришлось! И сидит супротив меня бабочка, в авоське колбаса завернута. Ничего не видно в гуме, продавцы ее не жалеют, на весы бросают, сколь оторвется, но запах, такой аппетитный дух исходит, что у меня в брюхе все взволновалось и слюна вожжей, даже совестно. Пошто нонешная не пахнет, так я озабочен был, и спросить не у кого.

И тут прямо у ворот останавливается красивая легковая машина, идет по двору женщина, в дверь стукнула, я отгаркнулся, и она явилась. Да, повидал я, грешным делом, бабочек, не обижен, но такой красоты, да в своей избе, сроду не бывало. Кустом на ней голубенький, под жакетом белый бант пушистый, лицо белое да чистое, по фигуре все, как и должно быть, в общем, бабочка приятная, мало подёржанная. Я ее в горницу приглашаю, а она краской взялась и говорит, что дело у нее ко мне деликатного свойства. Мне не впервой, кивнул, мол, рассказывай. Она присела на табуретку, жакетка чуть распахнулась, какие ножки обнажились, какие коленки, смотреть больно. И говорит, что в семье не все ладно. Муж слабину дал, уж два месяца спит отдельно, выпивать начал с горя, а ему нельзя, работа ответственная. Да и я, говорит, не железная, соблазнов много, боюсь сорваться. А про вас, говорит, добрые люди сопчили, я любыми деньгами оплачу, только помогите. А сама слезы прибирает, вижу, что натуральные, переживает.

Ране я похвалился, что от отца своего перенял, как мужикам бессильным помочь. Оно и в старые годы бывало, что мужик силу терял, только дедушка и отец не шепотками пользовали, а травами и разными от скотины вырезками. Вот и я сподобился. Успокоил гостью, пошел в избушку, все, что надобно, собрал, в гумажки завернул, а ей продиктовал, что и как потреблять. Заодно спросил, ко врачам обращались ли. Да, кивнула, ездили в Тюмень, большие деньги заплатили, лекарствов накупили полсумки, только никаких перемен. Две недели принимал уколы и таблетки, потом выбросил все в мусорку и запил. И опять деньги подает. Я руку отвел, говорю, что через полмесяца приедешь и все расскажешь. Будет прок – тогда и о цене можно говорить.

И верно, через две недели приехала, забежала в избу, обняла меня, целует небритые щеки. Я тоже по старой памяти притиснул ее, да, видно, заметно, она аж засмеялась. Благодарит меня, а сама большущий пакет выставила, говорит, что продуктов хороших привезла. А я носу не верю: колбасой пахнет! Спросил, где продают эко диво? Она смеется. Оказывается, заведует эта бабочка конторой при мясокомбинате, где все анализы делают. И рассказывает, что в колбасу нынче много чего впаривают, все она назвала, а про мясо молчит. Я аж напрягся: «А мясо?». Она хохотнула: «Да, мясо! Очень немного, и не всегда свинина или говядина». Опять напрягаю: «А чье?». И стала она называть

животный мир, которого даже не слышал, говорит, хозяин из-за границы получает в больших ящиках за гроши. «А сам-то он как ест эту гадость?». Она засмеялась: «Нет, не ест, у нас в отдельном цехе есть маленькая колбасная линия, тут мы делаем по его приказу колбасу по советским еще рецептам. Немного, центнера два, для него и друзей, ну, и себе урвем. Вот, вам привезла, вспомните былое время».

Конфетки перестал брать, никуда негодные стали. И кто изничтожил рецепты, по которым делались конфеты «Кара–Кум», «Ласточка», «Мишка на Севере»? Недавно нашел в комоде конверт старый, а в нем гумажки конфетные, старуха прибрала когда-то, от них до сего дня запах хороший. Оттого и знаю названия. Нынешние в красивых заворачивках, но исть невозможно, пластилин в них, или что? Соседка моя Клавдия, кума Прокопья жена, в прошлом годе хапнула конфет, закинула в рот две сразу, они прилипли к зубам и к нёбу. Баба языком ворохнула, а про то, что зубы казеиновые, забыла. Переломила обе челюсти, пришлось пенсию отдать за новые. В суд ходила, там посмеялись и даже заявление не приняли. А надо бы привлекать за такой продукт, край надо, иначе потравимся все и зубы кончим.

Не скажу, что без вина жить не могу, но бутылочка завсегда в старые годы в шкафчике сохранялась. А как иначе, вдруг человек какой, да и рюмочка перед каждым аппетитом. Теперь водку совсем не беру, как траванулись трое мужиков парных, здоровых, и оказалась в недопитой бутылке не водка, а отравка на спирту не настоящем. Теперь только смотрю на стенку в маркете, где бутылки выставлены: картина, красота неземная, а как вспомню те похороны – сразу с души воротит. Не беру. Делаю брагу. Воду непременно кипячу и остужаю, потом бросаю дрожжи и сахар сыплю, сколь надо стаканов. Плотно запираю флягу и ставлю в тепло за чувал. Понятно, время от времени ревизию навожу, добавляю сахар либо дрожжи, тут уж оставляю слабину, чтобы дурь выходила. И веселком помешиваю каждый день. А как гулять перестанет, пережигая сахар. Сыплю на лист, раньше жена на нем хлебы пекла, пять стаканчиков сахара, лучше бы комкового, но его теперь нет, и в русскую печь в вольный жар. Сахар расплавится, сделается коричневым. Достаяю, остужаю, соскребаю в блюдо и засыпаю во флягу. Разойдется дня за три, пробу сниму и сливаю в бутылки пятилитровые. Такое питье выходит, что не стыдно и доброму человеку налить. Когда совсем отстоится, еще раз солью в банки, сохранится в прохладе, пока не кончится.

Вот говорил о ревизии. Памятный случай, когда кум Киприян по уличному Гулена, замешал брагу в старинном бочонке с пробкой и поставил на голбчик за печкой. На печке теща его Апполинария ошивалась. Хозяин встанет на приступку, прислушатся: воют бражка, аж бочонок подрагиват. Он и рад. И вот среди дня не вынес напору старинный дубовый бочонок, лопнул, дак ладно что теща по нужде спустилась с печи, в живых сохранилась. Приходит Киприян с работы – вся изба загажена, с потолка каплет, теща сидит вся в гуще, бормочет с перепугу, но жива и на ведьму похожа. И смех, и грех.

Купил булку хлеба, мне бы четвертушку, но теперича не режут. К вечеру в булке сделаться нора, словно мыши прогрызли. И вонять начнет шибко неславно. А все от того, что хозяева маркетов открыли свои пекарни, зерно скупают у крестьян бросовое, фураж, что подешевше, мелют и в квашню. С городской пекарни возили булки, тот хлебишко был сносный, так ведь отказались, потому как свой не на моде. Едим. Вобщето за свою жизнь всякого откушал, и с травой вполовину, и со жмыком. А в памяти калачи да буханки,

какие жена моя Дина выпекала. Ежели квашню заводит, считай, ночь не спит, как за малым дитем ухаживат, и промешать надо, и притворить, а потом наминать тесто, чтоб не пустое было. А как выкатат да калачей накрутит, буханок круглых на листы пристроит, тут не стукни—не брякни, а то хлеб спугнешь, присядет. Семья большая была, ее мать да мой отец, да четверо ребят, все выучились, двое в городе, двое тут, при родине, своим хозяйством спасаются, коль работы нет. Да, о хлебе: на неделю стряпала, и до последу хлеб не старился. Мука путняя была, хотя говорят: «Та же мучка, да другие ручки». А моя мастерица была, не к ночи помянута.

Поведал вам про нашу жизнь, а село у нас большое, старинное, в одной половине старожилы живут, в другой самоходы, из Рассеи крестьяне при царском режиме присоседились. Всегда дружно жили, и теперь. Одна власть была – робыли и песни пели, когда с радости, когда с горя. Другая сделалась – ничего, и тут приспособились, кто как, но опять живем. Оттого, что ленивых нетука. Народ работающий, не зовут, не нужен стал – плюнул, картохи гектар посадил, маломальский пригон сгоношил, свиней развел, коров, и похохатыват. Знамо, что не все так, но зачем напрасно бога гневить? Вот только бы с торговлей поправить, не все там ладно. Ну, поживем – увидим.

**Ферапонта Андомина сказыванья.
Писаны внуком его Матвеем.**

Письмо учительницы, нашедшей рукопись.

Уважаемый товарищ писатель!

К вам обращается жительница села Онега Мария Петровна Андомина, я всю жизнь проработала в этом селе учительницей истории, замуж вышла за Мирона Трофимовича

Андомина, и живем мы до сих пор в старом доме, построенном еще предком нашим Ферапонтом Несторовичем. Об этом я нашла запись в архивных бумагах в Тобольске. Как еще одно доказательство древности нашего дома – под полом нашли мы монету серебряную от 1789 года, видно, завалилась как-то, никто и не искал. Прадед мужа моего Матвей Гордеич, как говорили, последние годы жил вне дома, в избушке на дворе, и объяснял это тем, что надо ему исполнить какую-то работу, для которой нужна тишина и сосредоточенность. Что это за работа, никто не знал, а умер прадед неожиданно, говорили, что внучка принесла ему кашу на ужин и молока, он покушал, и она посуду забрала, чтобы порядок был. А утром хватили – дедушка уж холодный. Схоронили его на нашем кладбище, тут все Андомины лежат, от дедушки Иоанна и бабушки Федоры до последних умерших, и Нестор Иоаннович, и Ферапонт Несторович, и Гордей Ферапонтович, и автор этой рукописи Матвей Гордеич, все рядом с женами своими. Про работу, которую исполнял Матвей Гордеич, время от времени вспоминали, но что это за дело – так и не знали до нынешнего лета. А нынешним летом муж мой Мирон Трофимович решил разобрать избушку на дворе, в которой дедушка Матвей жил и работал, потому что она совсем обветшала, проще новую срубить. Когда стали убирать тесанные плахи с пола, рядом с печкой обнаружили, что плаха распилена и сделана крышка, а под той крышкой из железа скованная шкатулка, а в ней старая амбарная книга и большая стопа исписанных листов толстой старой бумаги. Писал Матвей Гордеич чернилами особыми, я такие записи видела в архивах в церковных книгах, потому весь текст читается хорошо и уверенно. Я знаю, что ваши предки тоже пришли из тех же мест, что и наши, даже село ваше Ольково у Матвея Гордеича упоминается. Высылаю вам копию, сделанную мною, потому что, поймите нас правильно, эта рукопись теперь наша семейная реликвия. Конечно, я переписала все в соответствии с правилами современного русского языка, у автора весь текст писан подряд, без точек и запятых. Все слова диалектные тоже оставлены. Наименование писания составил сам Матвей Гордеевич, потому я ничего менять не стала. Еще дедушка Матвей всякий день, когда делал записи, помечал в начале письма, но я даты указывать не стала, указала только последнюю. Я не знаю, сочтете ли вы нужным это публиковать, но для всех потомков вологодских переселенцев и для всех сибиряков это очень дорогие и милые сердцу сведения.

Остаюсь ваша читательница Андомина М. П.

с. Онега, 24 апреля 2013 год.

Благословясь, принимаюсь за дело, вверенное мне дедом моим Ферапонтом Несторовичем, человеком твердой веры и большого ума, поручившим мне, недостойному, записать, насколько позволит грамота моя, его сказывания и свои присловия тоже.

Не стану темнить и откроюсь с первого разу: грамотой не обременен, потому как в приходской школе при церкви было три класса, ну, лучше три группы: младшая, средняя и старшая. Я в младшую отходил, счет познал, письмо, чтение в голос, а в среднюю не пошел, потому что дед Ферапонт Несторович, ему уж под сто лет было, он с родных вологодских земель малым отроком привезен, так вот он меня в завозню заманил и на полном сурьезе пригрозил:

– Не ходи в школу, Матвейка, там ребятишек станут кастрировать.

Я из-за угла подсматривал, когда приходил к нам коновал, и отец с дядьями выводили на растяжных вожжах жеребца, валили на пласт соломы и скручивали веревками. Коновал вынимал блескучий ножик, и я уже не глядел. Жеребца после того звали уже мерином, он долго тосковал в своем стойле, по неделе не ел и не пил, дед Ферапонт вздыхал и тоже с тоской сочувствовал:

– Лишили Карева единственной животной радости. Для какого рожна ему теперича жить? В кобыле не нуждаются, жеребятки не будут облизывать да мордой поправлять, ежели что не так. Мы теперь с ним в одной поре.

Я интересовался, как это, дед хмыкал в густую бороду и пробасил:

– Рано тебе знать, обожди, зачем не видишь, глазом не моргнешь – станешь, как Карько.

Помня, как жалобно кричал конь, я не хотел очутиться на его месте, и от школы отказался. Отец не неволил, тем и кончилось.

Теперь я и сам к Ферапонтовым годам подхожу, пожил, повоевал, потерпел немало. И вот единожды лежу в своей избушке, сын мне изложил, чтобы никто не мешал, ночь светлая, у меня оконце под ситцевой занавеской, месяц пялится заглянуть. Лежу и думаю: «Вот придет смерть, заберет и меня и память мою, и все, что я знаю со времен переселения, потому что дед Ферапонт из всех внуков и правнуков меня отличал, рассказывал и приговаривал:

– Ты, Матюша, запоминай мои речи, другой тебе такого не откроет. А как накатит на тебя все это прошлое, ты и запишешь для потомства. Тезка твой Матвей с Господом бродил по Галилеям и Палестинам, а когда Христа распнули, Матвей написал, все что видел и слышал, за то Господь его призрел и отблагодарил. Книга эта, Библия зовется, у меня на божничке лежит, как умру, ты ее наследуй и изучи».

Как у десятилетнего парнишки завелась эта манера записывать в большой книжке с линейками, дед сказал, что это амбарная книга бывших торговых людей, записывать его сказывания – не дано мне знать, а вот писал, прятал от старших, потом и все другие события нашего села стал вносить кратко. Все ждал, когда же придет время это все изложить в приличной манере и на достойных листах. Да, годов семьдесят прошло, сыны дома поставили рядком, дочери в достойные семьи вышли, внуки и правнуки – все прошло. Жену свою Дарьюшку схоронил, сам сколотил домовину, сам место избрал на могилах в ногах у деда Ферапонта, тут же и себе обозначил, благо что слободного места дивно еще. Когда сорок дней кончились, и душа Дарьюшки моей обрела покой, взялся я за тетрадки свои, просмотрел все и решил, что достойно. Должны все мои последыши знать, как развивалось на сибирской земле семя Андомино. Писано мною подряд, как дедушка Ферапонт диктовал, новой раз так завлекет писанье, что не вдруг угадаешь, что не мои это речи, а дедушки, только вранья все едино нету и быть не может, потому как правда.

Дед еще малым был, а запомнил, что переход великий начался в царствование Екатерины Второй, сохранялась в семье какая-то бумага от имени Государыни, что отец его Нестор Иоанович в Вологодской Вытегре у уездного начальника выправлял бумаги на переход в Сибирь, и велел записать семейство как Андомины, в память о реке, на которой столько веков прожили. Река та Андома истекала из озера Крестенского, это я по буквицам записал, чтобы не соврать, и стремилась к Онежскому морю. Тут, на берегу, и было селенье наше Озерное Устье, стало быть, Андома втекала здесь в море. Рядом

другие деревни, вот перечислены: Климова, Ларьково, Ольково. Дед говорил, что жили рыбой, ходили в Онежское море на парусах, однако досыта не едали, хлеб на столе только по большим праздникам. И вот появился в тех местах зрелых лет человек, который по белому свету помыкал немало, и рассказал он мужикам про страну Сибирь, где сами хлеб сеют и кушают его, сколь душа примет. Что сенокосы богатимые, литовку не протащить, на тех травах скот нагуливает молоко и мясо, и опять все кушают без оглядки. Лапти показал тамошние, мяконькие, легкие, крепкие. Всю зиму мужики думали, а весной продали на ярманке в Вытегре, все, что можно, и тронулись. Были, надо думать, среди наших толковые люди, ежели в такую даль собрались полтора десятка семей из тех деревень.

Три года шли, по дороге и добрые люди помогали, и злые насакивали, только переселенцы отчаянные были, за себя и своих детей души из разбойников вынимали. Без малого три тысячи верст от дома отошли, и подсказали опять же добрые люди, что ищет начальство охотников заселиться в местах отменных, но опасных, кыргызы налетали и даже казачьи заставы прогоняли.

Интересно обустроивалась наша Сибирь-матушка, доложу я вам, столь забавно, что в двух верстах друг от дружки выстроились две деревни, только не просто версты их разделяли, а Гора, считают ученые люди, что в старопрежние времена вся низина была залита водой, а нынешняя Гора была берегом. Только где другой берег – никто не знал, однако догадывались, что где-то должен быть, коли наш есть. Гора не сказать, что высокая, но, к предмету, напротив могилки без торможения задних тележных колес не спуститься, и много добрых коней, да и мужиков безалаберных тоже на том спуске пострадало. Пожадовал, воз нагрузил с избытком, или недоглядел, подгнил тормозной крюк или веревка попрела, а воз накатыват, под колесами аж земля дымится. И вдруг – нет тормоза, телега с возом на лошадь напират, той деваться некуда – в рысь, в галоп, но догонит телега, и покатались вместе в глубокий овраг, подминая молодые березки, только дикий крик убившейся лошади холодит душу обробованного крестьянина.

На этих крутых склонах ребятишки любили зимой на санках кататься, потом лыжи наловчились ладить, как и вы теперь. Две березовых тесины с одного конца заострил, дождался субботы, когда баню топят, в котел с кипящей водой сунул тесины острыми концами и жди, когда дерево разомлеет, а потом под сарай. Здесь уже все приготовлено. Острые концы между двух бревен сарая просунул, а на другие подвесил гири пудовые. Постоят так пару дней, и лыжи готовы, осталось только ремешки из толстой кожи приколотить, чтобы пимы в эту петлю входили.

Сначала пришли вологодские наши поселенцы, облюбовали место под горой. Да что там говорить, чудное место, просто райское. В память о своей далекой родине селение назвали Онегой, правда, при первой же ревизии переписчик воспротивился было столь мудренному названию, но подали ему немножко серебром, он и успокоился. А место ровное, как стол, с одного боку старица, с другого вторая, вода – пей – не напьешься, вроде и солоновата, да нет, вдругорядь попробуешь – сластит. И для квасу, и для пива, и для солений всяких годна. Покосы на лугах – литовка вязнет, земли залежалой – сколь можешь, паши.

Потом пришли хохлы малорассейские, те на Гору поперлись, заманили их леса богатые. Оно и верно, лесов настоящих они и во сне не видели, а в то же время

соображают: лес – он кормилец, он материалом обеспечит, грибом-ягодой. В ближних лесах три озера, войди в воду – караси в колени бьются. И покосы на лесных полянах не в пример луговым, травы во множестве незнакомые, но такое сено поспевает, хоть чай заваривай. Тоже жить можно.

Гора та изрезана логами да оврагами, один от другого тем отличаются, что в овраге все густо растет, и травы, и кустарники, и береза с осиной. Тут сморода и вишня, малина и ежевика, боярка и даже рябина красная, кормилица снегирей. А лог, как вдовец, гол, с первого взгляда страшноват, дикостью от него несет, суеверностью, нет в нем ничего, кроме камней и глины, и человек ни за что туда не пойдет без особой нужды. А самый знатный лог в этих местах – Лебкасный, или Лебкастик. Из каких глубин и по какой причине выперло наружу такую уйму лебкаса – никто не скажет. Вот рядом еще ложок, невзрачный, почему бы там не быть этому добру, а нету.

А какие крепкие березы росли по берегу Лебкасного лога, даже старики не помнят их молодыми, приголубили под своей сенью всяческую траву, какая не дает подползти к дереву паршивой тле, гибкой гусенице, да не всякая бабочка для продолжения рода сумеет полететь к шеренге берез. А трава такая: крапива прежде всего, потом визиль-ползунец, потом резучка, дальше ковыль-чистоплюй, уж он-то не позволит... Разные были суждения по происхождению могучего колка прямых и ровных деревьев, от комля до вершинки с десятков саженей, и ни одной веточки, ни единого сучочка, только на макушке словно метелочка, чубчик, дескать, простите, если что не так, вот за чуб можно подергать.

Был такой разговор, что посадил эти березки каторжный народ, гнали пешим порядком большое число преступивших, и напади на конвой лихая хворь, так и валит с ног жаром и потом. Знающий человек среди колодников оказался, посоветовал весь провиант конвойный выкинуть, потому как подсунули подрядчики гнилье всякое, и в этих местах закупить новый корм, а пока подкрепление подвезут из ближней крепости, арестанты согласились в бега не ударяться, только дать им какую-нибудь богоугодную работу. Начальник конвойный убоился подвоха и предложил зайти в этот лог, из него выход один и охранять проще. А в порядке благого дела велел обсадить лог юными деревцами. Чем ямки рыли – сие неведомо, и как поливали первосаженцы – тоже никто не знает.

Вторая догадка побогаче будет на выдумку. Вроде жили в ближайшей глуши раскольники, лог этот они облюбовали потому, что лебкас очень даже украшал их дома и придавал чистоту. А когда власти стали их и здесь шевелить, подались бедные дальше в глубь сибирскую, а много чего из ранее привезенного, чтобы дорогу облегчить, в логу зарыли. И под каждой березкой, ими посаженной, непременно какое-то богатство сохраняется, потому и пущена молва, что березы эти особые, и рубить их нельзя ни при каких надобностях, за исключением того, что решит сход.

Никто из деревенских не обращал на эти березы никакого внимания, пока не начали разработки лебкаса на продажу в город. Дело это нехитрое, но и ума требует, потому что верхний слой засох и уже непригоден, надо его снимать и в сторону, вот тогда пойдет влажный лебкас. Мужик в яме роет и выдает наверх, а бабы «головы» лепят и на просушку выставляют. «Головы» в городе по хорошей цене шли, потому желающих в логу каждое лето добавлялось, рыть приходилось вглубь, там почти белый лебкас шел, пока в один день, да почти в одно время рухнули три шахты, и завалило мужиков. Пока

сбежались, пока откопали, ребята уже никакие. Разом утянулись все из лога, бояться стали, и березы на его берегах зловещий смысл заимели. Вот вроде родные березки, а страх берет, и не всякий мужик в одиночку пойдет в лог, а чтобы срубить дерево – да Боже тебя сохрани!

И только, когда церкву строили, батюшка облюбывал сей лес для полов. Мужики морщатся, но супротив не говорят. Ну, батюшка и без того эту историю знал. Собрал людей, повел, за версту еще запели, а прямо в логу молебен отслужили, и по сигналу ружейного выстрела пономарь ударил в колокола. С тем и приступили, разделявали, шкурили, и пополам кололи. Вот эти березы и лежат сейчас на полу в божьем храме. Пригодилась нечаянное подаренье незнакомых людей, мир их праху!

Весенние снеговые воды и от обильных дождей тоже вытекали мутноватым ручьем и заливали ближайший луг, отчего сделался почти непригодным для хозяйствования, зато птица всяческая польская плодилась тут во множестве. Весной ребятишки уходили сюда с раннего утра, и собирали утиные яйца корзинами. Но было строгое правило: одно яйцо в гнезде не трогать руками и оставлять, утка к нему еще сколь надо снесет, так природой заведено, и все до ниточки исполнялось, потому как никто не мог ослушаться старших. Через время уточка уводила свой выводок на чистые воды ближайших стариц: на Марай, на Арканово или Темное.

Ребятишки приходили глядеть на это переселение, с их появлением утки издавали треложный звук, и цыплята сбивались в кучки и прятались под ближайшей кочкой. А утица начинала ходить кругами, то подлетит, то сядет и пойдет хромой походкой, дескать, лови меня, я вот она, доступна. Гонять уток запрещалось, а трогать желтеньких пушистых утят тем паче, потому утки скоро успокаивались и условным криком выводили свое семейство.

Место это получило название Зыбуны, зыбкое было место, в иных точках вся поверхность ходила под ногами, раскачивалась, будто детская колыбель. Колыбель – это как-то по грамотному, у нас делали зыбки. Крепкую деревянную рамку обтягивали толстой холстиной, и чтоб чуть провисала. К потолочной матице на самоковочные гвозди приколачивали обработанную и испытанную березовую вершинку, на второй конец вешали зыбку. Зыбку из страха еще одной веревкой привязывали к большому гвоздю в матице, вдруг лопнет вершинка, дак чтобы ребенок не убился. Потом, когда железо пошло, на крепких веревках крепили с четырех углов эту раму к металлической пружине, пружину к потолочной матице на надежный крюк, но для страховки внутри пружины пропускали еще одну веревку к узлу тех четырех. Это на случай, если пружина лопнет, тогда люлька на запасной удержится. В такой зыбке младенца нянька, мать либо бабушка укачивали, не бросая работы, от зыбки петельку делали к ноге и ногой покачивали, а руки свободны. Вот как было придумано хитро и просто, а от люльки той и болотистому месту, гнилому и опасному, дали название Зыбуны.

Ну, знамо дело, не каждый год смачный, новой раз такая сушь прижмет, что воробью напиться негде, выйдешь на крылечко в тени кваску попить, он прямо на кромку ковшика садится, до того осторожность потеряет и человеку доверится. Тогда Зыбуны выручали всю деревню. Трава там напреет такая, что как взмах, так копна, а если хорошо помахать, к обеду на стог соберется. Потом примутся эти травы в стога метать. Сначала в копны сложат, потом копны к одному месту стаскают волокушей, собранной из крепких

веток тальника, и с первого навильника начинают сено утапывать, и так по кругу: положит хозяин пласт, хозяйка ногой заступит, тот вилы выдернет, а она ходит по кругу, это называлось уминать и вершить стог. Пройдет полдня, а уже последний навильник забрасывает мужик на маковку стожка, следом подает сплетенные в вершинках попарно толстые вицы, баба разводит их на четыре стороны света, это чтобы ветром сено не раздувало. Муж кинет ей веревку, сам на противоположную сторону уходит и кричит, чтоб спускалась. Бабы тоже всякие бывают, иная полстога может за собой утащить, потому аккуратность требуется: мужик веревку натянул, а жена на животе тихонько сползает. Потом граблями очесывают стожок, чтобы дождик скатывался, не сгноил сенишко.

А деревня наша чисто вологодские родные кружева повторила, строчкой домиков прошлась вдоль узенькой старицы, которую называли Сухарюшкой, потому что первый дом поставил Никитка Сухарев, дома от речки отодвинулись, но лицом к ней, улочка получилась однобокая. Дальше стали нарезать улочки широкие, и уже строили с двух сторон, чтоб дом против дома, окно в окно, но пришлось огибать большую старицу, и такие повороты получались, то в одну сторону, то в другую метнутся. А поскольку такой рисунок заложили, то и другие улицы его срисовывали, и получилась вязь из улиц и переулков. Только в деревне не заблудишься, каждый друг друга знат-величат по отчеству, если годами достоин, а иногда и совсем молодого человека могут навеличивать за особые заслуги, к примеру, кузнец отменный или по скотине специалист. Были такие люди, грамоты не знали, а болезнь скотскую видели: когда брюхо специальной, из города привезенной иглой проткнет, чтобы дурной воздух выпустить, вдругорядь заставит ковшик самогонки быку влить, чаще коровам помогал растелиться, по локоть руки в утробе, ножки телку непослушному развернет, тот и выпал из мамки.

Дома ставили, как уже в Сибири заведено, нагляделись: стало быть, сруб рубится из свежих берез, сразу вкрест, чтоб изба, горница, сенки теплые и казенка, кладовка по-другому. В избе и в горнице внутреннюю сторону бревна стесывают аккуратно, и стена выходит ровная, любо посмотреть. А потом ее шлифуют каленым кирпичом, а уж когда живут, то к большим праздникам, к Паске и Покрову, стены моют и скоблят ножом до желтизны. Сруб ставят в три клетки, но это не на месте, а в стороне, на полянке или за огородом, только потом переносят бревна, чтобы класть на мох. Мох загодя дерут на болотах, на паре лодок выплывают и специальными граблями сгребают мох со дна, собирают в лодку, вывозят на берег и перегружают на телеги. Пока день работают, мох всю воду спустит, но дома все равно раскладывают ровным слоем в тени, чтобы не пересыхал, а потом соберут в общую кучу. Мох не экономят, пазы в бревнах вырубаят широкие и глубокие, мох на нижнее бревно укладывают ровненько и толстым слоем. Бабы следом подбивают свисающий мох и добавляют, где в паз палец лезет.

Когда лес привезут, ребяташки топориком берестичко разрубят и начинают кору драть, а потом коринку на излом, потянешь, и белая сладкая пенка сама в рот просится. А под коринкой на древе сок застывший, ножиком его скоблят и едят. Шибко сладко, только мужики не давали бревна оголять, просохшую березу топор не берет.

Когда сруб устоит окончательно, мох покажет прокладку между рядами толщиной в мизинец, и того довольно, чтобы ни ветер, ни мороз не пробил стену. Вот с крышей не все сразу выходило, как дед говорил. В Вологодских-то краях дома крыли

тесом, это когда берут бревно сухое и чистое, устраивают на подставах и вбивают железный клин, чтобы кромку отколоть. Потом и дальше, уже доска выходит, а тесина – потому что тесаная. Местные натакали крыть пластом. Лопату насаживают на горбатый черенок, выбирают на выгоне ровное место, поросшее густой щетиной множества трав мелких, стало быть, крепко корневищами схвачен верхний слой. И вырубает по кругу пласт дернины и грунта на нем бугорком. Крышу обшивают густо подскалом, толстым тальником, и на него уже укладывают рядками земляные пласты, их могли и просто дерном называть. Ровным верхним местом вниз, одна лепеха к другой опять же густо. Когда все закончат, крыша в мелких бугорках, красиво, а через неделю зазеленела крыша, и дом, как в сказке, попервости наши дивились, потом привыкли. Но все равно вернулись к тесаным плахам, научились и березу разделявать, дома под тесом, дождичком не пробьет и баско смотрится.

Были любители мазать стены, ну, это только называют, что мазать, а на самом деле на все внутренние стены вкрест набивают таловые ровные прутики, а потом на ограде яму копают и глиной красной заполняют, туда же рубят прошлых урожаев солому, мягкую, подопревшую, водой заливают, и ходят бабы по кругу, месят глину, подоткнув юбки под опушки. Молодых девок туда не загонишь, стыдятся заголяться, ноги показывать, хотя и у баб подержанных ноги бывали смущающие. Потом глину носилками подают в дом, а там уж горстями кидают ее в стену и аж крикают от усилия. Набросают так слой, какой надо, начнут растирать, ровнять, добавлять. Так по всему дому, особенно надо понадежней на стене, которая на улицу выходит, тут тепло надо ловить. Такие работы одному не под силу, всей родней собирались, друзья-товарищи помогали, потому называлась помочь. А когда дом мазать – собирали супрядку. Вот поди ж ты, супрядка прежде была, когда бабы и девки вместе собирались и пряли, а потом гляди, куда слово перескочило!

Сушили глину не просто так, все окна и двери закрывали, чтобы спокойно сохло, не рвало, да и соломка для того же. При доброй погоде может за неделю высохнуть, тогда опять глину разводят, только пожиже, называли затиранием. А уж потом дело до лебкаса доходит или до белой глины, какая в логу под хохлятской деревней Паленкой. Паленка – от того, что сгорала на третьем году, сперва звали Ивановкой, а как погорели, переписали на Паленку, так землеустроитель тогдашний посоветовал. Бывал я и в беленых домах, бывал и с тесаными стенами, и там и там все от хозяйки идет, какая чистоту блюдет, у той и славно, а если баба рохла, то ей хоть крась, хоть лебкасом убелай – запустит, загадит, до греха доведет. Был одно время порядок, когда общество имело право пройти и проверить, а каково же чисто или не особо ты живешь, это еще дед Ферапонт сказывал, потому что от нечистоплотности образовывались всяческие насекомые вредные, а уж от них укушенный болел и даже помирал. Потому приходили и такими разными словами стыдили и гадили, что хозяин тут же бабу свою на куртал водил, ну, бил, проще сказать. И это блюлось долго, потом утратилось. А напрасно, я и теперича знаю, у какой хозяйки каково в кутнем углу. Вот ежели она принародно в подол юбки сморкнется, может порядок в доме быть? Никогда не будет, потому что то и другое друг от дружки зависят.

С первых времен старики стали все постройки во дворе высокими заплотами обносить. Это для чего? Чтобы злой человек либо разбойник не вдруг в ограду попал. Не то сказал, перепиши! В самые-то первые времена заборы ставили из толстых бревен, а верхний конец чтобы заточен был до иголки, потом стали верхушки железом обшивать.

Со временем поспокойней стало, и перешли к заплотам. Ну, самое простое дело: ставят столбы толстые, повдоль пазы широкие выбирают, в эти пазы и загоняют бревна, подгоняют, как будто стены рубят, так же паз выбирают, до тонкости, чтоб красиво и надежно. Высота одна: в сажень, чтобы человек не допрыгнул.

Каждое лето дедушка подновлял прясла вокруг огорода, тын и плетень у избы. Загодя в лесу срубал молодые березки на колья, а у болотца насекал воз тальника. Колья готовил наперед, заострял комельки и пропускал вдоль несколько залысин, чтобы дерево не прело под корой. Я нес ведро с водой, дедушка беремья кольев. Острым концом в нужном месте он намечал лунку и долбил в нее колом, то и дело подливая воду, чтобы размягчить землю. Когда кол входил на довольную глубину, дед оставлял его в покое и рядом, в четверти от первого, устанавливал второй. В трех местах потом, в локте от земли, посерединке и в четверте от верха колья крепко связывались вицами. Дед брал два-три нетолстых прута тальника, ловко заправлял их основания между кольями и, проворачивал пруты вокруг себя, обвивал ими колья, восьмерку делал. Потом на эти основания ложилась жердь, тоже пролышенная для просушки. Трехрядное прясло спасало огород от коров и телят. Огороды под мелкие овощи, их называли огурешниками, как и сейчас, огораживались так же, только между жердями ставились прутья тальника, за нижнюю жердь заправляются, вокруг средней огибаются и за верхнюю цепляются. Когда прутья чередуются, один снаружи, следующий изнутри, красивое получится плетенья, тоже как наши кружева. А вот плетни были самой надежной охраной от кур и свиней. Колья ставились, как и для прясла, только по одному, в полшаге друг от друга. Тальник, еще волглый и податливый, заплетался между кольями один за другим, ветка за веткой, но всякая другая уже обнимает колышек с иной стороны. Для большей плотности плетня дед ударял между кольями обухом топора. Из плетня делали стайки для коровы, с обеих сторон для тепла обмазывали глиной с соломой, ну, это в тех хозяйствах, где жили поскромней. Наши дворы всегда были рублены.

А во дворе у путного хозяина пригон для скота, конюшня, овчарня, свинарник в дальнем углу, оттого, что вонючь шибко. Птица так пристраивалась, чтобы теплом от крупного скота согреться. У добрых хозяев куры по всей зиме клались. Дед Ферапонт, бывало, вечером, когда куры на седало поднимаются, шел их щупать, и тут же снохе докладывал:

– Будет завтрашним утром, доченька, две дюжины яичек. Почитай, все куры с яичком, кроме рябой.

– Отчего так, дедушка?

– А Бог ее знат, толи петуха не любит, толи волю взяла.

Ближе к весне куры отдыхали, яиц не несли, видно, силы копили. Когда матушка приносила в дом первое яичко, дед, помолясь, подзывал меня, ставил возле себя на колени и катал по моей голове яичко, приговаривая:

– Сколько у Матвейки на голове волосок, столько яичек снесите, курицы. Сколько у Матюши...

И так три раза.

Так заведено было у нас с дедушкой, что в воскресенье после обедни, откушав, чего матушка с сестрами наготовили, уходили мы в укромное место, и дедушка тихонько

рассказывал свои истории, а я записывал, другой раз даже останавливая говоруна, мол, не успеваю. А тут поглядел на деда, а он из-за стола вышел, приобнял меня и говорит:

– Не станем сей день писать, потому как хочу рассказать тебе непотребное для воскресенья. Воскресенье, это ведь Паска, святой день, потому воздержусь. А завтра вечером сядем на печке, там и тепло, и светло, и у добрых людей в ногах не путаться.

На печке славно. На голбчике пимы летом сохраняются, а зимой сушатся, сразу за чувалом матушка складывает ухваты, сковородники, клюку, которой жар в печи загребают, широкую деревянную лопату, чтобы хлебы на под выкладывать. Калач, на поду испеченный, с молочком – первая еда для ребятни.

Дедушка Ферапонт поправляет кошму на печи, бросает к задней стенке свернутый старый полушубок, кряхтит и ложится на спину, я сажусь на голбчик и раскрываю тетрадь.

– Расскажу я тебе, Матюша, про нечистую силу. Про нечисть эту верней было бы крещеному человеку не поминать, да только за ради тебя, чтобы ты знал и умел от этой гадости оградиться. Вот мы с тобой про домового говорили, тоже не нашего мира, но для человека худого не сделает. Ну, прижмет когда, подавит, да и не просто так, а чтобы намек дать, к худу ли к добру готовить самого себя. А ведь есть еще и черти с ведьмами, оборони Господь! Это же наказание! Они же только и ловят момент, когда человек ко греху готов. Вот, к предмету, Ванька Мазанный, он прошлой зимой в лавку купца Колокольникова залез и спер кой-чего. На сходе, когда его судили, Ванька признался, что черт его попутал, с толку сбил и повел к лавке чувал разбирать. Так грешный каялся, что народ проникся и просил купца не сдавать Ваньку в тюрьму. Только крест от нечистой силы ему на лбу нарисовали, чтобы не беспокоила, пока в себя придет.

Вот пошел ты в лес, знамо, что красота кругом, птички поют, цветочки расцветают, запахи в носу щекотят, только не думай, что ты один и чуть ли не хозяин в этом месте. В лесу свой хозяин есть, батюшка твой вроде брегует молитвой перед дроворубом, разве про себя шепнет чего божеского, а я непременно в сторонку отойду и попрошу Лешего, Лесовика, покровителя леса, чтобы он разрешил нам лес валить на благое дело, и чтобы не пакостил. А то ведь знаешь, как: собрались мужики валить лесину в одну сторону, а Леший толкнет в иную. Ладно, если отскочить успеют, а то и горе бывает, захлестнет мужика насмерть. Не знаю, какая от того корысть Лешему, однако случается.

Тако же и на воде. Вот плыву я, бывало, на долбленке, морды в камышах проверить, попало чего или на простой ворочаться, плыву, а он уже в камышах, ждет. Тогда говорю: «Кланяюсь тебе, хозяин, и прошу соизволения рыбешки, сколь разрешишь, взять». Он, конечно, промолчит, только ворохнется, аж камыши ходуном заходят. Но волну на меня не гонит, стало быть, без возражений. А сказывали мужики, что новой раз так грудью пеханет воду, что лодку волной опрокинет. Тогда уж не суйся, уходи, да с берега задабривай добрым словом.

Зим прошло с тех пор пять десятков, приبلудилась к нам в село женщина, жила подаяннем, только даже по большим праздникам на церковной паперти не стояла, а ведь там в такие дни хорошо подают молящим. И в храме ее никто не видел. А потом страх по всей округе: катается по улице тележное колесо. Парни с девками кампанией шлятся, на них наскочит, да еще гоньбу устроит за кем-то. Ребятишки стали бояться из дому выходить, как стемнеет. Хмельной мужик от сватов возвращался, чуть не забило его

колесо, он от боли и страха тридни молчал, только выл, а потом рассказал. И порешили мужики колесо энто поймать. И словили, оно вертится, но куда там супротив мужиков, они прежде в храм зашли, батюшка благословил. Была у них на тот случай веревка конопляная, просунули между спиц и в ступицу пропустили, а потом толкнули: катись! Кое-как оно разбежалось, и к избушке правит, где та бабенка жила. Закапилось в ограду, потом в двери, трое мужиков следом. Колесо пало посреди избы, такой рык издался, что мужики со страху присели. А колесо забилося, все об пол, об пол, а потом и женщина на его месте образовалась, совсем голая, а веревка между ребер пропущена и в иных местах так же. Вскрикнула еще раз, взвилась, и в печь. Мужики на двор, а из чувала, черный дым и ведьма на метле – во как!

– Не страшно рассказываю? – спросил дедушка.

– Страшно.

– Ты не бойся, ты же крещеный, над тобой ангел-хранитель, он защитит в случае чего. Да и слово помни: «Свят, Свят, Свят!». Нечисть шибко страшится этих слов. Да ведь и есть люди с силой нечеловеческой, но от Бога. Был у нас человек, недавно помер, а жил долго, и людей пользовал. Травы все знал, собирал и сушил, на самогонке настои делал, чаи заваривал. Со всех сторон ехали и шли, кто лежачий – вставал и уходил с благодарностью, кого под руки привели – бросал костыльки и своими ногами. А теперича нету, остались старухи, которые ребятишкам брюшко правят да кровь могут унять. Мельчает народишко.

Запиши еще о породе людей злых и неверных. Давно это было, ты родился или нет – не помню, и прибежал среди дня к нам деревенский староста, просит отца моего пустить на ночлег арестанта, коего везут в самый край земли. Арестант этот, говорит, не варнак, он князем был и офицером, да лишен всех чинов государем, так что бояться его не следует, а накормить и спать уложить прилично. Стража и кучера пусть в избушке на ограде ночует. Лошадей в конюшню, и овса с сеном, потому как путь у них тяжкий, дорог нет, одни переметы от падеры.

Отец ворота открыл, ведет гостя. На нем шуба дорогих мехов, каких и нет у нас, и шапка соболья, и одежда господская с белой рубахой. Слуга при нем, толстенький, вертлявый, помог хозяину разоблачиться, он на иконостас глянул, трижды перекрестился, всем поклонился и сказал густым приятным голосом, что звать его следует Сергеем Петровичем и что опасаться не надо, не разбойник он.

Моя Степанидушка к ужину наготовила и жаркое, благо поста не было, и каши, и пирог испекла из вяленых щук, солений поставила и водки казенной штоф. Гость опять перекрестился, сел за стол и хозяев пригласил. Налил я ему водки, слуге тоже, себе чуток плеснул. Гость взял кружку и речь сказал:

«Везут меня через всю Россию на вечное поселение в дальние края. Я офицер, именитого роду, с малых лет в армии, с Наполеоном схватился осьмнадцати годков. Дошел до самого Парижу, насмотрелся – иначе народ живет, свободней. Пришли мы домой, а тут тирания и рабство народное. Государь наш Александр Первый перед войсками обещал дать свободы, ан не дал. Офицеры в смятении, возмущены, брожение началось, и оформились тайные общества, чтобы свергнуть Императора».

Тут я перекрестился:

«Как можно, сударь, на царя руку поднять? Ведь он Божий наместник на земле»!

Гость улыбнулся:

«Пусть так, церковь его венчала, только народишко-то свой и Господь завещал любить и блюсти».

– Ты пиши, Матюша, как я говорю, потому речи того господина были мудреные, а я толкую, как понял. А гость, видно, скоро разобрался, что не шибко его понимаю, сказал, что напишет потом для меня и потомков гумагу, чтобы помнили. Вот, срисуй.

«Долго мы готовились и искали момента. Многие командиры вплоть до ротных были посвящены под присягой, среди солдат слухи пускали, смотрели, как они сами себя ведут. Пришли к убеждению, что надо действовать. А как? Тут разные были суждения, но Господь пособил, умер Государь Император, престол должен перейти к старшему из братьев Александра Константину Павловичу, на честь и порядочность которого мы полагались. Но начались игры, вроде престол принимает следующий брат Николай Павлович. Офицеры и высший свет его не любили. 14 декабря мы вывели свои войска на Сенатскую площадь, но безуспешно. Наша неорганизованность, измена, твердость нового императора, который дал приказ стрелять по войскам и народу из пушек картечью и ядрами – все привело к провалу. Нас арестовали, пятерых наших друзей повесили, многих угнали в Сибирь этапом в железзах. За меня хлопотали люди высокие, однако через полгода вышло указание отправить в Сибирь под стражей на собственные средства».

Когда поужинали, я спросил:

«Сударь, а если бы восстание удалось? И кто царем стал?»

«Самодержавие упразднилось, крепостное право отменялось. Все люди равны перед законом. Чиновников избирает сам народ».

Я сказал, что в Сибири нет крепости, крестьяне вольные. Гость кивнул:

«А в России бедность и бескормица, крестьянин хуже скотины. У тебя вот мясо не выедается и хлеб белый. На Волге ночевать пришлось в деревне, в барский дом меня не пустили, государственный преступник, нашли крестьянский домик. Картошка и масло конопляное, пришлось из своих припасов доставать, а то совсем есть нечего».

Утром гость чаю попил и уехал, поблагодарив и наградив меня золотой монетой французской чеканки. Долго я думал, за правду пострадали эти люди или за гордыню свою. А потом такое стало в столицах да и губернских городах, что страх обуял. В царей и градоначальников бомбы кидают, подбивают мужиков на восстания, к нам присылали и от Стеньки Разина, и от Пугача разбойников – против царя! Как можно? Не нами установлено, Господь так положил, что быть в России Государю Императору. Это как? Супротив Бога? Запиши, Матюша, эта путь к добру не приведет, ты, поди, увидишь деяния этих безбожников еще больше страшные по греху своему. Раз они против царя, стало быть, и Бога не признают, не боятся? О, это страшные люди! Спаси Христос от деяний их! Ну, довольно на сегодня.

На другой день после обеда дедушка позвал меня в избушку:

– Еще поучу тебя разным приметам, верно, я и сам не шибко в них верю, но люди сказывают, что сбываются, потому от греха подальше, лучше соблюдать. К предмету, несут покойника, прости господи! – не моги улицу перебежать, встань в сторонке, поклонись, трижды крест наложи, да три горсти земли вслед брось.

– Дедо, а если зима?

– Зима? Стало быть, снежком кинешь. И непременно прошепчи: «Господи, спаси его душу!».

– «Душу грешную», я слышал.

– Болтаешься, неизвестно с кем, глупостей нахватаешь. Душа – она от Бога, ей и предназначение, как Спасителю нашему, тот за всех людей страдал, а душа за своего хозяина. Если человек грешил при жизни, вино употреблял зло, табачище курил нещадно, да матом крыл всех подряд, блудом пользовался и прочее – он-то умер, тело поганое зарыли, а душа летит к Богу и перед ним отвечает за хозяина своего. Потому душу свою береги пуще всего на свете.

Я тебя научил, запиши, чтобы деток своих потом не забыл правилам. Идешь по улице, навстречу тебе пожилой человек, а тем паче старик – остановись, шапку сними, поклонись и скажи: «Здравствуйте, дедушка!» или «Здравствуйте, бабушка!». Если в дом вошел, встань под порогом, шапку скинь, гляди на иконы в переднем углу и перекрестись, а уж потом скажи: «Здравствуйте всем! Мир вашему дому!».

Ежели баба с пустыми ведрами на коромысле навстречу – избеги на всякий случай, либо в переулок сверни, либо вернись, словно позабыл чего. Не знаю, отчего, но сам избегаю.

На огонь не плюй, ни в кострище, ни в печи. Запомни, как у тебя губенка вспухла, когда ты на железную печку в избушке плюнул. Рыбу осеннюю мы тогда подсушивали, вот и затопили железку, ты сначала недопитую воду из ковшика сплеснул – зашипела, белой змейкой взвился пар. А потом плюнул раз да другой, это я недосмотрел. Вот летучий огонь тебе на губу и прыгнул, дескать, не делай так больше. Понял?

– Понял, дедушка.

Когда я маленьким был, батюшка наш Нестор Иоаннович (тут дедушка перекрестился, и я тоже) на лето ставил под сараем за ветром гнутую из железного листа печку. Семья большая, трижды в день всех надо накормить, в дому печь топить не будешь, жарко, потому варили и жарили на железке. И приспособились мы с братьями картошку испекать. Нарезем нетолстыми ломтиками, подсолим, у холодной еще печи бок вымоем, а потом, когда он накалится, ломтики прилепил, и ждешь. Вот он разрумнялся, запахло вкусно, ножичком ломтик сколупнул и на блюдо. Обьединье! Ты спроси батюшку своего, печка на чердаке лежит, ежели позволит, достанем, да и нажарим ломтиков. И я детство вспомню.

– Как это, дедушка, вспомнишь?

– Милый ты мой, новой раз звук какой услышишь или запах – сердце замирает, было такое в детстве. Видно, кроме памяти еще что-то есть в человеке, чтобы душу волновать. Да, про ножик. Никогда на столе ножик не оставляй, дедушка–суседушка не любит.

– Отчего так?

– Не ведаю, Матюша, только меня учили, а я тебе передаю. Суседушку уважать надо, иначе беда.

Теперь про баню. Семьи большие, работы много, потому баня непременно должна быть. Мы народ северный, на воде произрастали, к чистоте привычны. Бани топились по-черному, весь дым через дверь, в каменке большой котел замурован, в нем щелок заваривали. Щелок получится, если хорошее лукошко просеянной березовой золы высыпать в кипящий котел. Когда вода отстоится, зола на дне будет. Щелок мягкость воде

придает, и мыло надо немного, и любые волосы промоет. Бабы волос не стригли, и у матушки моей Василисы Мироновны две большущие косы были, она их узлом укладывала и под платком прятала. А когда в баню собиралась, в дальней комнате разбирала косы, ей сестрица моя старшая Апполинария пособляла, а уж как мыли те волосы – не знаю, только сестрица говаривала:

– Оборони Господь от таких волос, мама на полок ложится, а я их стираю да полощу.

Потом они опять уединялись, и сперва крупным, потом помельче гребнями расчесывали, ждали, пока просохнут, а уж потом заплетали. Матушка тех волос лишилась к старости, голова стала болеть, и доктор городской посоветовал волосы обрезать. Матушка долго не соглашалась, но потом папаша наш Гордей Ферапонтович свозил ее в церковь, батюшка благословил, и под плач всего дома папаша крупными овечьими ножницами обрезал обе косы. Матушка прибрала их в комод, где хранились самые сердешные ее памятки: мой усохший пупок в тряпочке, который она показывала мне в день ангела, тут же прядочки первородных волос всех детей, тоже в тряпочках и подписанные матушкиной рукой.

Про баню следно еще сказать. Половина пожаров в деревне начиналась с бани, потому что в морозы калили ее нещадно, чуть проморгал баннотоп – занялись стены, а там и все подряд. После того стали бани ладить подале от жилья и построек, уж если и полыхнет, то одна. Знамо, не с руки, и дрова и воду надо носить по узкой дорожке, пробитой в высоком снегу, да и женскому сословью особая забота, чтобы не застудиться. В предбанке все на себя не наденешь, потому завернутся в полушубок и бегом к дому, аж пимы слетают.

Когда баня была готова, женщины мыли и скоблили стены, чтобы сажей не измазаться, а потом мыли полки и пол, кидали на каменку добрый ковш воды и наглухо запирали двери. В нашей семье всегда пол банный закидывали сухой травой, дедушка припасал. Когда я спросил, зачем трава, он усмехнулся:

– Баня заведение мокрое, тут всякая тварь может расплодиться и даже дурность воздуху создать. А трава наша, родная, я ее каженное летичко собираю, видел, сколько у меня под крышей вязанок всякого разнотравья, не одну овечку можно зиму прокормить. А кинешь травку на мокрый да горячий пол – сразу в бане июль месяц. Нешто не замечал?

Дома приглашения уже ждали, и мужская половина отправлялась париться. Каждый брал заранее приготовленный веник, в теплом предбаннике сымали старые полушубки и рубахи с кальсонами, перекрестившись, отворяли дверь и начинали диканиться. Я помню, как парил деда Ферапонта, он меня стал с собой брать, когда я в года вошел. Непременно пара веников, одного ему мало, оба замочены в кадке с холодной водой, кинет на каменку полковника и на полки, развалится на спине, млеет. Сразу стал мне советы делать:

– С молодости учись двумя вениками париться, бери оберучь и обихаживай себя в вольном жару, не торопись, пар штука полезная и опасная, если в избытке. Заиняв завсегда с ног, ложись на спину и задирай ноги к самому потолку, ноги надо хорошо парить. Ты теперь уж большенькой, приучай к жару и плоть свою, опять же аккуратно, а то бывали случаи, что мужики кутаки себе прижигали напрочь, вплоть до бабьего позору. Я вот тебя поучу. Ты сперва кинь на каменку ковшичек и посиди в вольном жару, как пот хорошо прошибет, ну, потекут струйки промеж лопаток, тогда еще ковшичек. Только благословись, так и скажи: «Господи, благослови!» Ну, да ты знаешь. Теперича можно

легонько попарить сначала ноги, потом повыше, тут самая нежность и аккурат, когда все тело пройдешь, упеть ковшичек, тут уж в полную силу. Три раза должен выходить в предбанок и отдыхать, а то кровь возмутится. Тоже, слышал, случалось такое, что кровь разгонит по организму мужик, емя деваться некуда, туда-сюда – кругом заперто, а он жарит. Ну, кровь и находят слабину, кому в голову, кому в брюхо. Бывало. Ладно об этом.

Как только дедушка дождется первого пота, командует:

– Матюша, плесни на каменку немного и веники распарь. Да не суши на камнях, а в вольном жару пусть распушатся. Так, теперика давай начинай с ног, чегой-то по ночам ломить стало. Вот так, славно, ишо, ишо!

Бывало, у меня уже голову обносит, а дед кричит:

– Кто в бане крещеный, кинь на каменку, самой малости не хватат!

Конечно, я плескал ледяную воду, она тут же белым змеем взмывала к потолку, а я хлестал обоими вениками по широкой, но уже усохшей спине деда. Потом он вставал, выливал на себя ушат холодной воды, я его вперед готовил, и ложился на широкую лавку. Я успевал только голову вымыть, а дед уже лез на полку, окинув его ковшом воды из кадки, и командовал, когда и сколько надо плеснуть. Почти до последних дней он парился по три раза, не признавал мытья, кроме головы, обкатывался тремя шайками и выползал в предбанник. Там, если летом, пил чай на травах, лежал на свежих тряпицах тонкого холста, а зимой надевал кальсоны, пимные опорки и голяком шел домой. Самовар уже был на столе, постаревшую бабушку Степаниду сменила матушка Василиса Мироновна, она наливала деду чай, он отдувался и пил, потев и меняя рукотерты на сухие.

Вот куда проще процедура, чем чаепитие, а и то в каждой семье свой порядок. Самовар обычно разжигают в холодных сенках или за ветром под сараем, если летом. Как закипит, заглушку на трубу накинута и на стол. А тут уж все готово. Чайничек-заварник кипятком ополоснут и засыплют в него где индийского сбора чай, купленный на Никольской ярманке, где фруктовый из деревенской лавки, а где просто шиповник или душицу или сбор ароматных трав и цветов. Чайник непременно ставят на место заглушки на верх горячей трубы, чтоб напел настой. В это время хозяин берет в левую руку кусок сахарной головы и тыльной стороной большого ножа ударяет по нему, колет на кусочки. Вся семья смотрит, какая светящаяся полоска между ножом и сахаром вспыхнет, а откуда она берется, так никому и неведомо. Чай пьют с сахаром, то есть, кусочек сахара разводят в чашке. Там, где достаток меньше либо хозяин скуповат, пьют вприкуску, каждый от своей пайки откусывает чуток и чаем припиват. Сказывали, что пивали и вприглядку: сахар лежит посреди стола, отпил чаю – посмотрел на сахар и опять вперед. Или кусочек привязывают на ниточке над столом, один лизнул, ниточка качнулась к другому и так по кругу. Сумлеваюсь, что последние примеры из жизни, скорее, для смеха придуманы, а вот была одна старуха, которая сахаром только ободочек чашки протирала, а потом по кругу чай пила. Хотя и эта старуха, верней всего, выдумана нашими острыми на язык мужиками.

К Паске, большому Христовому празднику, первому после Великого поста, в нашем селе ставили качели, мы их называли качули. Из лесу привозили длинные и толстые жерди, вершины трех связывали и ставили пирамидой. Вверху, на стыке жердей, укрепляли матку, толстое крепкое бревно. К нему на петлях, выкованных в кузне, крепили две хорошо обработанных жердочки с надежной ступенькой. Жердочки назывались

видилины. На качули часто становились по двое, чтобы быстрее разгоняться. Наиболее отчаянные рисковали по одному, раскачиваясь так, что совершали полный оборот. Таких смельчаков было немного, и с ними никто не вставал в пару. Когда кучуля набирает размах, ее невозможно остановить, вот этим и пользовались те, кто внизу. Брала жидкий пруттик, вицу, и стегали качающихся, вопрошая: «Говори, кто невеста?», «Кто жених?». После двух-трех ударов шли признания, но не все принимались, если явная ложь – пороли сильнее. Наконец, истязаемый признавался на радость толпе и себе на горе. А еще, внучок, в Паску робить никак нельзя. В этот день только попы служат, а все другие не могли, даже собаки не лают, петух, прости Господи, курочку стороной обходит.

У меня отдельно списаны дедушкины рассказы про то, как женились и свадьбы справляли, как крестили маленьких и как хоронили покойных. Я хотел было пропустить эти листочки, но потом одумался: век не тот, народ сшевелился, отшатнулся мужик от семьи, уже баб стало можно бросать и на другой жениться, и попы венчание делать учинились по другому разу. А кто позволение дал? Господь у себя записал или иным образом учел, что Ванька венчан на Нюрке, а оне тут, на грешной земле, сами разбежались, не сошлись чем-то, и опять же в храм за господним благословением. И такие случаи были, что поп впадал в грех тоже и вторично венчал. Конечно, и в прежние времена случалось, что мужик, к предмету, вдовел, а на полатях пятеро – как без хозяйки?

Тогда и поп-батюшка давал благославение, и даже венчал со второй женой. Был даже такой случай, когда хозяйка слегла в тяжелом недуге, и жизни нет, и смерть не идет. А семья была примерная, работающая и молящая, и деток емя Господь посылал каждый год, и вот образовалось так, что в доме шесть штук ребятишек, мужик весь в работе, хоть и нанимал людей в поле. Баба совсем не встает, ребятишки не прибраны, родня прибегает, то-другое поделает, а далее чего? И вот единожды призывает жена мужа своего и говорит тихим голосом:

– Милый мой Федотушка, не дал нам Бог единой жизни, и смерти мне теперь не дает. Знать, грех какой на мне есть, скажи, коли заметил.

Он горячий слезой исходит, целует ее, хоть и красоты прежней нет и запах, дух от страшной болезни:

– Аксиныюшка, свет мой, да наравне с ангелами вижу тебя и жалею.

И тогда она ему говорит:

– Исполнишь все, как я скажу, если перед Отцом Небесным клятву свою помнишь. Марья Гаврилиха вдовая и бездетная, а ты примечал ее в молодости. Гляди мне в глаза. Марью в дом приведешь как жену, священника ко мне пришли, я все обскажу. А меня перенеси в избушку. И не перечь мне, Федотушка, только пусть она ребятишек голубит, ей зачтется.

Плачет мужик:

– Как же я при живой жене другую в дом приведу, Аксиныюшка?

– Ради маленьких, Федотушка, а помру, обвенчайся с Марией. Ей сам все скажешь, только ко мне оба не ходите, и детушек не пушай, за мной кума Алена управится.

Такое было только единожды, Мария, к чести ей сказано, благословила у батюшки, исповедала все грехи свои и пришла в дом. Аксиныя только к весне убралась, Мария с Федотом еще не троих ли прижили, и всех подняли.

Так заведено было отцами нашими, так и в святых книгах учтено: в семью только дважды Богом увиденные обращались, все остальное – блуд, не меньше того. А почему дважды? Первый раз человека крестят в святом храме, проносят пред алтарем, чтоб Господь принял чад в стадо свое, а второй уже венчанье. Дед мне об этом диктовал как раз в то время, когда я женихаться начал. Знамо дело, летом не шибко загуляшь, потому как работа, сколь солнышко отдыхало, столь и люди.

С Масленки уже в лес, надо дрова готовить, а дров, такой заведен порядок, на две зимы чтоб запас был. Дрова рубили, отчего назывался дроворуб, все топором, и с корня свалить, и на поленья разделить. Пилы тогда не знали. Правило такое: каждый запрягат лошадку в дровни, это сани такие, и должен воз дров накласть. Когда пила пришла, игрушки, а не дроворуб. Когда дрова вывезли, раскололи и в поленницы сложили, уже и на поле надо ехать, зябь боронить. Поля у каждой семьи все в кучке были, потому избу ставили и даже баню. Места эти так и назывались по родам: Поляковы избушки, Плехановские, наши Андоминские тоже. Батюшка мой Гордей Ферапонтович уже все семена привез, все у него размечено: где пшеничку будет сеять, где овес и ячмень, на масло сеяли лен, рыжик да подсолнухи, а с осени рожь между березовых колков, когда хорошо перезимует, сразу после сенокоса жать начинали и молотить. Рожь всегда в цене была, что в хозяйстве: путный хлеб для работников только ржаной стряпали, в нем силы премного; пиво делали из ржи, такое хмельное да заманчивое, что никакой водки из купеческих бочек не надо. И на ярманках рожь спрашивали, хорошие деньги давали. Дед Ферапонт все приговаривал:

– Ты, Матюша, к народу прислушивайся, в ём вся мудрость. Ученых людей много, это хорошо, а народа мудрее никто не может быть. Ученый человек долго молчит, мыслит, потом хватат перо и сочинительством свои думы вносит в письмо. Книги потом делают печатные. Я, конечно, не читал, но чует мое сердце: все, что ученый размазал по гумаге, народ уже давно высказал в трех словах или чуть боле. И все! Вот про рожь судим, а народ давно все объяснил и сказал на все времена: «Помирать собрался, а рожь сей». Вот как ты это толкуешь? А так, что рожь – главный продукт. Понял?

А как славно было сеять! Я с малых годков, как себя помню, все в поле отирался, пока дед Ферапонт не поймал за рубаху:

– Хватит, милай, сорок зорить, будем к науке приваживаться.

Сперва за бороной ходил, усвоил, потом к плужку приставили, тяжело, зато уважение другое, ты уж пахарь, а не шалопай какой-то. А в десять лет дедушка Ферапонт повесил мне на шею лукошко с овсом, лукошко маленькое, да и я не велик, дед рядом встал и велел делать, как он: ухватил горсть овса, и широко рукой повел от себя, разжимая кулак. Овес ровненько лег прямо перед ним. Он вторую горсть. Я следом, только не получается полоска, кучкой выпадают семена, к тому же пашня сырая, ножонки вязнут.

– Опять тебе от народа мудрость скажу: «Сей овес в грязь – будешь князь». Ну, в князя мы не собирались, а вот примета верная, в сырой земле овес быстро всходит и растет веселей.

Натакался и сеять, от деда не отставал, потом от отца. Матушка наша и старшие сестры тоже хорошо сеяли. Отсеялись – тут же начинали сено готовить, потому что лесная трава не то, что ни в какое сравнение с луговым сеном не идет, а сено из лесу – это и лекарство для скотины, в нем весь сбор, какой требуется. Потому такое сенцо только

малым телятам, а большим только если занемогут. Дед Ферапонт травы знал, у него веники всяких сортов были навязаны под сараем. Конь ослабел или бык, корова в молоке отказала раньше срока, овечки опаршивели и режут нещадно, по свинье супоросной синие пятна выступили – дедушка достанет свои веники и начнет отбирать по одной да по две веточки из каждого, заварит кипятком, а иной раз теплой водой зальет, постоит это зелье в тепле, и он сам начнет поить больного. Батюшка мой как-то не усвоил эту науку, а я кой-чего уловил, да вот из записей этих нахожу нужное.

Я ведь про свое любопытство к девчонкам хотел поведать, да все не к месту. Летом такая работа, что про гулянку лучше не вспоминать. Иной раз и сорвался бы сбегать за околицу, где-то гармошка, то балалайка, но батюшка остановит:

– Завтра с рассветом на неделю едем в Дикушу, ложись спать.

Дикуша – это рай земной, потому что не просто заливной луг, где травы в пояс, а еще и несколько стариц, по берегам ежевики страсть как много и рыба разная: карась, щука, налим. Дед Ферапонт улыбался извинительно: в Онежском море и в реках на Вытегре предки такую рыбу брали, что в сибирских краях и названия не знают. Но ничего, и к карасю привыкли, он парень толковый, хоть жарить, хоть в ухе, хоть вяленый или сушеный – все карась. Три рощи березовых на взгорках, а в них грузди такими деревнями растут, что на одном месте можно корзину наломать, а еще в них несколько вишневых опушек. Народ сговаривается, что, к примеру, до субботы никто ни ягодки не сорвет, пусть зреет, а в субботу утром все за вишней. Ягода крупная, сочная, новой раз из корзинки алая кровь капает.

Коль о ягоде заговорил, надо сказать и про клубнику, ее наши зовут голубяной. Ягоды этой брали по многу, сушили где только можно, в основном на крышах сараев, на широких листьях лопухов и подсолнухов. Сухую ягоду вешали в холщовых мешочках в сухом месте, а зимой запаривали и стряпали пирожки, шанежки, с чаем потребляли. И в такие дни в доме пахло, как на угожьях ягодных. Дальше смородина, ее в Мокром колке было так много, что выбирать не успевали. Еще в августе брали костянку, а ранней осенью ездили в дальние райы за клюквой и брусникой.

И чуток про грибы. Вот читаю дедовскую диктовку: в родных местах самый важный гриб был белый, а здесь стал груздь, его еще настоящим зовут. Есть и сухой гриб. Сибиряки вымачивают их в кадках, перебивают и солят. В наших местах белый сушили, а сухой – его хоть куда. Научились и наши солить, а сибиряков привадили сушить опенки, зимой в суп горсточку запустят – дух такой пойдет, словно ты на грибной полянке.

Из всех крестьянских работ самая сурьезная – это жатва. Дед Ферапонт рассказывал, что хватили горя переселенцы, когда приступили к первой жатве.

– Видишь, какое дело, Матюша, так все предусмотрено создателем нашим, что на каждую работу должна быть особая снасть. Как народ заключил: «Без снасти и вошь не убьешь». А кроме снасти надо погоду хорошую. Когда осень сухая, с поля не уходит народ, тут же где прикорнул, и опять за серп или литовку с гребелкой. А бабы следом собирают колосья в горсти, потом в снопы укладывают, а снопы те в кучи, называются суслоны. Когда все приберут, тогда снопы из суслонов грузят на телеги и везут на гумно.

Гумна устраивали толково, в стороне от деревни и близко к воде, чтобы, в случае чего, можно было спасти хоть самую малость. На гумнах снопы разбирали, раскладывали на току и цепями молотили. Когда сгребали солому, на току оставалось зерно вперемешку

с плевелами да с сорным семенем. Тогда выбирали время ветреное и веяли, деревянными лопатами, дед Ферапонт говорил, что они похожи на весла, подбрасывали зерно, а ветер относил в сторону весь мусор. Тогда только батюшка Гордей Ферапонтович определял, сколько зерна на прокорм, сколько скоту, сколько на семена, сколько можно продать. Продать – непременно, на ярманке за зерно давали железо на ободья к колесам, гвозди, топоры, пилы и другой струмент. Еще везли мануфактуру на рубахи, хотя всякую тряпицу ткали дома, и на штаны, и на рубахи.

Вот тут и отпускали меня на вечерки. На настоящие вечерки, с поцелуями, не вдруг попадешь, маленьких не брали, за совращение могли хозяина вечерки и на площади выпороть. Я уже подходил и по летам, и по росту. На первый раз я только смотрел, как молодежь развлекалась. Собрались в большом доме, хозяин отвел горницу, я сосчитал – тринадцать человек. Кто-то в карты счинился играть, на деньги, но по маленькой. Другие затеяли фантики, я сразу разобрался, что к чему. Когда стали выдавать задания, Феклуше рябенкой глаза завязали, она и задала:

– Этому фантику Матюшу Вологодского поцеловать, да не как попало, а в губы вzasос, а кроме того, с Матюшкой вместе и домой пойти после вечерки.

Я ахнул: фантик тот, утирку девичью вышитую крестиком, выхватила Дарья Заварухина, красивая девка, я все время ее примечал и на службе в церкви, и просто на улице. Глянулась она мне уже тогда, да и я, видно, тоже был на примете, оттого девка смутилась, но тут же поняла, что может выдать себя, и, подошла ко мне, зажала мою голову в руках и впилась в губы. Отпустила, засмеялась и сказала:

– Не убегай после вечерки, вместе пойдем, а то мне веры не будет в игре.

Когда вышли на улицу, девка моя оробела, куда и смелость девалась.

– Ты не подумай чего лишнего, игра такая.

Я уж тогда слово по карманам не искал, смело ответил:

– В другой раз приду, пусть тебе опять такое же закажут.

Дарья остановилась:

– Матюша, я согласна, пусть закажут, я тебя еще крепче поцелую.

Вот так решилась моя судьба. Две зимы мы еще по вечерам бегали, целовались, конечно, пытался Дарье под полушубок залезть, не оттолкнула, а только сказала:

– Я, Матюша, замуж за тебя хочу, женой тебе стать, и чтобы на свадьбе не опозориться.

Тут самое время записать в подробностях, как рассказывал дед Ферапонт про женитьбы, сватовство и свадьбы. Он захватил еще те времена, когда два друга-товарища договаривались, что буде у них парень и девка – непременно поженят, чтобы укрепить дружбу. И женили. Молодые друг дружку в глаза не видали, а им свадьба. Или, напротив, с малых лет знали, что жених и невеста, так привыкали, что свадьба и не в интерес совсем. Конечно, случались и бунты, жених и невеста такое устраивали родичам, что те от свадьбы отказывались и дружили просто так.

Потом полюбовно свадьбы игрались или по расчету, и такое случалось. Как бы ни было решено, а сватов засылали, и такие спектакли разыгрывали, что теперь и не помнит никто. Свататься приглашали людей толковых, авторитетных и говорливых. Все для вида, но соблюдалось. И жениха нахваливают, и невесту, и родителям множественные поклоны. Кончалось все застольем и обсуждением будущей свадьбы. Должон тихонько добавить,

что до свадьбы невеста себя блюла, какой бы шустрый жених не был. По старым обычаям молодых уводили спать в отдельный дом, а утром сваты гордо на видном месте примаранную девичьей кровью белое полотно, коим постель застилали.

– Оно бы, конечно, рано с тобой об этих делах речи говорить, только должен ты с юной поры, до того еще, как мужиком себя зачнешь, должен ты знать, что несешь в себе все, чего род наш накопил за века, и все это жене твоей передастся. Если, конечно, на девице женишься, на что полагаюсь, чтобы и она тоже все свое родовое тебе принесла, вот тогда и детки будут у вас крепкие и здоровые, и род наш без мусора станет продолжаться. А ежели жена уже знала мужика, то беда, горе семье, испохабит тот случай весь путный род и семью, измарат. Потому и гордились невестой–девицей, и почитали ее. А порченную прямо со свадьбы могли прогнать, во как!

Дед Ферапонт, когда про это рассказывал, хихикал, что находились толковые девки, молодость прогуляют, а после свадьбы, пока жених колупатся, над постелью приготовленному воробушке головку отвернут, вот и святость, и честность. Но это опять же в расчете на бестолкового жениха.

Венчание всегда было великим праздником, батюшка сияет, храм цветами украшен, певчие на хорах голоса пробуют, нищие в ожидании. Привезут молодых, в храм проводят, и пошла служба, пока дойдет до обмена кольцами и восклицания уставшего священника, что объявляет их мужем и женой. Из церкви выходят – цветы под ноги, чистой пшеничкой окропят молодых, а уж потом гулянка. Тут тоже премного бывает интересного. Если семьи состоятельные, то непременно учинят соревнование, кто больше денег на блин положит или в сор кинет, когда молодуху заставят избу мести, зачнут все выкупать, не свадьба, а ярманка. Мне это не любо. Проще надо и открыто, чтоб весело и песенно, да с плясом вприсяд. Я, бывало, плясун был, Матюша, никто меня не мог переплясать, балалаешники друг дружку выручают, а я один по кругу. Да... А таперика пойду за пригон, присяду, а встать не могу, того и гляди – к насту примерзнешь. Хоть на подмогу кого зови...

Вот записано про рождение ребенка, дед Ферапонт говорил, что Господь, когда увидел грехопадение первых людей Адама и Евы, в наказание положил женам всем рожать детей в муках.

– Ну, Ева, – улыбался дед, – еще та была пройда. Ведь сказано было русским языком: болтайтесь в саду, погода теплая, не Сибирь, и птички на руки садятся, и зверь не тронет. Нет, ей неймется вкусить плод древа запретный. И не только самой, но и Адамушку соблазнить, искусить. А почему? Да натура бабья такая, скажи бы ей Господь, что к вечеру надо сожрать все яблоки с дерева, она бы по противности своей натуры к ним не прикоснулась. И теперь подумай, Матюша, каково бы мы жили, человеки, в раю, где все есть, и робить не надо. Оно, на мое соображение, скучновато, но тогда я по-другому бы соображал, люди не знали денег, войн не было бы, зависти, будь она промчатна.

Ну, это я отвлекся. Про рождение ребенка. К предмету, моя Степанидушка выносила семерых, и всех родила так тихо, что и не знал никто. Родит, нижнюю юбку скинет, завернет дитя и несет:

– Вот, Ферапонтушка, Бог дал девочку. Или парня.

Отчего такое происходило? Да от того, что греха на Степушке не было никакого, она праведница была, каких нет, слова дурного от нее никто не слышал. А ведь бывали

случаи, что мается баба родами, да так и погинет. Оно, конечно, не все грешницы, были и другие причины, но Ева все-таки нехорошо сделала, что яблоко укусила и парня заставила. Я вот новой раз думаю, не оттуль ли блуд-то пошел? Ведь они не муж и жена, а как бы два предмета, еще неизвестно, чего Господь с ними дальше делать собирался, а пали в объятья и родили, не помню, кого. Э-э-э, Матюша, выходит, все мы от корня будто выблядки, не в браке рождены. Про это надо хорошенько подумать, после вернусь, доскажу.

Когда мы тут, в Сибири, обосновались, знамо дело, ребятишки шастали по лесам, потому что дикого страшного зверя не было, скот пасся без охраны, и ни единой утраты. Сказывали казаки, что иногда рысь проходит по вершинам деревьев, но чтобы на человека пала – такого не было. Вот мы и по цельному дню носились по лесу. С весны пойдет саранка, научили нас, как ее различать. Сверху только былинка с хохолком, а копнешь – луковица, да такая сладкая, что во рту вяжет. Ну ты едал, знашь. Потом медунки. Вот ты погляди, совсем крохотный цветок, а столько радости в себе накопил. Понятно, для птичек маленьких, для бабочек всяких. В природе ведь друг на дружку работают, один отдаст от себя все и погинет, а другой живет. Медунки собирали букетиком и сосали – до сих пор помню. А к тому припевка была: «Пошли девки по медунки, потеряли свои..., ну, ты сдогодался. А дальше: «Пошел парень во лесок, нашел полный туесок». Тьфу, грех творю! Потом сок березовый. Надо топориком насечки сделать, а потом палочку вставить, чтобы по ней сок в ведерко стекал. Дед Иоанн, не знаю его отчества, да тогда их и не было, потом придумали: какая береза явно на дрова пойдет, он в ней напарией до середины дырку сверлил, а в ту дырку забивал пробку, но в пробке скол делал, вот через тот скол и бежала березовка прямо ручьем. Когда обогреть начнет, в лесу попрут пучка, тоже едал, знашь. Вот погляди, дудка дудкой, а разобрался человек, что внутри съедобно.

А лук польской? Луга наши заливные, когда большая вода пройдет, успокоится и спадать начнет, вот тогда приволье. Вы и теперь не вылазьте с Колокольчиков. Какое славное имячко придумал человек для простого места, для луга. Колокольчики! И мы тоже рвали тот лук под самый корень, считалось, что так он лучше отрастет на будущий год. Набирали столько, что несли, как дрова, на руке. Шаньги, пирожки, просто толкушкой намять да сольцой присыпать – все на пользу.

Дед Иоанн, рассказывают, нашел в лесу пчел и дупло с медом тоже, неделю ждал, когда рой пойдет, собрал, и домой. А дома уже долбленка готова. Так и началась наша пасека. Это теперь стали ладить ульи из доски, у нас за двором не два ли десятка. А ты наблюдал за пчелой? Э-э, дурень: самое мудрое существо. Вот сяду затемно у улья, жду, даже дышу в другую сторону. Вот вылезит первая, это как бы разведка, осмотрелась и назад, погоду, наверно, доложила, и пошли они одна за одной. Дед Иоанн рассказывал, что в первые годы, когда еще ни у кого не было ульев, он в пяти верстах от дома на клевере пчел увидал. Конечно, могли быть и дикие, но дед Иоанн заявил:

– Наши пчелы, и направились они прямо к деревне, а не в леса. А пчела, это я узнал у толковых людей, летит по прямой. Ты видишь, в какую глушь забираются и находят дом свой. Или в улье посмотри: порядок, как у доброй хозяйки, есть специальные пчелки, которые весь мусор выносят, я сам видел. А еще есть у них самая главная царица, она всем командует, но есть и трутни, это такие большие пчелы, которые навроде мужиков, ну, тебе не надо знать. Дак они после всего этих мужиков насмерть заедают. Вообще,

Матюша, женское сословие для разума не подвластное, будь ты трижды умным, а баба, если захочет, все равно проведет. Ты давай поближе к батюшке, медок – дело тонкое, шибко много знать надо про пчелу: и как она на погоду, и как лучше ей семя рассеять, и как мед взять, и сколько пчелкам оставить, чтобы в зиму семья с голода не пропала. И знай: нет ничего в пчелином деле, что бы прахом шло. Даже замор случится в улье, пчел вытряхнут, высушат и настои делают на самогонке, от многих болезней помогает. Я уж не говорю про медовуху, потому что ты не пробовал и все равно не поймешь. А ишо народ приметил: нет другой такой работы, после которой руки стали бы чище, чем до работы. Это со пчелой. Потом ишо чего запишем.

Вот ты муравейники видел, не пробовал посчитать, сколько там муравьев? Это только сверху, а если хоть чуть колупнуть, их там гим гимзит, ну, не счесть, сколь много. И все делом заняты, я единожды с обеда до темноты просидел рядом на пенке, ну, какие они работающие ребятишки, диву даешься. Словили где-то гусеницу, в твой мизинец толщиной, и волокут ее домой, да так споро, словно десятник командует или кто. Стало темнеть – все к муравейнику, каждый своей дорожкой. Присмотрелся – сторожа стоят, вдруг чужой забредет – даже ночевать не пустят. Наглядишься на сии чудеса и подумаешь: «Велика твоя сила, Господи, велик ты в творениях твоих, и едва ли человек есть лучшее из созданного тобой!».

– Ты, Матюша, заметил: как только на стол ставят жареную утку или гуся, а то и просто куриную лапшу, сразу кто-то из старших договариваются, кто с кем будет ломать ельчик. Есть такая косточка, как вилы двухрожковые, находят ее и ломают, это как бы уговор. Надо так подать напарнику чего-ни nabудь в руки, чтобы он принял, а ты в то время кричишь: «Ельчик!». Все, дело сделано, выигрыш.

– А об чем спорят?

– Да по-разному. У нас в дому нет привычки спорить на деньги или на вино, упаси Господь, а иные спорят. Забылся, взял в руки поданное – ставь магарыч.

– А если не забылся, а помнишь, тогда как?

– А так и кричи, что помнишь. И все. А еще спорят об теребачке.

– Это кто такая?

– Теребачка-то? Правило загодя обговаривается, кто во что горазд, к предмету, нельзя садиться, если не сказал, что помнишь, либо нельзя какое-то слово молвить. А ошибся, проиграл – теребачка, за чупрыну тебя возьмут и пару раз дернут. Ладно, если полюдски, а ведь бывает и со зла, так горсть волосьев и выдернет. Это, конечно, не славно, но знай, с кем споришь.

Дед Ферапонт еще сказывал про покойных людей и что это такое есть смерть и как ране люди к тому относились. В родных краях, он вспоминал, покойных не оплакивали, но не от того, что не жалко, а потому что так было предписано, и так батюшка в церкви учил, что умерло тело человека, а что в нем самое главное? Знамо дело, душа, об ей молились и за спасение души терпели всякие телесные притеснения. Душа, дескать, жива, и, если жил человек праведно, то душа через сорок дней попадет в рай. Потому надо радоваться, что душа спаслась, значит, при втором пришествии Спасителя нашего Иисуса Христа воспрянет покойный и вновь станет жить. Путано, конечно, потому науку эту народ не принял, и каждого умершего жалеть стали. Ну, скажи на милость, разве мать пустится в пляс, если дите в гробике на столе, или утерпит ли слез девица красная,

прощаясь с батюшкой свои умершим? Да ревел народ, и хоть ты ему тысячу слов про рай скажи, ему нужен живой дитенок или живой батюшка, вот тут, на земле.

Но скажу тебе, что были семьи, где специально нанимали плакальщиц, вот оне и причитали над покойным: «Да куда же ты собрался? Да на кого ты нас покинул?». Ладно, если хоронят кого из молодых, а когда во гробе человек как бы на своем месте, чего по нем голосить? Вот, Матюша, помру – слезы не пусти, голоса плаксивого не подай. Чтoб не слышал! Я пожил свое, а ты в мою стать, должен ишо и пережить меня, грешного. А как приду к Господу на суд, и спросит он, праведной жизнью жил либо нарушал заповеди. И скажу смиренно, мол, Господь мой, ты всю мою жизнь видел и суди по своим законам. Господь улыбнется и скажет:

– Апостол Петр, отвори врата рая,пусти раба моего Ферапонта, он достоин!

Наши ребята пешим походом уходили с берега Онежского от шведа отбиваться, так передавалось, что с великими трудами добрался до нас человек и кинул клич. Вернулись года через три, много чего странного и срамного говорили об европейских краях, но за одно хвалили нехристей: могилки свои, они кладбищем называли, блюли во всем аккурате. С тех пор и наши стали ямы копать в рядок, и куток каждая семья свой заимела. Дед в родительский день водил меня на кладбище, показывал, где кто из наших сродственников зарыт, а батюшка и матушка его рядышком, столбиками место обозначено для всей породы нашей Андоминской. Кресты надобно ставить восьмиконечные, а не немецкие и иных земель, даже грузинских. Дед пояснял, что всякий крест Христов, но православный только вот эдакой, о восьми концах.

– А ты пошто перед Крещением Христовым над всякими дверями простой крестик углем ставишь? – спросил я деда. Так оно и было, вечером дед обходил все окна и двери и сверху рисовал маленький крестик, а потом шел во двор, и крестил двери пригона, овчарни, конюшни. Дед недовольно крякал и отвечал:

– Сей крестик малый ставлю оттого, чтобы нечисть всякая не лезла. У мелкого беса сила махонькая, ему и такого крестика довольно, чтобы одуматься и глупостей не наделать.

Много мне пришлось писать про поход сибиряков на французов, потому что дед Ферапонт, хоть и в годах был, но пошел в ополчение и попал в Тобольский пехотный полк.

– Матюша, война всегда штука страшная, но только нас собирать стали раньше, мы в полку два года военное ремесло усваивали. Как штыком колоть, как ножом супротивника уничтожить. Столько мы мешков дерюжных искололи – страсть. Потом выдали нам ружья, это сурьезная штука. Мера пороха, пуля – и в бой. В бою тоже встанешь, как истукан, и со своей меркой, как приказчик у Петра Игнатьевича в лавке, видал, как он ловчит. Потому, если уж бой, то вся надежда на штык. Да, были у нас стрелки с оружием, которое называлось штуцером, их даже и в бою отдельно ставили, из штуцера можно за три сотни шагов попасть в человека.

А потом повели нас на запад. Пеший переход для солдата и в тягость, и в удовольствие, особенно летом. Народишко нас встречал с радостью, куда идем, кого бить – никто ни сном, ни духом. Поговаривали, что турка, но вроде с турком уже замирение, потом про поляков, это тот еще народишко, можно бы и повоевать. Но идем, в городах стояли неделями, отдыхали, строем ходили перед народом. Дамы в каретах платочками

машут, а ты, христовый, женщину другой год не видишь... Ты, Матюша, про это не пиши. А, уже записал? Ну, оставь, оставь.

Кто-то сказал, что пока мы по Рассее шляемся, француз к Москве подходит. Пришли мы к концу лета, в июле месяце. Погода – только сено косить да хлеб молотить. А тут с ружьем в обнимку и на каше с конопляным маслом. Опять нас повели, прошли деревню, Бородина называется. Встали в ложбине и получили приказ: вот тут стоять и не пустить француза на эту дорогу либо помереть. Большие чины приезжали верхами и в каретах, призывали:

– Сибиряки! Не посраим славу русской армии, не пустим в Москву этого, забыл... Наполеона Бонопартова.

Ну, утром и началось. Мимо нас конница проскакала, нам видать, как по ей, христовой, пушки вдарили, да в самую гущу. Развернулись робята, а те вдругорядь. И протащились мимо побитые и израненные, меньше половины. Я все коннице завидовал, красавцы, когда гарцуют на плацу. А тут посмотрел: нет, брат, ничего доброго.

А вот и на нас прут пешим строем французы, почему-то хоругвь тащат, штук десять. Потом объяснили, что знамена ихние. Ну, встретили, раз пришли, по два выстрела сделали, и в штыковую. Матюша, кровь на мне человек многих, потому как колот во все стороны, останавливаться нельзя, иначе затопчут. Этак мы часа два где с молитвой, где с матерком. Отступил француз. Нас построили и повели батарею нашу охранять. И правильно сделали, потому как только мы подошли, налетели всадники, а в шлеме конский хвост. Отчаянные робята, хоть и французы, но мы отбились, а пушкари в это время свое дело работали. Когда баталия закончилась, подъехал чин и спасибо сказал за смелость. А уже на другой день пуля пробила мне правую руку, когда лекарь осмотрел, сказал, что кость не задета, а мясо нарастет. И выдал мне гумагу, по которой отправился я домой. Вот так четыре года не пахал и не сеял. За десять верст зачуял родные места, слезьми уливался, не шел, а летел.

Я еще совсем малый был, а помню, как весной мы всей семьей ходили на кладбище, и после молитвы в маленькие ямки осторожно укладывали крохотные сосновые веточки с корешками, а другие люди везли из своих полусадилов сирень, черемуху и высаживали у могил своих родственников. А летом общество наняло несколько мужиков, и они вырыли вокруг кладбища глубокий ров, чтобы скотина не блудила и не выворачивала кресты, как пояснил дед Ферапонт. Мы с ним целый день провели на кладбище, дед принес с собой лопату и изредка спускался в канаву, выбрасывал наверх несколько горстей сухой и крепкой глины.

– После, Матюша, как меня зароят, ты станешь приходить ко мне в гости, и будешь вспоминать, что и сосны мы с тобой садили, и канаву рыли. Сосны будут богатые, окладистые, шумные, а кусточки эти каждую весну столько ароматов напустят, что, к предмету, в Троицу придешь ты, а тут не кладбище, а праздник.

Правду сказал дед Ферапонт, сосны разрослись, шумят грозно, от черемухи цвета весело и красиво, а сосны немножко страх нагоняют, да еще ворон поселился, а эта птица боговой никогда не была. Однако, чему дивиться? Где смерть, там есть ли место для веселья и радости? Уместно ли над могилой родного человека вдруг засмеяться? Не знаю, грех это и неуважительное отношение, подлежит осуждению.

– Ты, Матюша, хоть и домовитый, а все же на улицу ходишь с ордой в игры балуетесь. Я тебе скажу, в какие игры мы играли. Самое главное – прятки, а перед тем считалки. Мы считали «На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной – кто ты будешь такой?». А ишо было: «Ата-баты, шли солдаты, аты-баты – на базар. Аты-баты – што купили? Аты-баты – самовар. Аты-баты – а какой он? Аты-баты – золотой!». Потом стали бабки, скота много было, косточек наберем, в ряд поставим, и специальной железной плиткой надо этот ряд сбить. До тонкостей не помню, но игра шибко интересная, ну, ты же знашь. Так и пропиши. А вот: мячик катали из коровьей линьки, бросят его вверх, надо поймать, чтобы выиграть. А тот, кто кидал, говорил: «На кого Бог нанесет!». Или идешь ты к ребятам, а в кармане сушеные паренки морковные. Ты восклицаешь: «Ком-кому?». И все отвечают: «Мне одному». А раздавал всем. Что это было? Да просто забава...

Надобно сказать и о пище нашей, о которой дед Ферапонт столь азартно излагал, что я слюнками давился, так ловил запахи, так понимал вкусы той еды. Прежде всего, указывал дед, еда никогда не считалась первым делом, на первом месте всегда была работа. А вот когда наработаешься, тогда и пища другой вкус имеет. В зимнее время никогда не садились за стол без щей или супа. Вот, опять тороплюсь, потому забываю главное: перед тем, как сесть за стол, все молились. Молитву обычно читал дед Ферапонт:

– Христе Боже, благослови ястие и питие рабам твоим, яко свят еси, всегда, ныне и присно и во веки веков.

Потом чинно садились, за ложку не хватался, кому как вздумалось. Все степенно. Дедушка отламывает кусок ржаного хлеба, берет свою деревянную ложку, легонько крестит ее, отгоняет жир от берега большого блюда со своей стороны и черпает сверху, под ложку подставляет кусочек хлеба, чтобы на стол не капать, аккуратно дует на ложку и тихонько отпивает жижку. Тогда все принимаются, но спокойно, чтобы ложки в блюде не женить, то есть, не цепляться. Блюдо большое, но бывало, что матушка добавляла две-три поварешки. Мясо в супе тоже было рассчитано на всех, кусочки однаки, потому обид быть не может.

Случались и конфузные происшествия. В одной семье свекор, хозяин, то есть, недолюбливал невестку. И вот, зимой дело было, ставит она на стол большое блюдо наваристых штей со свиной. А свинина жирная, жирком верх подернулся, и пар не идет. Свекор ложку на стол бросил:

– Што ты мне холодные шти ставишь?

Девка испугалась:

– Как холодные, только с огня сняла?!

А сама хватъ полную ложку штей и все во рту сварила. Конечно, мужик тот нехороший человек, ты не люби невестку, это твоя правда, только изгаляться над человеком не можно. Да и над скотиной тоже так же, если по-человечьи...

Изо стола не могли выскочить, пока все трапезу не закончат, а потом дедушка Ферапонт встанет, повернется к иконостасу и, трижды перекрестившись, пропоет, и мы все следом:

– Благодарим тебя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных благ, не лиши нас и небесного твоего царства, но яко посреди учеников твоих пришел еси, Спаси, мир дай им, приди к нам и спаси нас!

Я уже большенький был, когда отец ездил по решению схода на губернский крестьянский сбор, там давали богатый обед, и батюшка привез большую коробку с посудой, сказал матушке:

– Отныне будем каждый из своей тарелки есть, так требуется по нынешним временам.

– Отец, дак ведь своя семья!

– И что с того? Нет, мать, привыкай.

Вот я говорил о супе. Суп – это когда картошка с крупой какой-нибудь и с мясом, конечно, сварены. На топленом свином сале матушка обжаривала лук, иногда с морковкой, а мне больше глянулся суп, подбитый обжаренной мукой. Если суп куриный, то непременно подбивали его взбитыми яйцами.

Щи же варились с капустой и другим овощем, томились в вольном печном жару, отчего делались красными и вкусными. Щи полагалось убелять сметаной, тут каждый добавлял, сколько хотел. И суп, и щи должны быть густыми, потому что в воде силы немного, а ели для того, чтобы работать, как следно быть.

Мясо в нашей семье не выводилось, и готовила его матушка то с картошкой, то с капустой, иногда просто жарила небольшие кусочки в сковороде. На воскресенье часто лепили пельмени. Тяжелую мясорубку батюшка привез из города с ярманки. В пельмени добавляли лук, а еще для забавы в один пельмень кто-то из старших закладывал уголек.

Попал тебе такой пельмень – скрыть невозможно, уголь хрустнет, но должно проглотить. Договоры бывали разные, например, съевший пельмень с углем освобождался от какой-то работы, или, напротив, обязан был всю неделю возить воду с речки для скота на санях в трех бочках. Конечно, если деду или матушке выпадало, то просто повеселились и без всяких заданий.

Еще вот о студне. Студень варили в охотку, он едой не считался, а как бы прибавка. Брались лытки свиные и скотские, на огне обрабатывались от шерсти и щетины, ошпаривались и гоились так, что были как игрушки. Потом уши свиные тоже гоились. Брали большой казан, чтобы кости не рубить, не славно, когда в студне острая косточка и тебе в небо воткнется. На любителя можно добавить куски мяса, но наши так не делали. Все это долго варилось, соль – кому сколь глянется, а приправа потом. Когда все упрело, варево остужают, обирают мясо от костей, сухожилия и прочее, потом в корытце рубят. Корытце небольшое, внутри полукругом, сечка по этому размеру, измельчили, по посудинам разложили и жижкой той заливают. Туда же чесночок, луковочку, горох перцовый, от лавра листик. И в прохладное место, лучше в погреб.

Погреб у нас был большой и холодный, зимой всякая овощ сохранялась, а летом молоко по два дня не скисалось, бывало, пошлют за чем – минутки лишней не удержишься. Был в погребе отдельный сусек, куда весной лед спускали, укутают его, как ребенка, а внутри мясо сохраняется от зимних забоев, на всю посевную хватало. Когда студень схватится, его режут хрушками ломтями и на плоском блюде ставят на стол. Берешь ломоть в ложку, а он трясется весь, а внутри кусочки чеснока и лук полумесяцем. Вкуснятина.

Особо о хлебе. Горе той семье, где хозяйка не умеет хлебы стряпать. Хлеб всегда был самым главным продуктом, в Сибири даже пельмени с хлебом едят, одни блины разве без прикуски. Я сам наблюдал, как матушка квашню заводила. На полке стояла сельница,

большое деревянное корыто, выдолбленное батюшкой из толстого дерева. В сельнице мука. Если матушка видит, что маловато будет, пошлет кого-то в амбар с лукошком, принесут. Бывала квашня ржаная, бывала пшеничного помола, а еще бывала на праздники крупчатка, особо мелкая мука, ее еще сеянкой звали. Эта только на сдобу. Насеяла матушка муки, сколь надо, ставит закваску. Для этого у нее в квашне кусочек теста оставлен. Размочит его, мучкой приправит, и в тепло, на печь к чувалу либо прямо в печурку.

Опять объяснять надо, потому как сейчас делают уже по-иному. Раньше русские печи били из красной глины, были такие мастера, что и своды били, и стояли они, сколь дом простоит. Глина материал мягкий, а после сбоя плотный делается и терпеливый. Передняя часть печи для хозяйки, называлось цело. Тут шесток, как площадка перед печью, посредине обломок зеркала обмазывали, это в бедных семьях, где большого зеркала не было. В cele делались два полукруглых углубления, в них всегда тепло и сухо. Можно серянки хранить, рукавички засунуть подсушить, там же и лучинки строганные лежали, когда керосина не было, зимой ужинали при лучине. Воткнут ее посреди стола, кто-то отгоревшие угольки снимает. Все видно, ешь на здоровье. А рано утром матушка сперва лучинку зажигала, а потом печь растапливала. Дрова в печь не кидали как попало, а на лопате подавали и укладывали клеточкой, чтобы горели лучше, но это еще с вечера.

Дальше про хлеб. На этой закваске матушка замешивает тесто в квашне. Квашня делалась круглая, как небольшая бочка, сверху две ручки, две дощечки пропущены повыше и в них отверстия вырезаны под руки стряпухе. И начинает квашня гулять, бродить, в избе дух кисленький, приятный. Я сплю на полатах и могу посмотреть. Матушка оставит квашню и приляжет, но не долго. Тесто прет из квашни, надо его промешивать, и так несколько раз. Только матушка и знает, когда тесто можно вывалить в сельницу и наминать его, уплотнять, и тоже не раз. Опять же наступает время, когда матушка начинает булки или калачи готовить. Отрежет кусок теста, намнет его как следно быть, потом укладывают на широкие железные листы, все займет, и залавок в кути, и стол. Хлеб должен вытронуться, еще говорят – подняться. Вот в это время не дай Бог тебе проснуться и на двор помочиться бечь, матушка цикнет:

– Тихохонько дверью-то, а то хлеб упадет.

Я всегда хихикал, когда проснувшийся батюшка вдруг начнет чихать, да так громко, что матушка бежит в комнаты и выводит его на крыльцо. Считалось, что, если в это время случится какой-то громкий звук, булки осядут и хлеб «не удался». Отдельно на широких плашках стоят булки, которые будут выпекаться на печном поду. Когда дрова прогорели, и печь нагрелась, сперва в чугунах и горшках суп варится и каши, или мясо в жаровне. Для хлеба печь освобождается, матушка гусиным крылом под печной выметет и садит с широкой лопаты булки и листы с калачами. Печь прикроет заслонкой, но поглядывают, чтобы не жарко было. Вот тогда такой сладкий дух пойдет по всему дому, а через открытый чувал и на улицу, выйди на дорогу, и сразу скажешь, в каком доме сегодня хлебы пекут.

У нас всегда был самый вкусный хлеб, бабы приходили, завидовали, хвалили матушку, а она потом улыбалась:

– Та же мучка, да другие ручки.

И моя Дарьюшка от матушки все переняла, бывало, только та зашевелилась в кути, Дарьюшка обнимет меня крепко, поцелует и прямо на рубаху широкое домашнее платье наденет, умоет лицо и руки под рукомойником и к матушке:

– Помогу вам чего, и сама поучусь.

– Доченька, шла бы ты в постель к мужу своему, на утренней зорьке ох как сладко спится с сердешным. Правду я говорю?

– Святая правда, матушка, только я тоже хочу путней хозяйкой быть, и чтобы муж мною гордился перед товарищами своими. Я ему не сухую корочку в дорогу положу, а пирожок тепленький, да калач мягкий.

Я вон какую жизнь прожил, а не приходилось ни самому зрить, ни от добрых людей слышать, чтобы свекровка так сноху любила и сноха чтобы чужую женщину при живой-то матери матушкой родимой звала, даже при чужих людях.

Вот писаны тут еще, какие удивительные штуки наши бабы умудрялись из ничего изготовить. Возьмем кулагу, разобраться – проще репы пареной, а какой вкус и какая пользительность. Берут лукошко ржаной муки, кипятком заваривают и дают постоять, чтоб остыло, потом заквашивают обыкновенной квасной гущей, какая в любом доме есть. Тут дают опять постоять, с вечера до утра. Утром опять кипятком разводят, кто как любит. Дед Ферапонт, к предмету, любил густую кулагу, чтобы ложка стояла. А иные ее пьют, такая жидкая. Когда в русской печке весь жар загребли, корчагу с кулагой ставят в вольный жар, а к вечеру уже готова. И сладка, и кисленька, и ядреность в ней есть – любого кушанье.

Еще вот про сладости. В старые-то годы вообще никакого сахара не было, а организм сладкого требует. Вот и натакались наши женщины сусло гнать. Сначала рожь чистую замачивают теплой водой, а когда она пропитается, выкладывают ровненько на широкие доски. Рожь быстро росточки даст. Потом ее солодят, держат в тепле день-другой, она сладкая делается, тут ее в корчагу и вполовину почти разбавляют ржаной мукой, а потом в печь, в вольный жар. А корчага та не простая, в самом низу у донышка дырка есть, и она пробкой заткнута. Когда хозяйка видит, что сусло готово, достает корчагу, ставит на залавок, и под дырку другую посудину. Вынула пробку, сусло и потекло: янтарное, дух такой, что слюной давишься, течет долго, а когда все вышло, отходы поросяткам, они это дело шибко любили. А сусло – куда хошь, и ложкой ухватишь, и хлебушком помакать.

А какие квасы ядреные делали наши бабы, в нос шибает, а пить приятно. И пиво ладили хмельное, и все хлебное, свое.

Матушка наша, когда поста нет, молочных ососков, поросенок махоньких любила опять же в вольном жару русской печки запекать с гречневой кашей и коровьим маслом. Моя Дарьюшка тоже умела, а вот снохи и дочери не сподобились, ни одна ни разичку не пригласила:

– Батюшка, завтра ососка стану печь, дак ты приходи.

Нет, не умеют. Боюсь, что так и растратим все умение дедов и прадедов своих.

В посты питание особое, без мяса, без молока, только никто от того не прятался, а жили как жили и робили так же. Разве пост только в еде? С едой беды не было, потому как в запасах всегда было всего: рыба соленая, копченая, сухая; грибы соленые и сушеные; ягода всякая и во всех мыслимых видах; масло постное конопляное, льняное, рыжиковое,

из подсолнухов; а еще сусло, солод, мука всякая, картошка и овощ разный и тоже и в солонине, и живьем в погребе сохраняется. Да мы и не замечали, что еда стала хуже или иного вкуса. Благословясь, все вкусно и для души, и все съедалось, одни оторонки оставались. Зато после поста всегда устраивали праздник, с большой молитвой и смиренным кушанием всего, чего душа возжелает.

И посты блюли, Матюша, и гулять умели буйно да весело. Акромя свадьбы за столы садились по большим праздникам после церковной службы. Подавали пиво ржаное, медовуху, еды всякой должно быть на столе. Пьяных не бывало, так, навеселе. Я первый разик увидел шибко пьяного, когда на ярманку приехал. Так и понял, что бес влез в человека и блажет. Страшно смотреть, кто-то из крепких мужиков подошел к пьянице и крест с шеи сорвал. Сразу легче стало. В гости ходили по родству и по дружбе. Деревня большая, никто ни с кем не ругался и не спорил, а в кампанию незван не пойдешь. И угощали от всего сердца. А присказку эту, мол, кума, ешь девяту шанежку, я ведь не считаю, придумали, сроду такого в православном народе быть не могло.

Обидно, надо тебе признаться, внучок, народ наш не весь однак, не все люди работащи, были, да и таперика есть, кто зорьку не ждет, кто любит попотягаться, ленивые, одним словом. Я все себе загадку задавал: откуда они взялись? Ведь робить, чтобы семью кормить, чтобы чего-то иметь в доме и в хозяйстве – это же самое простое понятие в жизни. Ан нет! Не хочет робить. Новой раз зову:

– Ананей, пособи рожь жать, на всю зиму хлебом обеспечу.

А он в ответ:

– Благодарствую, дяденька Ферапонт, мы, как птички небесные, не сеем и не пашем, а сыты бываем.

Стыжу его:

– Ну, соберешь ты картошки пять корзин, тебе же с семьей не хватит на зиму.

– Хватит, дяденька, еще и останется, а то, что останется, тоже съедим, да еще и не хватит!

Видал ты его такого безалаберного и бесстыжего? И куды с ним? А ведь жили, мы же и прикармливали, куды денешься. Вот порода, видно, какая-то веточка от русского человека в сторону вильнула, без дьявола тут не обошлось, это, спаси Господи, сушая правда.

Дедушка Ферапонт веры Христовой был такой крепкий, что скажи ему, что надо за Бога голову на плаху положить – даже думать не станет, шапку скинет и густой бородой упрется в колоду: руби, палач! Это я почему знаю? Сам дедушка говорил. Еще учил, что русскому человеку иначе нельзя, столько у него врагов по белому свету, что погибель ждет, то есть, дьявол ждет момента, чтобы русский человек в вере хоть чуточку усомнился, и тогда ему конец. Вот и стал он хлопотать, когда на новое место пришли, что надо храм строить непременно. Общество его снарядило и отправило в Тобольск ко Владыке Тобольскому и Сибирскому, звали его Варлаам. Тот благословил и в тот же год человека прислал, мастера. Сперва место освятили в самом центре деревни, водружальный крест поставили, а потом начали яму копать под основание, глину подходящую нашли, стали кирпич бить и обжигать тут же. Вся деревня работала, даже ребятишкам дело сыщут. Дедушку старостой избрали, и оставил он все хозяйство на сынов своих, а сам подался по округе, собирать деньги на строительство. Мастер

присланный такие деньги заломил, что в деревне столько отродясь не бывало, но городские церкви давали, и купцы давали, кто скрытно, чтоб без огласки, а кто требовал, чтобы имя и звание было отлито на колоколах.

Свои крестьяне тоже раскошались, несли, да и немало. Еще много ушло яиц куричьих, потому что в раствор надо было добавлять. Дедушка говорил, что шелуха от яиц под сапогами хрустела.

Дед Ферапонт все учитывал, деньги хранил в железном ящике, а мастеру выдавал под расписку при двух свидетелях. Три года строили, да год богомазы картины рисовали и иконы. А потом и колокола привезли, по снегу, на широких санях, шесть лошадей цугом запряжены были. Дед Ферапонт говорил, что колокола подымали на веревках и ременных вожжах, с молитвой, мужики на связанных лестницах с двух сторон поправляли, укрепили большой колокол в пятьдесят пудов по центру необхватного листовенного бревна, а с мелкими уже проще было. И аккуратно в Троицу Владыка приехал, а у нас разлив, большая вода пришла, еще не успокоилась, то тут, то там буруны. Везли его на большой лодке, да две рядом на всякий случай. А Владыка в сурьезных годах, как сел на лавку, так и не пошевелился, все молитву читал. Он еще на берегу сказал:

– Не пугайтесь, дети мои, Господь не попустится, мы же на святое дело едем, он нас и охранит.

Батюшка иерей Фока уже не два ли года к тому времени в деревне жил, певчих набрал, пасаломщиков, пономарей. И на торжественном молебне певчие так грянули: «Господи, слава Тебе!», что Владыка прослезился.

Дед Ферапонт пал Владыке в ноги:

– Владыка Варлаам, благословение твое я исполнил, как мог, а теперь освободи меня от ноши сей, ибо я крестьянское свое хозяйство совсем запустил, а раба более верного у Господа до самой моей кончины не будет.

Владыка поднял деда с колен и сам встал перед ним. Мир ахнул.

– Не я, а ты тут хозяин, и не волен я давать тебе указания. Господь сам строит храмы, только руками людей своих, и счастлив тот, на кого падет этот выбор. И ты, раб Божий Ферапонт, снискал себе место у трона Царя Нашего Небесного среди других верных детей его.

Дедушка всегда плакал при этих словах, я только потом понял, что со временем забылось имя устроителя храма, и дедушка ревновал всех служителей церкви, кто ходит в ней хозяином, кто касается ее стен и ее икон.

Еще дед рассуждал:

– Матюша, много чего хрупкого на свете, вот хрустальную чашу купец Назар Наумович привез, а приказчик, подлец, пьян, аки свинья, за чашу ухватился, да на ногах-то не устоял, рухнул. И чаша та в мелки дребезги. И в каждом человеке есть такая чаша, только название ей другое, совесть она зовется, запомни это. Если сия чаша хоть чуточку треснула, уже никаким клестером ты ее не склеишь. Есть единый способ сохранить в душе чашу совести – это вера в Господа нашего Иисуса Христа. Гляди, ежели вера в одном человеке разжижла, то его беда, а если целый народ от веры отшатнется – гибель тому народу. Таких случаев в Библии описано множество. Ну, это ты потом поймешь.

Вот этот рассказ дедушки Ферапонда даже переписывать страшно, когда он мне это рассказал в те годы, когда я парнишкой был и в амбарную книгу заносил наши разговоры,

рассказал и ушел, а я один остался, и писать было жутко. А говорил он, что в ночь на Рождество Христово стоял он в храме, им же построенным, и молился истово, потому что со строительством храма вера в нем вовсе окрепла. И все вокруг молятся исправно, и крест кладут и поклоны бьют, как положено по уставу. Когда запели «Христос рождается!», дедушка пал на колени и чуть сознания не лишился, потому что видит, на полу не ноги человеческие, а копыта, и копыта те грязные, друг об дружку шоркаются, и грязью уже весь пол церкви загажен. Я сразу-то ничего не понял, и спрашиваю:

– Дедушка Ферапонт, откуда же в храме скотские копыта?

А он отвечает:

– Вот и я так сперва подумал, а потом понял: Господь открыл мне глаза и показал, кто воистину в храме стоит. Люди, знамо, но веры-то в них ни на грош нету, так, стоят, лбы крестят, конца службы ждут. Вот дьявол-то и пролазит в телесное человеческое состояние и к душе, к душе тянется, тело ему не надо. А уж коли копытцами прихожане, не все, конечно, застучали, стало быть, добился своего сатана, в души многих проник. Вот тогда и обратился я к миру с просьбой одновременно после трех дней сухого поста, когда маковой росинки во рту не должно быть, пойти на исповедь, и клятвенно Господа заверить, что ни одной воскресной службы не пропустим, чтобы не завелась у нас в селе чертовщина, и не погибли мы все в геенне и тартаре. Народ меня одобрил, может, тем и спаслись. А соседняя деревня тем годом выгорела дотла.

Вот и думай. А еще вот что, внучок, я тебе особо скажу. За мою жизнь многие наши ребята уходили служить в армию. Большое горе для семьи, все-таки кормильца забирают, правда, не последнего, всегда считали, что в доме еще есть мужики. Бывало и ворочались, но уже подержанные, здоровья нет, а то и израненный весь, только и радости, что дома помер. Приходили и по ранению, тогда лечили и жил человек мирной жизнью, но, Матюша, уже другой человек. Если пришлось в живого человека штыком колоть и видеть, как из него душа выпрастывается, после человеком оставаться не можно. Я так думаю. И видел таких ребят. Война – дьяволом подsunутая штучка. Отчего цари да султаны воюют? За землю, а на земле народишко, а в земле камушки да золотые слитки. Вот бес и терзат, султан ночей не спит, в поход надо. А царю нашему что остается? Кликнет народ, пошли, ребята, султана воевать. Вот тебе еще жить да жить, и увидишь ты на своем веку много всего, только войны бы тебе избежать. Я хоть и бывал, Господь призвал, но, Матюша, быка колешь, а у самого сердце кровью исходит, а там люди. Сказывают, бывают народы черные, как головешки, и ростом в две головы выше, силы небывалой. Говорил один солдат, что такого можно только из фузеи застрелить, и вот уронили его и все сбежались: диво же! А из грудины черная кровь так и хлещет. Страшные времена наступают, Матюша, так что молись, Господь для того и пришел, чтобы за нас постоять.

Вот переписываю листочки, что дедушка Ферапонт наговорил, и своего многое вспомнилось, охота поделиться и нашей жизнью. Сибирь – она Господом создана для людей, потому не сразу ее и разоблачили большие народы, а малые жили тут, как дети. Мне довелось в дальней поездке повидать вогулов да остяков – ну дети, чистые дети. А когда серьезный народ пришел, тут и хлеба стали расти, и мясо вывозили на ярмонки, а какое масло коровье бьют на наших маслобойнях □ нигде такого не сыщешь, ко столу своего Государя и, сказывают, англичка королева без нашего масла за стол не садится,

капризничают. А вкус масла особый оттого, что травы у нас отдельные, нигде нету таких, они и вкус придают, и запах манящий.

Несколько листочков еще осталось, это дедушка рассказывал про свои края, что помнил. Тоже, верно, земля знаменитая, но суровая даже супротив Сибири, промысел один – рыба, а море опасная штука. Конечно, хотелось бы хоть одним глазком глянуть на землю пращуров...

Писано октября 25 дня 1917 года от Рождества Христова.

Приписка от Андоминой М. П.

Когда я уже собралась отправлять Вам эту рукопись, вся наша большая семья собралась, и решили мы пригласить Вас к нам в гости, вместе отметить 250 лет с той поры, как предки наши ушли от Онежского озера, которое они называли морем. Дело в том, что в книгах Матвея Гордеевича нашлась бумага от Вытегорской земельной управы и там дата: 1763 год.

К сему Андомина М. П.

... и про любовь

Белое платье

Рассказ

Ах, какое белое платье, такое белое, что глазам больно, и не бывает в нашем клубе таких белых платьев, и как оно кружится в такт своенравной музыке нашего баяниста Вити Бодри, Бодренького, таких баянистов больше нет, хоть весь сельсовет объезжай или даже весь район. Витина музыка сговорилась с белым платьем, и уже все другие расселись по угольям, и плыло только это платье, за которым Никита заметил тщедушную фигурку Лени Ермохина, лучшего из танцоров деревни, но тут он оказался на подхвате и только легонько придерживал крепкую фигуру девушки, наслаждавшуюся танцем и заставляющую любоваться ею. Танец окончился, все шумно вздохнули, девушка в белом села на стульчик и белым же платком аккуратно вытерла лоб. Никита смотрел и глазам своим не верил: это же Валя, Валя Андреева, лет семь назад они уехали в город, и Валя в деревне больше не появлялась, хотя старшая сестра Галина живет здесь всегда.

Вот это место он очень хорошо помнит: она на стуле, парни вокруг, но никто не подходит, оттанцевавший Ермохин не в счет, надо что-то такое придумать, чтобы обратить на себя внимание, Валя может и не помнить его, так что и не перебирать бы.

– Третий – лишний! – дерзко крикнул Никита и пары стали образовываться, становясь в круг, он быстро подошел к Вале:

– Вставайте впереди меня, во всяком случае, мне первому перепадет. Вы знаете эту игру?

– Конечно, помню, я же афонская. – Она пыталась обернуться, чтобы лучше рассмотреть партнера, но Никита остановил:

– Не вертись, сейчас начнутся гонки, даю слово, что к тебе первой встанут.

– Почему ты так уверен?

– Потому что знаю. Если бы я бежал, разве отказал бы себе в удовольствии постоять рядом с красивой девушкой, да еще знать, что напарник ее уже получил доброго ремня.

– А что, сильно бьют?

– Кто как. Вот он!

Убегавший от догонявшего с ремнем Миша Пожарник, он в детстве избушку свою поджог, проскочил было мимо, а потом резко вернулся и встал впереди Вали. Генка Зубцов этот приёмчик знал и хорошо подготовился, ремень опоясал спину Никиты, он его перехватил и кинулся за Генкой. Тот расплаты ждать не стал, быстро примкнул к кому-то и вышел из активной игры. Гонка усиливалась, он снова увидел Валью на стульчике, бросил свою пару и подошел.

– Сильно тебя ударили? – спросила она.

– Сойдет, как всегда.

– Дурацкая игра. Со злостью.

– Это из-за тебя.

– А я тут при чем?

– Есть в этом что-то.

– Тогда давай уйдем? – она смело вскинула бровки.

Они вышли вместе под взгляды притихшего зала

Было начало августа, прошли сильные дожди, потому все деревенские работы остановились. Небо вызвездилось, и звезды висели прямо на тополях. Лужи приходилось обходить, потому что Валины туфельки были явно не по погоде.

– Как ты меня узнал? Ведь мы не виделись столько лет. Я училась во втором, а ты?

– В четвертом. Я тогда был в тебя влюблен.

Валя засмеялась:

– Во второклассницу? И ты это помнишь?

Он тогда наговорил ей много красивых слов. Например, что он знал, эта второклассница когда-то приедет сюда самой красивой девушкой и всех сведет с ума, особенно студента первого курса университета, она смеялась и не хотела верить, что Никита уже в то время был влюблен. Тогда он остановился, обнял ее за округлые крепкие плечи и сказал:

– Понимаешь, я мог бы потерять эти события во времени, но есть точная временная фиксация. В марте, в тот год, как вы уехали, умерла моя мама, и ты вместе с Люсей и Катей приходила к нашей избе, когда начались похороны. Я как сейчас вижу тебя на вершине снежной кучи, наваленной у расчищенных ворот.

Она поежилась и попросила больше не вспоминать о грустном.

– Я говорю тебе истинную правду, Вальюша, мне всегда в эти годы казалось, что мы встретимся.

– Ладно, поверю, хотя ты определенно врешь, ты ведь не сразу узнал меня.

– Не сразу, – согласился Никита. – Ты стала такая взрослая, не скажешь, что шестнадцать лет. Знаешь что, пойдём, переоденься, погуляем по деревне...

– Ты меня на озеро своди, где мы купались. Сводишь? А платье, туфли – высохнут, постираю, почищу. Пошли.

Озеро – это слишком громко сказано о старице, но она была в те годы широка и чиста, делилась с народом рыбой, и расходилась в обе стороны узким и широким рукавами, которые соответственно и прозваны были Большим и Малым омутами. Они спустились по песчаному склону, вода была тиха и парила, легкое марево плыло над водой волшебной пеленой. Табун гусей спал прямо на воде, спрятав головы под крыло. Гуси были белыми и нежными. Валя схватила Никиту за руку и прошептала:

– Только тихо, не спугни.

Они сели на прохладное дно перевернутой лодки и молча смотрели на воду. Никита чувствовал, что сейчас ничего нельзя говорить, она не даст, ещё обидится. Он подвинулся ближе и приглубил её, набросив пиджак. Девушка уткнулась лицом в его плечо.

– Никита, мне стало грустно тут, вспомнилось детство, как мы загорали вон там, за камышами, чтобы ребяташки не видели. Скажи, ведь хорошо тогда было?

– А мне сейчас ещё лучше. Валя, я хочу поцеловать тебя.

– Я тоже. Поцелуй, мне так славно здесь.

Она стряхнула никиткин пиджак и тихонько легла на дно лодки. Никита стал перед ней на колени и легонько прикоснулся к девичьим губам. Валя улыбнулась, Никита хотел что-то спросить, но она опередила:

– Целуй, Никитушка, очень хочу целоваться.

Она сама ухватила его губы и чмокнула громко, как будто специально. Осмелев, он расстегнул ворот платья и со страхом коснулся её груди, беззащитных и желанных. Валя на мгновение прижалась к нему всем телом, вздрогнула, а потом приподняла его голову:

– Не надо больше, ладно?

– Валя, милая, я же люблю тебя.

Она осторожно подвинула его и села.

– Глупые мы, что ли? Или ты юноша многоопытный, заманил девчонку в тихий угол, любовью дорожку выстелил?

Никита испугался, вот это он точно помнит, что испугался, действительно, Валя могла про него подумать. А он не такой, он же любил.

– Смешные мы, правда, Никита? Ты говоришь, что с четвертого класса меня любишь, это уже шесть лет, солидно. Я почему-то тоже тебя помнила. Когда мы вместе из школы шли, и у Поповых собака на меня кинулась, а ты навстречу побежал, и она тебе ноги покусала. Моя мама йодом смазывала и забинтовала. Помнишь?

– Да. И ты это запомнила? А ещё что? Как я тебе открытки присылал по почте, как ваша учительница меня от окошек вашего класса гнала, я сбегал с уроков, чтобы на тебя смотреть.

Валя уткнулась ему в грудь и смеялась:

– И тебе влетело?

– На педсовет вызывали, но быстро отпустили, директором у нас Иван Степанович был, он понял, в чем дело и отпустил. Это он мне потом сказал, когда я в среднюю школу пришел, а он там историю вел.

От воды потянуло прохладой и запахло дождем. В ночное время дождь всегда чувствуется.

– Валя, надо ближе к дому, дождь будет.

Она не хотела уходить.

– Ты знаешь, как мне хорошо здесь, так бы и жила на берегу.

– Пойдем, дождь будет. Ты не можешь идти? Тогда я тебя понесу на руках.

Да, напрасно тогда Никитка так опрометчиво вызвался в носильщики, но слово не воробей.

– Согласна. Меня еще никто на руках не носил.

Никита осторожно просунул руку под ее колени, другой рукой прижал к себе за талию и велел держаться за шею. Подъем в гору, всегда плоский и невысокий, оказался бесконечным. Валя мурлыкала под ухо какую-то мелодию, а сердце Никиты готово было выпрыгнуть и убежать вперед. Осторожно поставив Вальку на землю, он с трудом успокоил дыхание. Валя обняла его нежно и сказала:

– Никита, прости, ты так свел меня с ума, что я забылась. Меня нельзя носить, я тяжелая.

Они успели дойти до Галининого дома, когда начался дождь, Валя наотрез отказалась идти домой, хотя укрыться было негде: дом достраивался, ни одного крытого навеса. Прямо посреди ограды стоял трактор Гриши, мужа Галины.

– Никитка, давай в трактор.

– Ты с ума сошла, в белом платье в трактор, Валя!

– Да, я сошла с ума, и ничто мне не мешает целоваться с любимым парнем хоть в тракторе, хоть где.

Да, трактор тот надо было сохранить и выставить в музей, Никита за всю свою долгую жизнь ничего похожего не слышал. Просто так в тракторе – сколько угодно, но в белом платье в шестнадцать лет...

Они просидели в тракторе до рассвета, она спала на его коленях, запрокинув головку, он бережно целовал ее вздрагивающие губы, шею, она что-то сонно ворчала, потом поднималась, и целовала его лицо, голову, руки:

– Никита, со мной правда что-то неладное, я не могу от тебя уйти. Смотри, уже совсем светло.

Стукнула дверь, заспанная Галина с подойником пошла к корове. Увидев гостей в кабине, она остановилась:

– Ребятишки, вы не с ума ли сошли? Валька, в новом платье, теперь до него не достираться. Шли бы в дом, там целая комната свободная.

Они опять целовались у крыльца, на крыльце, в дверях. Они и думать не могли, что все это в последний раз.

Утром Никите принесли телеграмму из университета, что какие-то неувязки в документах и надо приехать в приемную комиссию. Он забежал к Галине, но та ответила, что Валя спит, и она сама ей все передаст. Разборки в университете затянулись, потом пригласили на ремонт общежития, если хочешь место получить. В деревню

Никита вернулся в конце августа, Валя уже уехала в город, Галя проворчала, что надо было меньше по тракторам лазить. Вечером подошел Генка Зубцов:

– Ну, проездил свою кралу? Она тут без тебя оторвала куцему хвост, со всеми крутила.

– Врешь ты, Генка, – спокойно сказал Никита.

– Да мне-то хоть бы хны, только мы животы надсадили, хохотали, как ты ее на бугор волок.

– Откуда ты знаешь? – Никита схватил Генку за ворот.

– Отвянь! – Генка лениво отмахнулся. – Толи сама рассказала, толи видел кто.

Никита места себе не мог изобрать, такие подробности их разговоров по деревне гуляли, что только сама Валя могла сказать. Было до слез обидно, что такое чистое, светлое втоптали в грязь. Пойти к Галине и взять у нее адрес, пусть сама объяснит. А если действительно все было просто игрой, и она поделилась результатами с подругами? Он собрал вещи и уехал в Свердловск на три дня раньше срока.

Много лет позже он случайно узнал, что все видел и слышал Гоша Эстремский, пожилой мужичок, живущий на берегу, который вышел попроведать гусей и услышал шепотки у воды. Присел у прясла, да так и стал свидетелем. Никитка, говорит, чуть меня не стоптал, когда девицу волок. Кому-то очень удачно рассказал увиденное Гоша, раз через пару дней знала вся деревня.

Тогда же Никита зашел к Галине. Гриша был на работе, Галя поставила чай, Никита прошел в горницу, смотрел фотокарточки в рамках на стене. Сердце екнуло: в полный рост снята красивая молодая женщина в белом платье. Годы не изменили ни лица, ни прически, и даже платье казалось знакомым.

– Любуешься? Надо было меньше по тракторам лазить, а брать девку, пока в руки дается. Она ведь потом все мне рассказала. И про сплетки знаю, и она знала. Ты зачем поверил-то? Я ей пишу, что ты извелся весь, а она свое: приедет, если вправду любит. А если так, что только белое платье измять, то оно и к лучшему. Вот какая натура!

– Где она теперь?

– Обожди, я письмо найду, мне не высказать.

«Живем мы хорошо, я недавно повышение получила, теперь помощник прокурора города, а это все-таки столица республики. Я тут снов насмотрелась, и папу, и деревню, и как мы с тем парнем на озере были. Проснулась, вспомнила весь этот август проклятый, и до того мне жалко стало белого мазутного платья, которое ты выбросила на тряпки, что я поехала в мастерскую и заказала точно такое. Закройщица говорит, что сейчас такие не носят, а я ответила, что хочу вспомнить себя шестнадцатилетней. Вот, высылаю фотографию».

Никита в ту ночь тоже видел сны, один сплошной сон танца белого платья под музыку Вити Бодри. Он силился рассмотреть лицо, но платье удачно прикрывалось рукавом, и ничего он не увидел. Проснулся, когда жена больно ткнула в плечо:

– Повернись на бок, ты вроде плачешь.

Никита повернулся и вытер мокрое лицо висевшим на стуле полотенцем.

Букет

Рассказ

Дмитрий Борисович Витюков был редактором маленькой районной газеты в маленьком и не очень перспективном районе, дело свое не любил, но знал хорошо, мог четко поставить задачи сотрудникам, сам писал передовицы, обзорные статьи и даже очерки о хороших людях. Все в районе его знали, относились почтительно, все привыкли к его членству в руководящих органах и мягкому, ровному голосу при выступлениях, он считался человеком без будущего, но успешным и состоявшимся. Как-то ему даже вручили медаль «За трудовую доблесть», что вообще для газетчиков было редкостью.

Дмитрий Борисович и сам уже верил, что жизнь прошла, вялотекущая действительность его мало волновала, как, впрочем, и дом, и жена. Все стало привычным, ровным, скучным. Он заметно отяжелел и в свои почти пятьдесят выглядел старше и даже запущеннее. Очень любил читать, выписывал несколько журналов, покупал книги, в библиотеке ему всегда оставляли новинки. Он молча брал и молча приносил. Как-то заведующая попросила его высказаться о новом романе известного писателя на читательской конференции, на что редактор пожал плечами, но промолчал.

Дмитрий Борисович и сам забыл, что когда-то был немножко другим, чуть энергичнее, чуть эмоциональнее, в Уральском университете, где он учился на журфаке, в самодеятельности читал со сцены, имел успех, особенно по патриотической тематике. Маяковский в его исполнении был неповторим, голос и чувство завоевывали внимание слушателей, и зал обычно взрывался аплодисментами. На одном из студенческих

концертов он увидел белокурую девушку, которая в паре с молодым человеком танцевала какой-то остроумный сюжетный танец. Стоя в кулисах, Дмитрий наблюдал за ней и восхищался, так она была грациозна и легка, мила и шаловлива. У стоявшей рядом однокурсницы спросил, кто та, что танцует, узнал, что с филологического, кажется, Середина. Дмитрий так и не уточнил ударение, Середина или Середина. Впрочем, какая разница, все равно он не подойдет и не будет говорить ей комплименты, и потому что не умеет, и потому, что сейчас его выход, «Стихи о советском паспорте». Громовым голосом он выдал знаменитую завершающую фразу, поклонился и ушел под грохот аплодисментов, в кулисах остановился, вытер платком лоб. Нервная дрожь легонько колотила его, но это было приятно, радовал успех, завтра декан непременно поблагодарит его перед лекцией, потому что декан в парткоме университета отвечает за идеологию, а Дмитрий и Маяковский очень даже этому способствуют. Он не сразу осознал, что есть еще одна причина для радостного настроения, эта маленькая светлая девушка со странной фамилией, надо бы найти ее, познакомиться. Он сам испугался этой мысли.

– Вот вы где, а я на выходе жду.

Она смотрела на него с обезоруживающей улыбкой, в короткой юбочке и белой кофте, в черных туфлях-лодочках. Лицо круглое в обрамлении волнистых светленьких волос, глаза голубые, губки чуть вздернуты, наверно, потому и нос тоже немножко вверх... Красивая!

– Я должна вам сказать, что вы очень здорово читаете Маяковского. Я бы тоже хотела, но у него стихи мужские, те, что можно со сцены. А вообще поэт – лирик, вы любите его лирику?

Никакой лирики Маяковского Дмитрий не читал и не знал, но молча кивнул, что любит.

– Это хорошо, – довольно сказала девушка. – Меня зовут Лиля, а вас?

– Дмитрий, Дима.

– Вы на каком?

– Журфак.

– А я литфак, филология. Третий курс. А вы?

– Тоже третий.

– Здорово! Пойдемте, или вы еще читаете?

– Нет, могу уйти.

Они вышли из дома культуры, где проходил праздничный концерт в честь годовщины Великого Октября, на город медленно падал снежок, закрывая вчерашнюю грязь, мутные лужи и черный тротуар. Лилия туфли несла в сумке, смело шагая в поношенных сапожках, Дмитрий в туфлях вынужден был прыгать через лужи, разметав полы широкого плаща, под задорный смех своей красивой спутницы.

За двадцать минут пути до общежития Лилия рассказала о себе почти все: она из маленького уральского городка, родители учителя в третьем колене, ее так же воспитали, в семье еще брат и сестра, но брат в Армии, а сестренка в следующем году тоже придет поступать на филологический.

– Дима, вы почему молчите? Куда подевалась ваша сценическая мужественность и громогласность?

Дмитрий остановился:

– Вы меня извините, но я привык больше слушать, сцена – это совсем другое, а в жизни я..., наверное, стеснительный.

Лиля подошла к нему, приподняла кепку, надвинутую на самые брови:

– Давай перейдем на ты, что мы, в самом деле, как на балу?! Ты деревенский?

– Да, – обреченно признался Дмитрий и подумал: «Ну, все, это конец, сейчас она уйдет».

– Ой, как здорово! Я люблю деревню, каждое лето мы на месяц уезжали к теткам, у нас их много на Урале и в Курганской области, это сестры родителей. Чудные места и народ добрый. Ведь в деревне народ чище, чем в городе, согласен?

– Да, – кивнул Дмитрий.

– Расскажи о своей деревне.

– У нас село...

Дмитрий вспомнил о большом изгибе бывшего берега древнего моря или реки, ставшего местной горой, о своем старом селе Афонино, об одноименном озере, точнее – старице, в которой он дважды тонул в детстве, о таинственном и хмуром сельском кладбище, которое в начале века обосновал местный священник и на котором покоится прах его мамы. Он опасался, что Лиле это будет не интересно, но она слушала, сочувственно жала ему руку, когда он говорил о маме, смеялась, когда рассказывал о приключениях на рыбалке или в лесу.

У общежития Лиля сказала, что ей приятно было познакомиться с Димой, Дима буркнул в ответ, что ему тоже, и замолчал. Девушка улыбнулась:

– Дима, я жду, что ты назначишь мне свиданье хотя бы через день, завтра у нас семинар, я не смогу. Давай встретимся послезавтра?

– Да, – кивнул Дима.

– В семь часов вечера здесь же. Не забудешь?

– Не забуду.

Он был взволнован, очень рад знакомству и злился на свою беспомощность. Конечно, надо было еще в школе научиться танцевать, приглашать девушек, дружить, попробовать целоваться. А он влюбился сразу и безнадежно в самую красивую девушку класса и школы, мог только украдкой на нее смотреть, все знали о его влюбленности и все потешались над ним. Он очень страдал, когда она на школьных вечерах в тесном коридорчике танцевала под радиолу с ловкими и улыбчивыми парнями, когда на переменах смеялась в кругу одноклассников, в который он почему-то не мог войти. Он вообще казался чужим, не ходил в кино, всем прочим занятиям предпочитал книги, и только несколько раз в году становился героем школы, когда под давлением учительницы литературы Веры Алексеевны участвовал в концертах и конкурсах чтецов, занимая первое место.

В год окончания школы Дмитрий Витюков стал печататься в районной газете, его пригласили на районное совещание внештатных корреспондентов, и он там толково выступил, тогдашний редактор назвал его очень перспективным журналистом. С тех пор Дмитрий окончательно потерял покой, много занимался, готовился к вступительным экзаменам в университет. На выпускном вечере та красавица призналась ему, что ей

приятны его чувства и что он тоже ей нравится, но Дмитрий к тому времени уже остыл, и этот разговор остался без продолжения.

Как он был благодарен и признателен Лиле, она не ждала его инициативы, не рассчитывала на его сообразительность, сама покупала билеты в кино и театр, сама подводила его к кафе и, смеясь, приглашала. Он смущался, что-то лепетал, но все проходило вполне пристойно. К Новому году Дмитрий с ребятами заработал хорошие деньги на разгрузке вагонов, они устроили вечер с шампанским и богатыми закусками. Лиля была рядом с ним, они танцевали, Димка после шампанского осмелел, приглашал ее снова и снова, Лиля беззаботно смеялась и тихонько ойкала, когда партнер в очередной раз наступал ей на ногу.

Погода была морозная и ветряная, окно комнаты затянуло развесистыми узорами, от прогулки по улицам сразу отказались. Теснились, танцевали, задвинув в угол стол. Пока меняли пластинку, Лиля шепнула Димке на ухо:

– Давай уйдем.

– Куда? – не понял он.

– В коридор выйдем?

Они незаметно вышли, Лиля потянула его за руку подальше от шумной компании.

– Димка, мне скучно, – нежно глядя ему в глаза, сказала Лиля.

– Что я могу сделать, чтобы тебя развеселить? – несмело спросил он.

– Пойдем в нашу комнату, девчонки разбежались, мы будем одни.

В комнате было непривычно тихо, все аккуратно прибрано, Лиля сказала, что не будет включать свет, от уличных фонарей все видно. Она подошла к Димке, положила руки ему на плечи:

– Дима, поцелуй меня.

Димка понимал, что так и будет, уже был готов, осторожно взял ее головку в руки и неожиданно крепко поцеловал. Она с облегчением вздохнула, уткнулась в его грудь и прошептала:

– Господи, я уж боялась, что ты на это никогда не насмелишься.

Димка тяжело дышал и сердце его колотилось.

– Лиля, да, я трус, я боюсь сделать что-то не так, обидеть тебя и отпугнуть. А сегодня осмелел, теперь все время буду тебя целовать.

Они долго сидели на кровати, обнимаясь и целуясь, Димка ощущал трепетное тело девушки, упругую грудь, ее прерывистое дыхание. Она была так близко, только одно движение, и кнопки блузки распахнутся, а юбочка и без того сбилась, но он вздрагивал и одумывался.

Когда постучались Лилины подруги, оба они были измотаны и обессилены, Лиля открыла дверь и включила свет. Димка смущенно жался к пустому столу.

– С Новым Годом, Дима!

– С Новым Годом, девчата! Лиля, я пойду.

Она вышла его проводить, он хотел обнять ее, но Лиля убрала руки:

– Иди, уже поздно.

– До встречи, Лиля.

– До свиданья.

– С Новым Годом!

– С Новым Годом!

Дмитрий Борисович и теперь, в зрелом возрасте и приличном уме, не нашел бы ответа на вопрос, что же именно изменилось в их отношениях с Нового Года, но точно Лиля переменялась, стала сдержанней, скромнее, что ли, при избытке его скромности их прогулки и беседы были просто товарищескими и очень краткими. Димка не обращал на это внимания, предполагая, что Лиля усиленно готовится к экзаменационной сессии, даже пытался поцеловать девушку при прощании, и иногда это ему удавалось.

Сессия и его закружила, он все сдал успешно и проводил Лилю на поезд.

– Я буду очень скучать без тебя, – сказал он.

Лиля улыбнулась:

– Наверное, нет, ты будешь читать книги и писать курсовую, помнишь, ты говорил?

Да, он говорил, и будет писать, но и скучать тоже будет.

– Дима, скажи, ты действительно любишь меня или ты привык ко мне и считаешь, что вот так и будет всегда?

Он растерялся, не зная, как ответить, что он действительно не представляет свою жизнь без нее, что да, он привык, и что это и есть любовь, наверное... Но он промолчал, потому что вышла проводница и попросила пассажиров пройти в вагон.

– Дима, ты подумай об этом, подумай, а встретимся, ты мне все скажешь.

За две недели каникул он ничего не прочел и ничего не написал, проклинал, что не взял Лилин адрес, чтобы вызвать ее на телефонные переговоры, приехал в Свердловск на два дня раньше, вечером перед началом занятий на стук в дверь комнаты она, наконец, вышла.

– Лиля, здравствуй, как я рад, что ты приехала! – Он обнял ее, она не сопротивлялась, но никак не отреагировала, при всей своей неопытности даже Димка это заметил. – Что с тобой, Лиля, ты нездорова?

Она грустно улыбнулась:

– Лучше бы я заболела, может, не было бы этих дурацких мыслей. Ладно, Дима, иди к себе, я буду разбирать вещи и готовиться к занятиям.

– Мы завтра встретимся? – тревожно спросил он.

– Наверное. Приходи, как всегда, в семь.

Какие-то странные были эти свиданья, они больше молчали или говорили о ничего не значащих пустяках, уже не ходили в кино с билетами в последний ряд, чтобы никто не мешал обниматься. Лиля не отказывалась от встреч и была им совсем не рада, через полчаса ссылалась на неотложные дела и уходила, холодно попрощавшись.

Димка не знал, что делать, он видел, что теряет ее, что это страшная для него потеря, но что можно изменить, никто не скажет, и она тоже молчит. С ребятами он эту тему не обсуждал, хотя они интересовались: «Что у вас там произошло?».

В мае, после большого концерта в честь дня Победы, Лиля при прощании сказала:

– Дима, у меня день рождения завтра, я тебя приглашаю.

Он обрадовался, весь вечер думал, что ей подарить, но с деньгами было туговато, потому товарищи посоветовали остановиться на цветах. Ближе к вечеру он поехал в цветочный магазин, но там было закрыто, он кинулся на площадь, потом на вокзал, на перроне с явной переплатой купил мимозы, большой букет.

Он эти цветы с тех пор терпеть не может, даже на открытках, и букет этот запомнил на всю жизнь. Когда он вошел, в комнате было несколько девушек, все уже знакомы, он подошел к празднично одетой имениннице и с поклоном протянул букет.

– Спасибо, Дима. – Она привстала на цыпочки и почти как брата поцеловала его в щеку. Девчонки засмеялись, все хвалили букет.

Вдруг пошел дождь, с сильными порывами ветра, окно пришлось закрыть, тем более, что началась гроза, молнии рвали небо, а гром ударялся прямо в крышу общежития.

За столом Дима сидел напротив Лили, ухаживал за соседками, поддакивал тостам и даже сам сказал, что сегодня все тосты за именинницу, что незамедлительно было одобрено застольем. Димка напрасно ловил ее взгляды, она старательно избегала встречи и наигранно смеялась всякой шутке. Вдруг дверь отворилась и в комнату – не вошел – влетел молодой человек в мокрой рубашке, сам весь мокрый от дождя, но впереди себя он нес беремья распутившейся сирени.

Димка знал этого парня, он с юридического, большая умница, папа у него где-то в верхах, парень был модным и пользовался успехом у девушек, так все говорили. Димка пытался сообразить, как тот здесь оказался, ведь не могла же Лиля его пригласить?

– Мне сказали, что в этой комнате празднуется день рождения красивой девушки. Нет-нет, не надо подсказок, я никогда не пользуюсь шпаргалками, дайте мне определить, кто она.

И парень безошибочно потянулся со цветами к Лиле, да и невозможно было ошибиться относительно той, что сидит во главе стола. Лиля была до неприличия счастлива, она охватила букет обеими руками, бутоны выпадали на стол, прямо в тарелки с салатом, все разом заговорили, возле именинницы совсем нехоти образовалось свободное место, и парень перелез к нему чуть не через весь стол. Лиля все еще стояла со цветами в руках и вдруг громко сказала:

– Хочу, чтобы все знали: нет для девушки более чудного подарка, чем мокрая от весеннего дождя сирень, это самые красивые цветы на свете.

Димка вдруг ощутил такую пустоту вокруг себя и такую тоску, что едва не заплакал, тихонько вылез из стола и вышел. Больше он к Лиле не подходил.

На четвертом курсе он заметил, что девушка на раздаче в студенческой столовой очень заинтересованно на него смотрит, и порции у него намного солиднее, чем у товарищей. Однажды вечером Димка встретил ее у выхода с кухни, они познакомились, в первый же вечер на лестничной площадке ее дома до полуночи целовались, а через месяц сыграли свадьбу. Тамара родила ему троих детей, кормила борщами и котлетами, похожими на студенческие, и изредка ворчала, что поторопилась замуж за деревенского и уехала из города. Дмитрий Борисович не обращал на ее слова никакого внимания, брал книгу и уходил на диван в дальней комнате. В книгах часто описывали счастье, о котором он так немного знал.

Елена из прошлой жизни

Рассказ

День выдался сумасшедшим, пять часов мы гоняли лося, пересекая взрыхленные поля, мелколесья, несколько раз стреляли, но толи расстояние большое, толи выстрелы были откровенно неудачными, зверь уходил. Тем не менее, кровь по следу появилась, а стоявший на выходе из леса водитель хозяина сообщил по телефону, что лось только что прошел в полукилометре от него и припадает в правую сторону.

– Ранен в обе ноги, это точно, надо гнать, – скомандовал егерь.

Снег был не очень глубокий, но отсутствие тренировок троих бойцов скоро вывело из строя. Геннадий остановился, достал из-за пазухи мобильник:

– Все, командир, мы втроем, я, Иван и Андрей, уходим на базу.

Тот, видимо, сказал что-то о праве на пайку.

– Да пошел ты со своим мясом!

Едва уставшие неудачники дошли до фазенды, в глубине леса прогремели выстрелы и шеф скомандовал водителям, чтобы гнали пару снегоходов. Японские моторы взревели в морозном воздухе, и через час снегоходы приволокли тушу лося и взмокших охотников на длинном фале.

Пока рабочие разделявали тушу, мужики парились в горячей бане, то и дело выскакивая на снег и купаясь в нем, протирая друг другу спины. В белоснежных

байковых простынях, похожие на римских патрициев, охотники упали на низенькие диваны в огромном зале с большим круглым и очень низким столом. Двое молодых людей в белых костюмах и колпаках внесли серебряный поднос, на котором красовалась целиком зажаренная косуля, оставшаяся от вчерашней охоты. Еще на одном подносе в глубоких тарелках нежились груздочки, торчали соленые огурцы и помидоры, крупными кусками вершились несколько посудин с нельмой, осетриной, лососем и местным сырком. Горячая картошка аккуратно сложена горкой и дышала как вулкан.

На столе появились бутылки с коньяками, водкой, бренди и виски, настойками, пивом и даже бражкой. Каждый наливает себе сам – такой порядок. После первого стакана заговорили о сегодняшней гоньбе, кого-то беззлобно ругали, кто-то пытался сердиться. Но все были давнишними друзьями, только Андрей, немолодой уже человек, появился недавно, как друг детства Ивана, и обид никаких не принималось. Когда обсудили все детали охоты, официант доложил, что туша разделана.

– Сегодня делим только ляжки, все остальное ребятам, они славно поработали. Кому заднее бедро?

Кто-то поднял руку.

– Еще одно?

Все молчали. Владимир решительно скомандовал:

– Андрей, ты не стесняйся. Заберешь задок.

– Я даже до конца охоты не выдержал, не имею права.

– По правам здесь я уполномоченный! – Хозяин засмеялся своей шутке. – Ладно, взамен расскажешь какую-нибудь историю.

Выпили еще, рассказали пару анекдотов, и Григорий вспомнил:

– Андрей, с тебя история интересная. Ты столько путался по свету, расскажи.

Андрей сменил позу на низком диване, просто присел на корточки.

– О чем? Белый медведь чуть не задрал, лапой сорвал сзади меховую фуфайку.

Падал в пролом в горах, трое суток искали, двое доставали. В Лувре довелось побывать, встречался с Фиделем.

– К черту Фиделя и фуфайку, расскажи про баб. Ты в загранке столько баб видел! – азартно крикнул Григорий.

– Не больше, чем ты по телевизору, а в остальном разницы никакой. – Было заметно, что он никак не может решиться на что-то. – Впрочем, подождите, есть у меня одна история, я ее никому не рассказывал, но она, на мой взгляд, многозначна. По крайней мере, у меня есть основания ее вспоминать и размышлять, все ли я сделал так, как надо было бы. Можно?

– Секс будет?

– Скорее, нет.

– Ладно, валяй.

– Хорошо. Было это в начале моей карьеры, то есть, я был еще на партийной работе, на скромной должности районного уровня. У меня семья, два сына, жена, квартира и перспектива. Но – на одном мероприятии вижу женщину, и все, мне под тридцать, ей чуть за двадцать, замужем, дочь годовалая. Мучился недолго, поехал в обком, все рассказал, первый связался с Краснодаром, там был еще Медунов, и после нескольких неприятных процедур я с новой семьей лечу в Краснодар. Было принято решение до

урегулирования всех формальностей с разводами и прочим подержать меня в районном городке при райкоме. Но квартиры нет, живу во флигеле, так там зовут наши избушки на ограде. Однажды первый секретарь райкома присылает машину, и меня подвозят к шикарному особняку.

Да, ребенка пришел оформлять в детский сад, а документы на отцову фамилию. Надо сказать, что мне было запрещено придавать огласке развод и новую женитьбу. Но есть бумаги! Я все предельно кратко объяснил заведующей детским садом, и она записала дочь на мою фамилию. Так вот, хозяйка особняка, видимо, предупрежденная, вышла встречать. Бог ты мой, это же наша заведующая Елена Николаевна. Сопровождающий работник райкома говорит, что эта квартира главного инженера-строителя сельхозуправления, но его перевели в область, на днях там решится вопрос с жильем, и мы сможем занять этот домик. Хозяйка встретила радушно, но я этому радушию не поверил. Она пригласила во двор, показала гараж, баню, подвал, что-то еще. Потом пошли в дом, огромные комнаты, по тем временам просто шикарная обстановка. Я отказался заглядывать в комнаты и, чтобы хоть что-то сказать, попросил Елену Николаевну предупредить меня о возможном переезде.

Месяца три мы жили в избушке, хотя никаких проблем, начиналась весна, было тепло, как в Сибири в мае. При встрече Елена Николаевна краснела и отводила глаза, мне тоже было неловко за тот бесцеремонный осмотр. Но у нее-то, оказывается, были другие причины. Наконец, меня пригласили в Краснодар, и я получил назначение в одну из союзных республик. Жену с ребенком отправил к ее родителям, сам остался на один день улаживать дела в райкоме и военкомате. Накануне утром пришел в детский сад и попросил Елену Николаевну подготовить необходимые документы. Она закрыла лицо руками и убежала, но к вечеру бумаги были готовы. Я поручил товарищам отправить по указанному адресу некоторые наши вещи, упаковал чемодан и собрался ложиться спать: моя машина подойдет в пять утра.

Неожиданно в дверь постучали.

– Входите, – довольно громко сказал я.

Вошла Елена Николаевна. Она была очень красиво одета, ее прическа доставляла ей, должно быть, много хлопот, потому что густые выющиеся волосы казачки непросто было собрать воедино. Но лицо спокойное, я бы даже сказал – решительное. Я так растерялся, что даже не пригласил ее присесть. Она сама спросила:

– Можно присесть?

Я извинился и поставил стул.

– Андрей Иванович, я скажу все коротко и ясно. Я вас заметила сразу, как вы пришли в детсад, отметила, как приятного мужчину. Потом эта неувязка с документами дочки, я узнаю, что это не ваша жена и не ваша дочь. Вы прожили здесь меньше полгода, значит, и с новой семьей столько же, основательно привыкнуть еще не успели. Мою историю вы, наверное, знаете, муж получил квартиру и меня с сыном брать отказался, у него там тоже семья. Итак, я свободная женщина, и вы не станете утверждать, что я не хороша собой. Мне только двадцать пять, сын не будет нам помехой, я рожу вам еще пятерых. Я очень люблю детей. У меня хороший дом, вы видели, есть автомобиль, несколько сберкнижек, короче говоря, в деньгах проблем нет. Я вам предлагаю: не уезжайте! Мы вышлем вашей не совсем законной жене много денег, достаточно, чтобы

она не искала управы на вас. Андрей Иванович, соглашайтесь, я сделаю все, чтобы вы были счастливым мужчиной.

Она замолчала, вынула платок и приложила его к глазам, хотя слез я не заметил. Руки ее заметно дрожали. Я лихорадочно соображал, что мне сказать. Согласитесь, господа, сложнейшее положение. С одной стороны, обидеть нельзя, женщина говорит совершенно искренне. С другой – остается только соглашаться, хотя этот вариант я не рассматривал. Мне было ужасно неловко перед нею:

– Лена, простите меня, вы задаете неразрешимую задачу. Вы очень симпатичная женщина, я это сразу отметил, и даже жене сказал, что буду с удовольствием водить ребенка в садик. Ваши предложения заманчивы для свободного человека. Но я женат.

Она быстро перебила меня:

– Вы свободны, по закону вы свободны. Я знаю, вы расторгли тот брак, но не зарегистрировали этот. И если вы остаетесь, и у меня, и у нынешней вашей жены одинаковые права на вас. Извините, я говорю жестокие вещи, но я борюсь за свое счастье, за своего мужчину.

– Леночка, я искренне вам сочувствую и уверен, что вы недолго будете одиноки, мужчины таких женщин не пропускают.

– Но вы же пропускаете! Я боюсь быть навязчивой, но не может быть, чтобы я не нравилась вам, мы проживем несколько месяцев, и вы все забудете, уверяю вас, Андрей. Если хотите – уедем в Краснодар, в Москву – куда хотите. Я открою вам последнюю тайну: мой муж участвовал в частных раскопках древних курганов, однажды приехал сильно пьяный, выставил на стол пакет со слитками и драгоценными камнями, хвалился, что теперь все купить может. Я напоила его снотворным и спрятала пакет в подвале. Наутро он чуть с ума не сошел, но я твердила, что он перевалился через порог и уснул. Я уже тогда знала о его связях в городе и не очень стыдилась своего поступка. Андрей, это все будет ваше, ну что же вы медлите? Бросьте эту лачугу и пойдем ко мне, Андрюша, я умоляю вас.

Заметьте, это не была истерика, это было убеждение. Сказано в писании, что человек слаб, и у меня мелькнула мыслишка: а что, если...? Конечно, на мгновение, но такая мысль была, отрицать не стану.

– И чем все закончилось? – деловито спросил Владимир.

– Я решительно отказался, она извинилась, я проводил ее до дома. Примечательно, что она уже не приглашала войти и прочее, только поцеловала меня в щеку и сказала, чтобы я внимательно проверил газеты на столе. Когда вернулся, под газетой нашел пачку сотенных в банковской упаковке, это десять тысяч. Собрался было унести их обратно, но понял, что от чистого сердца, да и продолжать разговор не было сил. Деньги, кстати, оченьгодились.

Владимир поднялся, помешал угли в камине.

– Ну, лишними они никогда не были, даже при социализме. Зря ты не остался, Андрей. Это когда было? Тридцать лет назад. Ты все эти годы мотался по белому свету, не буду вдаваться в детали, но, похоже, развозил семена коммунизма. Со всходами получилось хреново, и тут готовый урожай упустил. Считаю, совершил большую ошибку.

Иван налил себе полный стакан водки и махом выпил:

– Ты не прав, Володя. Андрей проявил истинное благородство, да, господа, раньше было такое понятие. Вот что бы ты сделал, по крайней мере, сейчас: завалился бы к этой Елене, купил яхту и замок над заливом, пил и кутил, пока Елена не напоила бы снотворным и не выкинула за борт.

Геннадий, совсем не пьющий из-за желудка, деликатно поинтересовался:

– Извини, Андрюша, ты сейчас живешь с той женщиной, ради которой не поддался искусу?

– Теперь уже нет, так получилось.

– И что? Ни разу не приходило сожаление? Ну, хоть раз ударил в стол кулаком: «Твою мать, что же ты, Елена Ивановна, не настояла!».

– Елена Николаевна. Могу и соврать, но смысла не вижу: были такие моменты. Конечно, не о деньгах вспоминал, а о женщине сильной, страстной и любящей. Объяснить не могу, но сердцем чувствовал тогда, что она действительно любит и говорит от чистого сердца.

Григорий кое-как прожевал мясо:

– А денежки, между прочим, взял. Совесть не мучила?

– Гриша, не копай глубже, там обида может быть. Деньги я потратил сразу на новом месте, дом и обстановку дали, машину пришлось купить, хотя была закрепленная. И часть отправил с надежным человеком первой семье, детям. Совесть не мучила, знал, что не последнее Елена отдала, но определенный дискомфорт был, временами чувствовал себя сволочно.

– Не понял! С надежным человеком! А телеграф? – поинтересовался Геннадий.

– Представь, в поселок приходит перевод на двадцать пять тысяч. Обязательное расследование, объяснения, опасность ограбления. А так все тихо и мирно. Правда, им тоже посоветовал переехать в другое место, что они и сделали.

Федор, профессор местного института и вообще очень начитанный человек, икнув, заметил:

– Любопытная история. Если бы ты тогда спросил моего совета, я бы рекомендовал остаться. Да, некоторые издержки порядочности есть, но и жена твоя тогдашняя должна была понять простую вещь: как пришло, так и ушло. Она увела тебя от одной женщины, другая увела от нее. Что тут несправедливого? С точки зрения чистой науки борьба за выживание, естественный отбор. Конечно, тебе пришлось бы сменить профессию, расстаться с этими ребятами в темных пиджаках, которые в результате просрали всю страну, она тебе, эта профессия, тоже всенародного признания не принесла. А так сидел бы в тени грушевого дерева или в уютной беседке, думаю, инженер-строитель догадался соорудить такую, сидел и сочинял романы о счастливой жизни, когда есть бабки, крепкая казачка приходила бы и садилась на колени, вы пили изумительной чистоты вино и уходили делать очередного казачонка.

– Ты о чем, Андрей же не казак!

Геннадий поднял руку:

– Ты, Ваня, не знаешь обычаев тех мест. Если человек прибыл на постоянное жительство и он не казак, товарищи займутся его воспитанием, и после определенного срока торжественно посвятят в казаки.

– Ой, заливать! Откуда ты знаешь? Ты же кроме Германии со Швецией нигде не был, в Москве, и то проездом.

– Глупое замечание. Я читал в каком-то журнале.

– Хватит вам, если наш Гога купил себе титул князя, то о казачьем не стоит и говорить.

Владимир всех остановил:

– Стоп, ребята, мы ушли от темы. Вопрос состоит в том, правильно ли поступил Андрей, отказавшись от нелюбимой женщины даже при огромных деньгах?

– Поступил глупо. Оставил женщину неудовлетворенную, мог бы, в конце концов, предложить ей компромисс – навсегда не могу, но на пару дней останусь, – подытожил Григорий.

– Ты думаешь, она приняла бы такой вариант? – зло спросил Геннадий.

– Вах-вах, да с радостью. Тем более, в этой головке уже созрела бы мысль, что, вкусив от ее любви, мужик возьмется, наконец, за ум, а не за партийный билет, и останется, – не уступал Григорий.

– А мне сдается, что нет, не приняла бы, больше того, она плюнула бы Андрею в лицо. Такова логика женской гордости, – заметил ученый.

– Слушай, а что осталось от той гордости после шести месяцев жизни без мужчины? – словно сам себя спросил Григорий.

– Ты думаешь, у нее за это время не было мужчины? – улыбнулся Владимир.

– Я уверен, – воскликнул Иван. – Ты посмотри, какая женщина, гордая, самостоятельная, детей любит. Если бы приняла, то вот так, как Андрея, с любовью.

– Можно подумать, что наш Андрей был красавцем на весь курортный край. Неужели в той станице не было красивых мужчин?

Геннадий возмутился:

– Что ты понимаешь в мужской красоте! Ты и в женской-то не особенно разбираешься. Все, не спорь. Не твои ли слова: чем больше водки, тем красивее женщины. А тост твой знаменитый: «За подруг за наших верных, хоть не у каждого, но есть!».

Иван хорошо захмелел, и его потянуло на лирику:

– Очевидно, у женщин те же странности, как и у нас. Вроде бы ничего в ней нет, а тянет. Какая-то одна черточка, то улыбка, то взгляд, то жест какой-нибудь, голос, походка...

– Ваня, не трави душу.

– Все, я заткнулся.

– Андрей, а когда ты со второй женой расстался?

– Пять лет назад.

– А та, что привозил на праздник? Так, подружка? – улыбнулся Григорий.

– Пока да, там видно будет. Но я не сказал вам финала всей этой истории. Когда мы развелись со второй супругой, я взял путевку в Сочи и в аэропорту вдруг вспомнил о Елене. Дай, думаю, нагряну в гости на правах старого знакомого. Взял машину, добрался до городка, нахожу улицу, дом. У калитки стоит старушка. Спрашиваю:

– Скажите, Елена Николаевна здесь живет?

– Здесь.

– Могу я ее увидеть?

– Можешь. Смотри.

Он замолчал и впервые резко встал с дивана. Все за столом остановились: Иван поднял бутылку над бокалом и замер; Владимир уронил на пол каминную клюку; Геннадий трезвым взглядом внимательно смотрел на Андрея; Григорий в предчувствии чуда перестал жевать окорок; Федор снисходительно ждал продолжения.

Андрей нервно прошелся по комнате, закурил сигару у камина:

– И только тут я понял, что это она. Ничего не осталось от той Лены, все пропито. Не простившись, я пошел к машине.

– Мужчина, а вы кто будете? – спросила она. Пришлось отвечать:

– Двадцать пять лет назад я знал Елену Николаевну, заведующую детским садом.

Она прищурившись смотрела на меня, конечно, не узнавая. И вдруг мне стало очень жаль эту женщину, ту, что когда-то была Еленой Николаевной, отважной красавицей.

– Елена Николаевна, я пришлю вам хорошего врача, вам помогут стать человеком, надо только ваше согласие.

– Ничего не хочу. У меня не получилась жизнь, вам этого не понять. У меня была счастливая жизнь, пока муж не изменил и не бросил. Потом я полюбила, но он от меня отказался. Я знала его фамилию, искала по всей стране, но мне отвечали, что такой не значится. Он просто скрывался от меня. Я понимала: он порядочный человек, он полюбил меня, сердце не обманешь, но он был связан с другой. Он боялся поддаться чувствам и скрылся от меня навсегда.

Андрей впервые за все время разговора налил бокал вина и выпил:

– В то время я был засекречен, конечно, никто ничего сообщить ей не мог. Сейчас не время в этом признаться, но мне порой кажется, что второй вот такой атаки с ее стороны я не выдержал бы. Она очень мне нравилась, несколько раз мы сидели в ее кабинете и якобы обсуждали проблемы воспитания дочери. Я видел ее и в служебном халате, и цветных платьях, какие любят тамошние женщины. Она просто прекрасна, такое сильное, красивое тело... А лицо! Должно быть, в ней намешано всех южных кровей. Она долго еще жила в моих глазах. Конечно, я понимал свою косвенную вину, ведь в том числе из-за меня она спилась.

Владимир жестом остановил его рассуждения:

– Выкинь из головы. Так получилось, но все остальное – ее проблемы. Если бы я после каждой неудачной попытки убедить женщину впадал в запой, пропал бы давно.

– Вина Андрея, безусловно, есть, – Иван встал с бокалом в руках. – Но он ни в чем не виноват. Леночка сама выбрала такой путь. Ты что-нибудь сделал для нее?

Явно смущенный Андрей кивнул:

– Пытался сделать. Из санатория я направил доктора с медсестрой, снабдил деньгами, адресом, смысл был в том, чтобы привезти ее в санаторий, где можно было бы организовать усиленное лечение. Врач позвонил мне через три дня, Лена умерла, остановилось сердце.

На похороны я опоздал, положил на могилу цветы, постоял перед портретом, на котором она была еще молода и красива. Признаюсь, я плакал.

Кампания молчала. Вошедший повар доложил, что чай готов.

Женитьба Золотухина

Рассказ

Нет, не напрасно грозился партийный секретарь, что за аморальное поведение передаст дело, он так и сказал, что дело, – передаст в райком, и пусть там с ним разбираются. Семену Золотухину противно было, что в его жизнь вмешиваются посторонние, терпимо, когда это касается работы, тут никуда не попрушь, заместитель председателя по животноводству кругом подотчетен, но с бабами-то позвольте самому разобраться. Ничего подобного, в последний раз парторг пригрозил: молва идет, потому собирайся, член партии, в райком и объясняйся, почему ты на старости лет с ума стал сходить, забросил дом, жену свою, с которой прожил без малого сорок лет, и почти перешел к одинокой Анне Бородиной.

Конечно, со стороны это невозможно понять, потому что и года уже подпирают, и семья у Семена Федоровича была немалая, два сына и дочь, теперь в чужих краях живут, давно на своих ногах. Жена бессловесная, никогда поперек слова не скажет, со всем согласна. Дом приличный, хозяйство, мотоцикл «Урал» ему через райком выделили, считай, первому в колхозе. Со стороны посмотреть: что не жить? А он зачастил к чужой бабе, да и не особо скрывался, а когда в колхозной бухгалтерии женщин за обсуждением непутевой Анны застукал, спокойно сказал враз онемевшим, что Анна теперь жена ему, фактически жена, и что формальности все для людей они на днях оформят.

Вскоре после этого в райком поехал, на всякий случай партийный билет с собой взял, Анну успокоил: никакого значения для них этот разговор не возымеет, разве что ускорит события да кровь немного попортит.

Первого секретаря Рыбакова Семен хорошо знал, тот в колхозе бывал частенько, заместителя уважал, советовался по хозяйственным делам, но была за первым нетерпимость к вольным проявлениям, например, пристрастия к спиртному он не прощал, а еще любовных приключений. Поговаривали, что в молодые годы Рыбаков сам был ходок еще тот, но со временем образумился, да и должность уже не позволяла вольничать, все-таки деревня, не спрячешься, люди все видят. В душе Семен заранее смирился с любым решением райкома, но как-то занозило, партбилет он на фронте получал, правда, тот давно отняли и выдали в порядке обмена новый, но год-то вступления обозначен, 1943-й. Знатное было время, по всем фронтам наступали, Семен в роте автоматчиков один остался от первого призыва, всех друзей схоронил или по госпиталям растерял. Отдашь билет – как часть памяти выбросишь.

Перед самым обедом секретарша позвала его из коридора, он вошел в кабинет, в котором не раз бывал на совещаниях. Рыбаков кивнул, не вставая, и руки не протянул, это Золотухин отметил и заодно утвердился, что добра ждать не приходится.

– Садись, – сказал хозяин кабинета. Гость примостился на крайний стульчик. – Рассказывай, Семен Федорович, как дошел до такой жизни.

– Вы про работу или про что, Василий Петрович? – неожиданно для себя переспросил Семен.

– Ты дурака-то не валяй, мы с тобой не тридцать ли годов знакомы, так что давай начистоту, что там у тебя с семьей?

Золотухин хотел было сказать, что семьи у него давно нет, как детей проводили, так и нарушилось все, будто они развезли с собой все благополучие и благопристойность этого завидного дома. Куда-то в пустоту провалились беззаботные дни семейной радости, когда после долгого дня на работе он приходил домой, мылся в баньке, заботливо протопленной хозяйкой, говорил с ребяташками об учебе, об играх, о книжках прочитанных. Не было для него другой жизни, работа и семья, жена и дети. Конечно, не насильно его женили, к тому времени такая мода прошла, сам выбрал свою деревенскую, сразу после демобилизации. Он пытался после определить границу между нормальной жизнью и ее утратой, и находил эту грань как раз на прощании с дочкой, которая после техникума вышла замуж и без свадьбы уехала на Север. Родители остались вдвоем, и сразу стало заметно, насколько они чужие без детей. Семен испугался своего открытия, но каждый день подтверждал, что это правда. Нет, он не ругался с женой, не устраивали они скандалы на всю улицу, как это бывало кое у кого, и сковородками друг в друга не

швырялись. Опустила вдруг душа, жену ни в чем не винил, да и сам долго не мог разобраться, почему пироги стали невкусными, почему незаметно стал ночевать на диванчике, сначала как бы случайно засыпал под телевизор, потом и вовсе перебрался.

– Что там у тебя с семьей?

– С женой разводиться буду, Василий Петрович, так получается.

– Ты к женщине этой совсем перешел, с вещами?

– Пока нет, иногда дома ночую, хозяйство все-таки, надо поддерживать.

Секретарь встал из-за стола, прошелся по кабинету:

– Нехорошая картина вырисовывается, Семен Федорович, для руководителя, для члена партии, что люди говорят, ты знаешь? А говорят, что коммунист не может вести аморальный образ жизни. Ты согласен?

Семен напрягся:

– Не согласен, Василий Петрович, потому что коммунист тоже человек, а у человека чувства есть, как тут быть? В уставе нигде не написано, что я должен жить с нелюбимой женщиной.

– Ишь ты, какой теоретик, под свое многоженство уже марксизм подвел. Ладно, не пузырись. Ты кругом не прав, потому слушай. Выговор по партийной линии ты получишь, на работе оставим, тебе сколько до пенсии?

– Два года.

– Доработаешь, там посмотрим. Имей в виду, поблажка тебе только за счет твоих заслуг, а что касается женщин, ну, подумай сам, Семен Федорович, дай сегодня волю – половина мужиков своих баб бросит, ведь так?

Золотухин опять хотел сказать, что партийной дисциплиной семью не удержишь, но перечить не стал.

Анна увидела его в окно и выскочила в ограду, встретила у калитки. Семен обнял ее, пригладил выбившиеся из-под платка волосы, вытер набежавшие слезы. Ему стало легко и просто, так всегда было, когда он приходил к ней. Он давно заметил эту работающую женщину, громкоголосую, но безвредную, она не жаловалась никогда, а прямо высказывала все претензии телятницы к руководству, Семен Федорович старался поправить дела, чтобы в следующий раз вопросов было меньше. Он и сам не заметил, что зачастил в телятник, заботиться о подрастающем молодняке входило в его обязанности, но многие животноводы видели, что не все так просто.

Тогда же устроили на ферме встречу Нового года, голубой огонек назвали, посидели за столом в красном уголке, выпили, песен попели, даже потанцевали под гармошку, скотник Пантелей Шубин съездил домой, привез хромку. Расходились уже под утро, да так вышло, что мимо дома Семен утянулся вслед за Анной, догнал ее в калитке, придержал за рукав:

– Что же ты от меня бежишь, Анна, брезгуешь моими годами?

– Разговоров боюсь, Семен Федорович, жена у тебя и работа ответственная.

– В избу-то пустишь?

Она молча прошла в ограду, открыла дверь, в избе включила свет, задернула занавески на окнах, присела к печке и подпалила приготовленные заранее дрова. Не снимая полушубка, он привалился к столу, положил шапку на подоконник.

– Закурить разрешишь?

– Кури, вот блюдечко под пепел.

– Анна, я есть хочу, салаты-винегреты не по мне. Не дай с голоду помереть.

Она пихнула на элетроплитку кастрюльку с водой, сунула в нее кипятильник и принесла с мороза мешочек с пельменями. Порезала булку подового домашнего хлеба, из подполья достала грузди, огурцы и капусту, открыла банку помидоров, поставила бутылку водки. Готовые пельмени выложила в глубокую тарелку и залила бульоном:

– Угощайся, Семен Федорович.

– А себе рюмку?

– Не пью я совсем.

– Со мной. Прошу, Анна.

– Ради тебя только. С Новым годом, Семен Федорович!

Она пригубила рюмку, сморщилась и закусила грибочком. Семен густо обсыпал пельмени перцем, полил уксусом и хлебал деревянной ложкой вместе с бульоном.

– Анна, отчего замуж не выходишь? Женщина ты видная, все при всем, есть на что посмотреть, на работе молодец, в доме у тебя порядочек.

Анна смахнула слезу:

– В молодости не повезло на доброго мужика, а потом где его взять, толковые все прибраны, а бросовые мне не нужны, лучше одной мучиться.

– Меня не прогонишь сегодня?

– Не прогоню. Только до света домой уйдешь, чтоб не видел никто...

Давненько это было, с той поры жизнь Семена стала другой, с тайным неведомым смыслом, он в свою ограду заходил как в чужую, свою скотину управлял, как соседскую, когда хозяева уезжали дня на три в гости к детям, зато обрел Анну, в ее избе с отгороженной маленькой горенкой было тепло и уютно, и он не задумывался о причинах этих перемен, только удивлялся уже почти забытому чувству влюбленности. Гнал, конечно, от себя такие мысли, но никуда не денешься, с Анной не просто баловство, как иногда случается, а душевное и сердечное, и это его радовало.

С женой объяснился спокойно, хотя тянул до последнего, она сама и попросила уйти.

– Переходи к ней совсем, Семен, не позорь сам себя, да и детям надо сообщить, а то в каждом письме спрашивают.

– Ты не переживай, я кроме своего барахла ничего не возьму, да мотоцикл еще. Деньги с книжки на твою переводу, половину. Детям напиши, как есть, пусть потерпят с выводами, потом поймут, с годами. Не суди меня строго. Прощай.

Утром на двери колхозного правления Семен увидел объявление о партийном собрании с повесткой «Персональное дело члена КПСС Золотухина С. Ф.», не заходя к себе, прошел в кабинет парторга.

– Собрание ты назначил?

– Не я, а партком по согласованию с райкомом. Твое поведение надо обсудить.

Семен чувствовал, что кровь закипает, но взял себя в руки:

– Убери объявление, не смей людей. Что же вы, как вампиры, любите в чужих жизнях копать и кровь пить? Есть у тебя пара подручных ораторов, они сами уже ничего не могут, ни бабу обнять, ни ста грамм выпить, потому готовы растерзать

любого, кто выпьет и обнимет. До чего же вы мне надоели со своей дурью! Сними объявление, а я сейчас вернусь.

Он прошел в свой кабинет, открыл сейф, взял партийный билет, аккуратно отделил фотографию от бумаги и вернулся в партком. Секретарь говорил по телефону, увидев вошедшего, крикнул в трубку:

– А вот и он сам! Хорошо, передаю.

И протянул трубку Золотухину.

– Слушаю, – сказал Семен.

– Здравствуй, Рыбаков. Ты чего там вольничаешь? Говорят, совсем перешел к своей любовнице? Зачем требуешь объявление снимать?

– По мне, пусть висит, Василий Петрович, только я на собрание уже не пойду.

– Как не пойдешь, ты что задумал, Семен?

– Уже решил. Чтобы партию не позорить, сдаю партбилет.

– Обожди, не дури, я приеду на собрание.

Золотухин устало улыбнулся:

– Не надо ничего предпринимать, я все решил. И за должность не держусь, раз беспартийный – на рядовую работу пойду, ты же знаешь, Василий Петрович, что я мужик работающий.

И положил трубку.

Лида

Рассказ

Поздней осенью ему сообщили по телефону, что на родине умер давний его товарищ, с которым куролесили в комсомольскую молодость, да и в зрелые годы частенько встречались, отмечая радостные воспоминания полуночными застольями. Он долго болел, умирал тяжело, но, бывая в селе, Михаил не заходил в его дом: какая-то вина появилась перед человеком, вот он лежит, а ты здоровый. Но на похороны приехал, проводил до исхудавшего деревенского кладбища на родине друга, да и деревни почти

совсем нет, так, несколько домов. Но такова была его воля. С кладбища все заторопились в райцентровскую столовую, где уже был горячий обед, Михаил отстал от колонны машин и оглядывал окрестности. Вот тут хорошие были сенокосы – все позаросло кустарником и камышом, на тех увалах добрый хлеб молотили, теперь, похоже, не пашут. Чуть в стороне остается деревня Паленка, она вся вымерла, едва теплятся несколько усадеб. А ведь было отделение совхоза, вот тут клуб был, кино крутили... Клуб...

Молодым парнем работал он в райкоме комсомола, жил у сестры на вольных хлебах, домой приезжал редко. А уборка та, это конец шестидесятых, замечательная была, за всю осень ни одного дождя, урожай хоть и не очень богатый, но зерно сухое. Настроение у начальства отличное, вот и отпустил первый секретарь своего инструктора в родную деревню отдохнуть дня на три.

...Михаил вышел из машины и прошел пешком сотню метров. Вот тут был мостик, грязь болотную заваливали бревнами, а потом присыпали сухой землей. Большак проложили чуть в стороне, но к мостику Михаил подошел. Густой травой заросла дорога, если бы не бдительная память, ни за что не узнать.

У хлебоуборки выделялись два промежуточных финиша: обмолот хлебов и отправка зерна в госпоставки. Когда комбайнеры уже бражничали, на складах шла круглосуточная работа, зерно отведали, грузили в машины и отправляли на элеватор. Каждый год помогать крестьянам приезжали тысячи горожан, в основном студенты и молодой рабочий класс с фабрик местной промышленности.

После бани Михаил вытащил из сарая велосипед, подкачал колеса и поехал в сторону центра. Коров уже прибрали, деревня успокаивалась и готовилась ко сну. Не встретив никого из парней, Михаил остановил пацана:

- Где ребяташки собираются?
- Как – где? В Паленке.
- А чо в Паленке-то?
- Дак там студентки уборчицы живут.

Через десять минут Михаил был уже у маленького сельского клуба, половину которого, отгороженную висящими на веревках суконными одеялами, занимали студентки. Ребята нехотя здоровались, лишний конкурент никого не радовал.

– Ты пойми, Миша, – Славка горячо дышал ему в лицо. – Девчонки уже две недели тут, всех поделили.

- Ладно. Откуда они?
- С Ишима. Со швейной фабрики. Студентки.

Студентами тогда называли всю молодежь, приезжающую на уборку, так повелось, и всем было понятно.

Темнело, несколько девушек стали собираться в ночную смену, Михаил со Славкой протянули от розетки провод и над умывальником подвесили лампочку. Три девчонки пришли со склада, под фонарем разматывали платки и стали разными: русая, рыжая, темненькая.

– Кто же догадался фонарь повесить? Не тот ли хлыщ? – безразлично спросила рыжая.

- Да, новенький кавалер подъехал, расстарался.

Рыжая уже забыла про фонарь и про хлыща. Славка толкнул в бок:

– Вот она свободна, но никого до себя не допускает. Попробуй.

– Ты объясни, она психованная или через чур гордая? Тоже мне: хлыщ!

– А хрен ее знает, несколько парней подклинивали, отшила, даже на смех подняла.

– Ладно, не буду на рожон лезть.

Вторую половину зала стали готовить для танцев, хотели подмести веником, поднялась пыль, Михаил взял ведро воды, большую тряпку и смачно протер пол.

Девчонкам понравилось, они стояли полукругом и устроили аплодисменты.

Рыжеволосая в свеженьком халате и тюрбаном банного полотенца на голове выглянула из-за одеяла. Михаил удивился, что она умудрилась где-то помыться.

– В чью честь орации? – заинтересованно спросила она.

Михаил отжал тряпку и бросил ее в пустое ведро:

– Представьте, какая несправедливость: когда вы, усталые и запыленные, пришли со смены, толпа встретила вас почти молчанием. И это настоящих героев! А тут какой-то хлыщ элементарно драит загаженный танцевальный пол, и ему бьют в ладоши!

– Странно, но я с вами согласна, – и она скрылась за одеялом. Радиола скрипела невнятно, да никто и не слушал, рассосались по углам, шушукались, несколько пар удалились на улицу. Михаил остановил маленькую говорливую девчонку:

– Рыжую вашу как зовут?

– А ты пойдешь, познакомься.

– Неудобно, в ночное время в дамские апартаменты. Пойди, позови ее.

– Не пойдет, – убежденно сказала Маленькая.

– Может, она нездорова? Так скажи, что я в армии служил по медицинской части, могу помочь.

– Сходи, что тебе стоит? – поддержал Сашка Связин, ее кавалер.

Маленькая нырнула, и долго по ту сторону одеял шуршали девичьи шепотки.

Михаил стоял у холодной круглой печи и прикидывал: бросить все и уехать в село, или дожидаться, чем кончится эта рыжеватая история.

Девушка вышла неожиданно эффектно. Тонкое шелковое платье облегло ее фигуру, высокая прическа делала еще стройней. Михаил сделал шаг навстречу и неожиданно поклонился.

– У нас с вами как при королевских дворах. Вы пригласили погулять, так пойдете, а то мне утром в смену, спать уже не остается.

Деревня была тускло освещена, но лунный свет желанней и романтичней, Михаил предложил пойти по дороге в сторону села. Молчали.

– Куда делся ваш порыв красноречия?

– Не знаю, с чего начать. Меня зовут Михаил, лучше Миша.

– А я Лида.

– Редкое имя.

– Все молодые люди всегда так говорят.

– У вас большой опыт общения с молодыми людьми?

– Если вы, Миша, хотели меня обидеть, вам это не удалось. Я люблю читать, и об этом пишу в книгах.

– Вы окончили школу?

– Нет.

– А как попали на швейную фабрику?

Лида промолчала.

– Мне сказали, что вы работаете в райкоме комсомола?

– Да, но надо поступать учиться.

– Я тоже очень хотела учиться

– Лида, почему вы не приняли ухаживания наших парней?

– Согласитесь, вы задаете странный вопрос, ведь задружи я с вашими парнями, вы сегодня остались бы без пары. Или вам это все равно?

– Нет. Мне нравится, что вы согласились прогуляться со мной.

– Не надо меня обманывать, вам нравится, что я до того ни с кем не гуляла, а с вами согласилась. Ведь правда?

– Лида, вы меня запутали. Да, мне нравится, что вы пошли со мной, ну, и что здесь неприличного? Если вы думаете, что завтра я буду этим гордиться и ставить себя выше моих друзей, то ошибаетесь.

– Тогда скажите, почему вы так настойчиво добивались моего внимания?

– Честно?

– Да!

– Потому что ты мне очень понравилась, сразу, еще как платочек сбросила. Я даже про хлыща не сразу заметил. Лидочка! – Он осторожно повернул ее за плечи, ощутив нехотят подвернувшуюся под руку ляпочку, и смело поцеловал в полураскрытые губы. Она взяла в ладони его лицо и посмотрела в глаза. Он еще раз крепко поцеловал ее. Лида заплакала.

Михаил хорошо помнил тот момент, и было это именно тут, на мостике. Он уже тогда заметил, что Лида плакала не от радости и счастья, а горько, страдальчески.

– Лидочка, я обидел тебя? Прости, родная, ты очень мне нравишься, я не мог удержаться.

– Мишенька, мне так счастливо никогда не будет больше. Твой поцелуй такой верный и любящий. Так не поцелует парень от нечего делать.

Да, так оно и было. Странно, но вдруг вспомнились такие слова и детали, которые лежали в дальнем углу памяти, а сейчас всплывали, желанные и родные. Они долго еще гуляли по пустынной дороге, пока Михаил вспомнил, что Лиде завтра на смену. Она сказала:

– Давай у клуба простимся просто так, чтобы никто не видел, что мы целуемся, ладно?

На другой день он приехал на Паленский склад к обеду, девчонки встретили его радостным визгом, он поочередно отстранял их от вороха пшеницы, давая отдохнуть, а сам широкими взмахами загонял под транспортер зерно, и кузов быстро наполнялся поверх бортов. Лида ничем не показала особого к нему отношения, а ему так хотелось, чтобы и девчонки, и бабы их деревни, и шофера автоколонны знали, что вот эту красивую девушку он вчера всю ночь целовал вон на том деревенском проселке. За час до пересмены он уехал, ничего не сказав, поставил паленской знакомой бабушке Фросе бутылку водки, она разрешила вымыть студенток в бане. Михаил сам натаскал воды,

разжег котел, наломал свежих, хотя и запоздалых, веников, вымыл полки и пол. На складе посадил Маленькую на багажник велосипеда и привез в клуб:

– Возьми для каждой только по плавочкам и халатику чистому, в баню вас поведу.

Вечером приехал, когда уже стемнело, пришлось с отцом править нарушенную скотиной изгородь. Лида встретила его вот на этом мостике, прижалась всем тельцем, сердечко прыгает.

– Миша, ничего не говори, я полюбила тебя насовсем, я так боялась, что может случиться, и оно так вышло. Мне говорила мама, но когда мы слушаем маму? – Она плакала и не убирала слез.

– Лидочка, радоваться надо, а не плакать, я тоже люблю тебя, ты мне такая родная, что слов нет. Лида, выходи за меня замуж, я живу у сестры, она примет нас, а потом квартиру дадут. И работа. В бытовом обслуживании швейный цех есть. Поедем после уборки к твоим родителям, а к моим хоть завтра, они в этом селе.

Лида опять взяла в руки его лицо и глубоко посмотрела в глаза.

– Миша, ты правду говоришь, и это особенно горько. Мы никогда не можем быть мужем и женой.

– Почему?

– Мы очень разные. Я немка, лютеранка, ты православный русский. Мои родители никогда не согласятся на такой брак.

Михаил засмеялся:

– Лидочка, милая, двадцатый век на дворе, причем здесь твой Лютер и мой Христос? Они будут против нашей любви? Да я любого ортодокса сумею убедить, что любовь угодна всякой вере!

– И все равно мы разные. Ты умный парень, будешь учиться, станешь большим человеком, а я простая швея.

– И что? Вот скажи, у министра обороны жена кто? Генерал? Простая женщина. И ты у меня будешь хорошей хозяйкой в доме.

Лида отошла от него на полшага и тихо сказала:

– Миша, я не девушка от Володьки, это мой парень, он сейчас плавает по Иртышу от Омского пароходства.

– Лида!

– Ты должен жениться на девушке, чтобы никто, кроме тебя, не прикасался к ней. Я уже не могу быть твоей женой.

– Лида, это такой бред, средневековье!

– Совсем нет. Я всю жизнь прожила в такой семье, мама не девушкой досталась отцу. Они родили троих детей, но отец постоянно упрекал и даже бил маму. Это я его слова повторила, что никто не должен прикасаться к жене, кроме тебя.

Лида уже взяла себя в руки и говорила спокойно и убежденно, зато Михаила било, как в лихорадке, он не мог ни чего возразить на несложные, но такие непреодолимые аргументы девушки...

...Михаил вернулся к машине. Что же было потом? Два вечера он не приезжал. Потом ему сказали, что все девчонки уговаривали ее согласиться, она плакала, но отказывалась. Потом им дали расчет, и сказали, что утренним автобусом отправят в Ишим. Они с ребятами решили устроить прощальный ужин. Он объехал все магазины

райцентра и в одном увидел вино «Лидия». Купил целый портфель и привез в деревню. Когда стол был уже накрыт, выставил бутылки «Лидия». Все были поражены. Лида отнеслась к этому спокойно и почти равнодушно.

Видно, так было задумано, что через пару часов они остались в клубе одни, молодежь шумела где-то далеко в улице.

– Спасибо тебе за вино, милый, это так приятно. Никогда больше я этого не почувствую.

Михаил обнял ее и тихонько положил на кровать, целуя и пытаясь расстегнуть блузку.

– Мишенька, блузка на кнопках, а не на пуговичках. Я тоже очень хочу быть с тобой, но это не случится. Понимаешь, я слишком сильно тебя люблю.

Они вышли на улицу, сошлись с основной кампанией, и никто не верил, что ничего не произошло.

Михаил вдруг вспомнил: он же потом ездил к Лиде в Ишим! Та самая Маленькая дала ему адрес: сразу за автовокзалом, четвертый домик справа, а фамилия Брэм. Знакомая фамилия, какой-то ученый справочник животного мира составил, кажется. Он быстро нашел маленький беленый домик с плетеным заборчиком, на лай собачки вышла женщина, очень похожая на дочь. Михаил поздоровался и спросил Лиду. Женщина ответила, что она уехала в Омск.

– Простите, а вы Миша?

– Да.

– Лида просила передать, что все правда, вы понимаете, о чем. И еще просила ее не искать.

Михаил выехал на большак и на тихой скорости проехал по тому месту, где они гуляли с Лидой. Какая умная и проницательная девчонка! Какая красавица! И как во многом она оказалась права.

Последняя гроза

Рассказ

Гром больно ударился о металлическую крышу и гулко упал в пустую бочку для дождевой воды. Братищев уже не спал, разбуженный грозой, но от грохота над головой вздрогнул. Молнии совались в каждое окно дома. Он знал, что сейчас, вот через минутку хлестанет дождь. Он будет шквальный, потому что с ветром, сильный, иссохшая земля не успеет впитать влагу, и она скатится по кюветам и ложбинкам в озеро, взмутив его до самого дна. Понял, что уснуть уже не придется. Дождь обрушился разом, через раскрытое окно потянуло запахом горячей земли, охлажденной упавшей водой, забулькало в бочке, берёзки под окнами ещё минуту назад позванивали полусухими листьями, теперь заговорили веселей и радостней. Грома больше не было, скатившаяся гроза прощалась всполохами неслышных молний. Дождь успокоился после первого рывка и сыпал густо и ровно.

Он встал, сварил кофе, как всегда, торопясь и обжигаясь, мелкими глотками выпил первую чашку, налил вторую и ушёл в кабинет. Да, год назад он был бы несказанно рад этому долгожданному дождю, потому что хлеба по всему району взошли друженько, зазеленела вся природа, а вот уже две недели, как кончились запасы, и всходы загрузили, мучились жаждой, боялись сухих казахских ветров. Он и сегодня рад, хотя вчерашнего руководителя района виды на урожай уже не касаются, сейчас в его райкомовском кабинете начальник от новой власти.

Он мог уйти раньше, товарищи предлагали солидные должности в области, но остался до конца, до милицейской охраны у его опломбированного кабинета. Было совестно бросать людей, с которыми проработал пятнадцать лет, жалко дом и сад, который создавали и обустраивали вместе с Ниной. Было неловко и перед её памятью: три года прошло, и уехал, оставил одну...

Его не удивило, что не предложили никакой работы, а ведь до пенсии почти пятилетка. Знал, что новые будут унижать, но не думал, что многие из близких тоже отвернутся и здороваться станут скороговоркой, и руки не подадут. Это угнетало, потому старался на народе не появляться, в магазин ездил на край села, к самому закрытию.

Сразу после отставки приехали оба сына, северяне, при должностях в Газпроме, звали к себе, но отказался, соврал, что на днях решится вопрос с работой. Не решился. Дмитрий ещё раньше прикинул, что скопленных денег ему года на три хватит, даже если работы не найдёт, но с Нового года взлетели цены, и государство обнулило банковские вклады населения.

Убрал чашку, придвинул стопку общих тетрадей в клеённом переплёте, с первых дней каждого января заводил новую, здесь были планы на неделю, заметки на память, записи о погоде на каждый день. Отдельно за отчерченным полем просьбы людей, высказанные при встречах в поле и на фермах, или бывших на приёме в кабинете. Красным карандашом помечены не исполненные, они и сейчас обжигали глаз. Власть первого секретаря райкома далеко не безгранична, и в случае срыва, невозможности помочь человеку, он ехал и объяснял. Не всегда находил понимание, видел огорчение, обиду и даже выплеск злости.

Теперь у него было много времени вспоминать и анализировать, и к неизвестным итогам часто путаными тропами приводила память. Мстительная это штука – память, вот выдернула историю, а тогда считалось, что жёсткость и требовательность необходимы и даже обязательны в партийной работе. Он и кадры свои так воспитывал, последние пять лет вообще никого со стороны в район не брали, даже начальника милиции, сына колхозного бригадира, после окончания Академии МВД привез и представил коллективу. С начальником областного управления пришлось круто поговорить, тот земляк на северный

город планировал. Этот подполковник и дожидался его в приемной после команды закрыть райком, встал, обратился по форме и всё доложил, а потом извинился, что приходится выполнять грязные приказы, чтобы хоть как-то поддержать, сам пришел, никому не поручил.

После обеда вышел за калитку, вынул из ящика газету «Правда», ушёл в беседку между рядами яблонь. Отцвели, вся земля украшена белым покрывалом, изрядно помятым ночным дождем. На каждой ветке десятки заводышей, но как разумно всё устроено в природе – скинет деревце лишние плоды, которые не поднять, не напитать соком, не одарить человека. Но и того, что бывает осенью, с избытком для себя и родных, коробками увозит старикам, бывшим труженикам, которых знает всех в районе. Развернул газету, скользнул по заголовкам: все всё увидели, все рыдают по советской власти. А где вы были, когда он после создания ГКЧП многократно звонил первому секретарю обкома и предлагал, просил, требовал срочно заменить областное руководство УВД и КГБ, чтобы свои люди на страже законности. Докладывал, что сотни добровольцев готовы сейчас вылететь в столицу, чтобы от имени народа не допустить контрреволюции. И каждая область сделала бы так... Нет, его успокаивали, что всё под контролем, а он, старый аппаратчик, видел, что всё трещит по швам, власть отдана улице, а страна продана за тридцать библейских монет.

Читать не стал, прошел вдоль грядки. Конечно, порядочек не такой, как при Нине, но он старался посеять и посадить все, что у них росло раньше. И все родилось, потому что и семена у хозяйки всегда были свои, и почву она готовила под каждый овощ по-своему. Сощипнул несколько пёрышек лука и зимнего чеснока, выдернул пяток редисок, черная русская редька будет позже. Все перемыл под краном, решил на ужин сделать окрошку. Яйца и картошка с утра сварены. Квас делал сам, рецепт жены помнил.

В комнате телефон подал сигнал, взял трубку, ответил.

– Дмитрий Андреевич, добрый вечер. Не узнал? Елена Сергеевна.

Узнал, конечно, потому что последние пять лет по телефону общались часто, Елена была куратором района от орготдела обкома. Он знал, что после роспуска партии ее пригласили на руководство управлением социальной защиты населения. В эти полгода она не беспокоила.

– Слышу, Лена, здравствуй.

– Я в твоём районе, ну, ты понимаешь. Командировка. День отработала, вечер свободный. Пригласишь?

– Дом мой помнишь? Или я подъеду?

Она засмеялась:

– Ты меня мелко крошишь, Дима, подо мной джип японский. Буду через полтора часа.

Дмитрий положил трубку. Лена-Елена, обкомовская красавица, как её звали в своём кругу. Профессиональный партработник, строгая и жесткая, заместитель заведующего орготделом, а её побаивались мужчины – заведующие другими отделами и секретари райкомов и горкомов. Могла отбрить на совещании или на заседании бюро почище Первого. У нее семья, муж и трое детей, но о них никто ничего не знал, даже женщины. Через сорок дней после похорон Нины Дмитрию дали путевку в приличный санаторий, только для партверхушки, как сказал Первый, вынимая из сейфа пакет. Он поехал, и через три дня в вестибюле встретил Елену Сергеевну. Заметил, что она несколько не удивлена встречей, вечер провели в ресторане, пили только сухое, говорили ни о чем. Дмитрий видел, что до

отбоя еще час, а дама не просит проводить. Пригласить к себе – неуместно, она должна это понимать. Прошли по аллее, сели у фонтана.

– Дмитрий Андреевич. – Она кашлянула, словно что-то сдавило горло. – Мы всегда были в рамках официоза. Я хочу предложить обращаться по именам и на ты. Принимается?

Он улыбнулся и кивнул:

– Согласен. Надо было за столом и на брудершафт.

– Дмитрий, я не склонна к шуткам. Должна тебе сказать..., этого не знает никто. Ты мне очень нравишься, если не выкручивать слова, я люблю тебя. Давно. И никогда бы ты этого не услышал, если бы не остался один.

Южная птичка в соседнем кусте явно не к месту устроила трели.

– Буду откровенна до конца. Мы очень хорошо знакомы, ты знаешь, что у меня семья, муж, мне грех жаловаться на жизнь, но, Дмитрий Андреевич, я устала бороться со своим чувством. Это не каприз первокурсницы. Я хочу быть с тобой. Прости, это не ультиматум, в наших отношениях ничего не изменится, если ты... ну, откажешь мне в этом несколько странном сватовстве.

Она сидела, опустив голову, ждала ответа или уже знала его? Он курил и молчал. Елена вынула платок и коснулась глаз. Дмитрий повернулся к ней, взял за руку, она встрепенулась.

– Лена, я благодарен тебе за искренний разговор. Чувство твое мне приятно, все-таки мужик, прежде всего. Только, Лена, я не готов тебе сейчас сказать что-то определенное. У нас впереди три недели, есть время подумать и обсудить. Ты согласна?

Елена засмеялась, а смех с горчинкой:

– Дима, дорогой, если бы ты знал, чего мне стоило выбить у дирекции санатория место на три дня, какие фантастические истории я им придумала. Да, можно было заказать путевку, я знала твои сроки, но это бы насторожило бдительную общественность. Потому я тут инкогнито, и на послезавтра у меня билет на самолет. Так что будешь думать один. Проводи меня.

В эту ночь он не спал, достал из холодильника бутылку армянского коньяка, плеснул в бокал и единым духом выпил. Признавался себе, что Елена Сергеевна нравится ему, и тут же в сознании возникала Нина, ее слова, что не будет она в обиде, если найдет женщину, красивую, умную и хозяйственную. Он запрещал ей говорить об этом, но в последнюю минутку она все-таки прошептала: «Полюби другую, только меня не забывай».

Тогда Елена Сергеевна не искала больше встречи и уехала, не попрощавшись. Через месяц позвонила, спросила, нашел ли работу, предложила место своего заместителя, но о главном – ни намека. Так и общались, дежурно и бесстрастно. Однажды она неожиданно закончила разговор:

– Да, еще одна новость: я развелась с мужем. Дети выросли, быть вместе просто нет смысла...

И вот приезд, нечаянный визит.

Проводив гостью, Дмитрий накрыл неубранный стол чистым полотенцем и ушел в кабинет. Встреча прошла спокойно, хотя он чувствовал напряжение: вдруг Елена напомнит о курортном разговоре. Нет, все обошлось, но один сюжет общения смутил, он быстро справился с эмоциями и старательно непринужденно пожал плечами. Как бы между прочим, Елена сказала, что к ней в управление пришла новая сотрудница, молодая девушка с такой

же, как у него, фамилией и к тому же Лира Дмитриевна. Он кивнул: бывает, фамилия не редкая, а Дмитриев на Руси всегда хватало. Елена заговорила о своих служебных делах, он был благодарен ей, еще пары слов о таинственной девушке он бы не выдержал.

...Он работал заведующим отделом пропаганды крупного пригородного райкома, уже родился сын, Нина стала главным врачом больницы. Получили хорошую квартиру в отдельном домике, купили «Жигули» новой модели. Дмитрий хорошо помнил этот день.

Его вызвал секретарь райкома и сказал, что приезжает лектор из пединститута, но по линии обкома, потому что кандидат экономических наук, и надо организовать аудиторию. Для международного гораздо проще собрать людей, политикой тогда все интересовались, а кто будет слушать глубокие мысли о крестьянской экономике человека, никогда не работавшего в сельском хозяйстве?

Лектор оказалась молодой и красивой женщиной, она ни на что не претендовала, не очень любознательные слушатели ее устраивали, говорила она легко и просто, в общем, за день выступили в трех точках. Она сказала, что этого достаточно, и попросила увезти ее в город. Он сел сопровождать под понимающую улыбку райкомовского водителя. У подъезда попрощались официальным рукопожатием и уточнили, что утром машина будет к восьми часам. Ее немножко удивило, что утром он тоже приехал, отработали день, в перерывах между лекциями говоря обо всем. Время от времени он улавливал ее интерес к нему, она же нравилась ему вся: крепкая, подвижная, русоволосая, с едва заметными веснушками.

– Вы сегодня снова будете меня провожать в город? – вдруг спросила она.

– Если будет позволено... – разыграл он смиренного.

– Более того, я буду настаивать, – подхватила она тональность игры.

Когда подъехали к дому, она пригласила на чашку кофе, явно не очень настойчиво приглашая и водителя. Вошли в квартиру, он осторожно осматривался, выискивая признаки чьего-то присутствия.

– Не оглядывайтесь, здесь никто не живет, кроме меня. Был кот, но пришлось отдать подруге, когда уезжала в Москву, в аспирантуру. Вы кофе любите с сахаром?

– Я не люблю сладкий кофе.

– А все остальное? Например, вы любите сладко целовать женщину, которая вам нравится?

Он не был тихоней, но женский натиск всегда смущал, вот и сейчас покраснел, и она сразу это отметила:

– Не считайте меня..., ну, распушенной, что ли. Да, у меня нет мужа, но я нормальная женщина. Были встречи раз в неделю, недавно они прекратились, по моей инициативе. Вы мне понравились сразу. Нет, меня не смущает, что вы женаты, это ее проблемы. После такого признания вы, наконец, насмелитесь меня поцеловать?

Они встречались так часто, как позволяло время. Выехать из райцентра в город – нужен приличный повод. Секретарь райкома, который к нему очень хорошо относился, скоро обо всем узнал от водителя и стал направлять с «особыми поручениями». В выходные сам свободно уезжал, ссылаясь на дела в библиотеке или архиве.

– Почему ты не выйдешь замуж? Молодая, красивая, состоятельная. Что еще нужно?

Она поставила на стол турку со свежим кофе, повернулась к нему, скрестив на груди руки:

– Ты, муж и любовник, не знаешь, что нужно, кроме того, что перечислил? Нужно хотя бы немного любить. Нет, что значит «немножко» – просто любить. До встречи с тобой я,

оказывается, вообще не любила. Да, увлекалась, но все проходило. С тобой как-то иначе. Прости, я не рисуюсь. Я бы с удовольствием вышла за тебя, но ты не насмелишься. Ты побоишься мести партии – самой ревнивой женщины. Не пытайся оправдываться, я ведь не обвиняю тебя. Ты очень мне нравишься, но ты уже не мой.

Он часто, слишком часто, чтобы решиться на это, собирался сказать все жене и уйти, но понимал, что этот разговор, последний, окончательный, не состоится никогда.

Ранним летним утром, когда он, по легенде, был в соседнем районе для подготовки вопроса на бюро обкома, она приняла душ, весело распахнула окно и присела к нему на постель:

– Насколько я тебя знаю, новость должна быть приятной. А, впрочем, это не имеет принципиального значения. Я беременна и буду рожать. Ты молод и здоров, к алкоголю равнодушен, не куришь – идеал, а не папа.

Он откровенно не знал, как себя вести. Отпустить на волю радость как-то неуместно, ситуация уж больно пикантная. Отговаривать глупо, поздно и бесполезно. Он обнял ее:

– Я буду вам помогать. Буду приезжать часто. Если, конечно, ты не надумаешь выйти замуж.

Она засмеялась:

– Мужа теперь уж определенно не будет. Ребенок востребует все чувства, какие у меня еще есть. Что касается помощи, да, она будет необходима: пеленки прополоскать, простынки погладить. Милый ты мой, я кандидат наук, докторская почти готова, надо только, чтобы нагрузки не повредили малышу.

Когда он уходил, задал смешной вопрос:

– Это случилось давно?

– Да уж не вчера, – она рассмеялась радостным смехом. – К концу учебного года будем рожать. Имей в виду: я дам ребенку твою фамилию и отчество. Потому что очень тебя люблю.

Его с повышением перевели в другой район. Нина ничего не знала об измене. Он никогда больше не ездил в тот город, к ней и ребенку. Боялся, что останется навсегда. А, может, просто боялся. Галину свою вспоминал с нежностью и благодарностью, пока новые события заслонили прошедшее.

Дмитрий завтра же поедет в область, сделает предложение Елене, встретится с дочерью и заживет новой жизнью. Так ему казалось...

До самых глухих уголков своей души он знал себя, как толстое личное дело, хранящееся вместе с секретными бумагами обкома. И сейчас принятое решение было просто мечтой, которой не жить, он, еще вчера бывший сильнейшим человеком в районе, при проверке безжалостной жизнью оказался слабым и непригодным. Он охватил голову руками и завыл, захрипел, сдерживая рыдания. Один в своем доме, в родном селе, в огромном и чужом мире. Взял за узкое горло бутылку коньяка, но вернул на место: боялся запить.

Он всегда считал свою жизнь идеальной, а партийную работу важной и сильно влияющей на людей, на производство. Когда он говорил об этом на партийных собраниях, на аппаратном, уже став первым, никто ему не возражал. Возражала жена, его немножко напрягало, что она постоянно в оппозиции, даже в партию не ступает, ссылаясь на большую загруженность в работе. При переезде к месту нового назначения Нина могла претендовать

на должность главного врача, но сразу отказалась от этой мысли, а заведующему облздравом по телефону ответила, что хочет заниматься своими любимыми женщинами, тем более, что открыт новый хорошо оборудованный роддом.

– Дима, вчера у нас было партсобрание. Все члены ушли с рабочих мест в пять часов, говорили не меньше двух. Я спросила своего заместителя, что решили, она с удивлением посмотрела: «Нина Ивановна, что мы можем решить? Главный что-то итожил, но все по старой колее».

Ох, как взвился тогда Братищев, уязвленный едким намеком жены, как грозно пообещал наказать инструктора, курирующего организацию районной больницы, сказал, что в больнице масса проблем, и парторганизация должна сосредоточиться на них, а не переливать из пустого в порожнее. Нина спокойно ответила:

– Дима, в партии врачи и медсестры, завхоз и шофер скорой. И ты всерьез полагаешь, что они могут что-то изменить? Есть главный врач, у него бюджет и власть, причем здесь медсестра с завхозом?

Неужели он неправильно жил? А как правильно?

Пятнадцать лет назад вернулся в родной район первым секретарем райкома. В обкоме сказали, что уверены в нем, району нужен мощный толчок, и он, именно он должен это сделать. Несколько ночей провел, изучая личные дела руководителей и резерва, во второй половине дня выезжал в совхозы, собирал специалистов и просил высказывать свои предложения. Инициативных сортировал на выскочек и перспективных. Резких движений не делал, но постепенно все сжимал в свой кулак. Бригадиров и управляющих из практиков оформил в сельскохозяйственный техникум, договорившись с директором, чтобы на экзаменах мужиков особо не позорили, но теорию давали бы основательно. С тремя директорами пришлось расстаться, они уехали в область и пристроились в разные конторы. Пожалуй, после этого никто не покинул район без его благословения.

Дмитрий поморщился, надо же было вспомнить! Епифанцев работал главным инженером совхоза, скромный парень, без особых заслуг. В то утро его звонок в кабинет был первым:

– Дмитрий Андреевич, я вам со станции Пахомово звоню.

– И как ты там оказался? – удивился Первый.

– Машину жду из Смирновского района, меня туда директором совхоза назначили, приказ на руках.

– Приказ облуправления? Ты и в обкоме был на беседе?

– Да, у секретаря по сельскому хозяйству.

Дмитрий Андреевич вскипел, но сдержался:

– Слушай внимательно, Толя. Машину отпусти, через полчаса поезд в домашнюю сторону, едешь в родной совхоз и никому, слышишь: никому ни слова о твоей карьере.

А потом вышел на отдел кадров областного сельхозуправления, сказал все, что думал о начальнике, вчерашнем коллеге и соседе, потом позвонил секретарю обкома. Тот возмутился:

– Дмитрий Андреевич, ты должен гордиться, что твои люди растут.

– Растут, но для себя растим, а не для дяди. И впредь прошу без бюро райкома наших людей не шевелить.

Он знал, что этим не кончится. Через час звонок Первого:

– Ты почему так себя ведешь? Кадровика отчистил, секретарю обкома нахамил. Район что, твоя вотчина?

– Геннадий Павлович, район моя родина, а я поставлен им руководить, с вашего согласия. Мы серьезно работаем по подготовке резерва кадров, и результаты будут, мы уверены. По этому случаю: Геннадий Павлович, если бы мы видели, что Епифанцев созрел для директорства, неужели не нашли бы ему применения? Парень сырой, он исполнитель, и руководителем никогда не станет, ну, планида у него такая. Я отозвал, чтобы он свою несостоятельность не обнаружил в чужих краях, и чтобы нам потом не краснеть. Прошу вас, дайте команду, чтобы наш район пока не трогали по кадрам.

Первый положил трубку, явно не довольный.

После крутых кадровых решений из газеты или от знакомых о них узнавала Нина, иногда выговаривала, что он за большим районом не видит маленького человека, его семью. Так было после смерти трехлетнего сына агронома дальнего совхоза Новоселова, куда его перевели после громкого скандала. В районе проходил конкурс операторов машинного доения коров, и парторг привез на «горбатом» «Москвиче» свою лучшую доярку. После подведения итогов было простое застолье, так что домой ехали веселые, довольные. Новоселов разглядел, а, может, и раньше глаз положил, что его доярочка очень симпатичная бабочка, а тут хмель ударил в голову, и мимо родного села «Москвич» свернул на лесную дорогу. Кто-то видел, пересвистнули мужу, тот мотоцикл заводит и тем же путем. А Новоселов одумался, когда бабочка сбросила его руку с соблазнительного коленка, и развернул машину. Тут и муж подъехал, баба к нему: «Гоша, хоть убей, ничего у нас не было».

Утром заплаканная жена Новоселова, директор сельской школы, ворвалась в кабинет Первого, рассказала, какой скандал в семье доярочки, заявила о разводе с неверным мужем и тут же просила: «Накажите его, Дмитрий Андреевич, самым строгим образом накажите, чтобы впредь неповадно было». Братищев пообещал, что разберется. Через час несостоявшийся любовник уже сидел перед членами бюро, уронив на грудь голову. В детали не вдавались, Дмитрий звонил на квартиру доярки и тракториста, потому что обоих хорошо знал, муж заверил, что все в порядке, жену пальцем не тронул, а парторгу должен морду набить, по всем правилам. Дмитрий предостерег: «Не вздумай, Егор Семенович, это тюрьмой пахнет, да такие разборки нам с тобой ни к чему. А что жена твоя мужикам нравится – гордись, она у тебя красавица и работница знатная». По Новоселову предложил так: от должности освободить, объявить строгий выговор и направить агрономом в дальний совхоз. Через пару часов позвонила Новоселова: «Дмитрий Андреевич, я просила наказать, но не так же строго!». Он взорвался: «Анна Петровна, мы с вами не на базаре!», и бросил трубку.

Осень выдалась мокрая и холодная. Братищеву потом рассказали. У малыша грипп, высокая температура, фельдшер направила в районную больницу. Но дорога раскисла, никакая машина не пройдет. Отец заводит «Беларусь», заворачивают сына в одеяло и напрямую, через болота всей семьей прорываются к райцентру. Длинные полсотни километров, долгие три часа. Мальчика спасти не удалось.

Никто не винил Первого, он выразил соболезнование Новоселовым, но Нина в тот день призналась, что жесткость партийного руководителя заметно перерастает в жестокость. Дмитрий не стал спорить, перевод скомпрометированного парторга считал правомерным, нельзя было оставлять его на совхозе, да и другим показать, что опасно вольно вести себя,

если ты коммунист, да еще при должности. А ребенок, болезнь, бездорожье – так все сложилось. Да, из того села они через час были бы в больнице, но изменить уже ничего нельзя.

Дмитрий понимал, что таких совпадений не бывает, эта девушка точно его дочь, и потому встретиться с нею надо как можно скорей, тогда и жизнь наполнится смыслом, тогда, наверное, можно решиться на окончательный разговор с Еленой. Понимал, но никак не мог нагнетиться. Да и как эту встречу устроить? Через Елену? Пригласит ее в кабинет, оставит одних, разговор ему надо выстраивать. С чего начинать? Счастливым отец взрослой дочери? Пожелает ли она говорить? Захочет ли признать родителя?

Он знал свою натуру, любую проблему надо решать сразу, не затягивая, а тут уже и спать стал плохо, похудел, бриться стал через день. Надо решать все разом.

Елена обрадовалась его желанию приехать, отправила машину, не на «Уазике» же ему трястись до города. В кабинете крепко пожала руку и предложила чуть отдохнуть в соседней комнатке, умыться, выпить чашку кофе.

– Лена, ты ничего больше не выяснила у Лиры? Был разговор?

Елена Сергеевна улыбнулась:

– Нет, Дима, я не хочу вмешиваться.

– Есть в ней хоть что-то от меня?

– Сложный вопрос. Умница, серьезная, работать умеет. Я ей отдел поручила. Дима, останься в кабинете, я приглашу Лиру Дмитриевну, поговорите. Смелее, ты даже побледнел.

Он встал у шкафа, как-то нелепо развернул газету, когда щелкнул фиксатор двери, поднял глаза на вошедшую девушку. Елена развела руки:

– Знакомьтесь, господа: Дмитрий Андреевич Братищев, мой старинный друг и коллега; Лира Дмитриевна, тоже Братищева, наша ведущая сотрудница. Признаюсь: эта встреча по просьбе моего друга. А я пойду в бухгалтерию, бумаг много скопилось.

Дмитрий искал и не находил в девушке свои черты, она молча сидела за столом, положив перед собой сжатые кулачки, и ждала вопросов.

– Вы извините, барышня, – Братищев замялся. – Ваша фамилия... Возможно, мы... родственники?

Лира подняла голову и строго ответила:

– Не думаю. Я приехала издалека.

– Да, конечно, – смутился Дмитрий. – Страна наша большая.

– Вы предположили, что я ваша дочь? – спросила в упор и громко.

Дмитрий смутился и покраснел:

– Теперь вижу, что ошибался. Извините.

– Нет, почему же? – с напором спросила Лира. – Расскажите о женщине, которая могла родить вам ребенка. Если я правильно понимаю, внебрачного?

Дмитрий взял себя в руки:

– Лира Дмитриевна, вы напрасно столь критичны. Так случилось, но мы любили друг друга.

– Вы помните имя той женщины?

– Конечно, ее зовут Галина.

Девушка сжала пальцы до хруста:

– В каком городе нашей большой страны вы встречались?

Он назвал город. Лира встала. В других обстоятельствах он любовался бы ею: гордая, с крепкой фигурой, жестким характером, в эту минуту очень похожа на маму. Сейчас молча ждал окончательного ответа, который убьет все надежды последнего времени.

– Ничем не могу вам помочь, Дмитрий Андреевич. Я родилась в другом городе, и мою маму звали не Галина.

Она вежливо кивнула и быстро вышла. Дмитрий бессильно сел на стул, мелкая дрожь била его, выдавил из упаковки таблетку, сунул в рот. Пустота в душе пугала его, с надеждой смотрел на дверь, скорей бы пришла Лена. Вот так, Дмитрий Андреевич, жизнь бьет наотмашь и мстит за грехи молодости. Только сейчас он понял всю нелепость своего положения, и хорошо, что эта девушка не его дочь, что он мог ей сказать, если больше двадцати лет даже не пытался узнать, как там Галя с его ребенком. Неужели, Дима, ты действительно такой жестокий, как определила когда-то жена?

Елена вошла и села рядом, взяла его руку:

– Ты огорчен? – спросила заботливо.

– Не знаю, что лучше, – горько улыбнулся Дмитрий. – Но такой исход проще.

– Дима, ты погуляй, я через полчаса освобожусь, поужинаем, водитель тебя увезет.

– Нет, Лена, если ты не против, я бы остался.

Она крепко обняла его и уткнулась лицом в седеющую, когда-то роскошную шевелюру.

Утром Дмитрий проснулся от чьих-то шагов, он вообще отвык от посторонних звуков, но быстро пришел в себя, улыбнулся. Спальня, постель, он совсем голый, приподнялся: ни рубашки, ни брюк и даже семейных трусов не увидел. Дверь чуть приоткрылась, Лена в цветном халатике и такой же косынке присела на край постели, наклонилась к нему, он осторожно поцеловал ее в щеку. Она крепко ухватила его голову и все лицо покрыла поцелуями, оставляя горячие слезинки. Дмитрий за плечи поднял ее:

– Ты что, Лена? Что-то не так?

Она засмеялась:

– Митя, ты просто не знаешь, сколько лет я мечтала о такой ночи.

– Не надо, Лена, ты мне льстишь.

– Я очень тебя люблю. Митя, родной мой, я сегодня самая счастливая баба. – И спохватилась: – Так, беспштанная команда, костюм твой почистила и отутюжила, рубашку, трусики и носки постирала, погладила, сейчас принесу. Сегодня едем к тебе, надо собрать самые необходимые вещи. Или ты передумал? – спросила, а сама улыбается.

– Лена, дай мне в себя прийти. Знаешь, что мужики говорят о неловкой ситуации: «Как в чужой постели!». Вот и я. Подожди, тебе ведь на работу, пятница.

– Не переживай, я договорилась со своей кураторшей, заместителем губернатора Лукьяновой, ты ведь знал ее. Секретарем горкома была, но удержалась. Она тебя помнит и просила зайти. К тому же, Дима, молодоженам раньше давали три дня для решения своих дел.

– Так то раньше..., – хотел было сравнить, как ныне, но одумался. – Ты мне трусы вернешь?

Хозяйка наготовила паровых котлет с рисовым гарниром и очень ароматным и острым соусом. Дмитрий вспомнил Нину, ее готовку, вспомнил, потому что впервые за последние

годы ел пищу, приготовленную женщиной. Елена заметила тень, пробежавшую по его лицу, но не почувствовала ревности.

Дмитрий ничем не выдавал своих сомнений и дум после краткого разговора с Лирой, а они были, и очень серьезные. В первые дни после переезда и регистрации брака с Еленой Сергеевной часто заходил в отдел кадров побеседовать с ровесником, отставным майором Прошкиным. Тот доложил, какие открылись вакансии, и предлагал замолвить словечко перед строгой начальницей. Братищев не сказал, что получил работу в департаменте сельского хозяйства. Смущаясь, попросил личное дело Леры Дмитриевны. В тонкой папке ничего интересного, пока не увидел копию свидетельства о рождении, в котором отцом записан Братищев Дмитрий Андреевич, матерью Лапенкова Галина Ивановна. Свидетельство выдано отделом ЗАГС Ленинского района, именно там жила Галина в то время. Наконец, дата рождения: 27 мая, как раз конец учебного года.

Он закрыл глаза, чтобы не заплакать: родная дочь рядом, и не желает признавать его как отца. Оставил папку на столе, тихонько вышел, сел в сквере на скамейку. Итак, Лира сразу и решительно отвергла его, значит, есть у нее причины, основания. А Галина? Как сложилась ее судьба? Наверное, не совсем все благополучно, и с ее слов дочь составила образ бессердечного отца, забывшего о своем ребенке. Почему она ни разу, если были проблемы, не обратилась к нему? Он видный в области человек, депутат, она не могла о нем не слышать. И вдруг одумался: конечно, могла, но не захотела искать, напоминать о себе, она гордая и очень самостоятельная. И что могло с ней случиться?

После ужина Лена вымыла посуду, насухо вытерла руки и села напротив мужа:

– Дима, ты ведь тоже понимаешь, что нам надо поговорить. Эта девочка неожиданно вмешалась в нашу жизнь, я была абсолютно уверена, что она твоя дочь, такие совпадения не могут быть случайными. И я уже покаялась, что сказала тебе о ней. Кто мог подумать, что так все обернется?

Дмитрий придавил окурок в пепельнице и прикурил новую папиросу.

– Не надо усложнять, Лена, прошу. Конечно, мне крайне неприятно, что Лира меня отвергла, но у нее на это есть причины, о которых мы не знаем.

– Ты нашел что-нибудь в Интернете?

Дмитрий вздрогнул и покраснел, как будто его уличили в чем-то глубоко безнравственном.

– Дима, я вчера тоже хотела на домашнем компьютере добыть хоть какую-то информацию о Галине, и увидела, что такой запрос уже делался.

Он нервно ходил по кухне, жадно курил и стряхивал пепел в раковину. Что говорить? Да, он уже несколько раз пытался найти о докторе наук Лапенковой, но – ничего.

– Да, Лена, я хочу найти Галину, жива ли она, как живет, почему дочь так настроена, ведь она не предполагала нашу встречу, правда? Ты же умница, Лена, никакой ревности, я хочу, чтобы рядом со мной была моя родная дочь. Теперь, когда у меня есть ты, я счастливый мужчина, а появится дочь – буду трижды счастливым отцом.

Елена подняла голову и посмотрела ему в лицо:

– Дима, а если Галина жива-здоровая и тоже помнит о тебе? Согласись, неплохой вариант: молодая жена, доктор наук, родная дочь рядом, полноценная семья, не то, что у нас с тобой...

Он не дал ей договорить, сильно сжал руку, жестко сказал:

– Лена, прошу тебя: никогда больше не заводи такой разговор. Ты же должна меня понимать.

Она кивнула и осторожно смахнула слезу.

Лира позвонила Братищеву на служебный телефон, извинилась и предложила встретиться в парке.

– Там сейчас тишина, а разговор у меня серьезный.

Он увидел ее быстро идущую аллеей, красивую, очень похожую на молодую Галину, встал навстречу, молча кивнули друг другу, она села, он неловко опустился на краешек широкой скамьи.

– Вы меня простите, и вы и я, мы оба знаем, что мы... родственники. Я родилась болезненной, мамахватила со мной горя. Ушла из института, работала в издательстве корректором, чтобы работу можно было выполнять дома. О вас она говорила только хорошее. Я тогда ничего не понимала... Когда подросла, возненавидела своего отца... Мама умерла, когда я училась в девятом классе. Она почти не болела, а потом сразу... Я осталась одна.

Она вынула платок и коснулась глаз. Братищев не шелохнулся.

– Нашлись какие-то родственники, прописались в квартире, тем и жила. Поступила в институт, ушла в общагу. С дипломом приехала сюда к парню, он годом раньше окончил, писал, что ждет, но уже женился и счастлив. Случайно нашла место и вот, встретилась с вами. Если есть вопросы, говорите.

Братищев молчал.

– Скажу, почему открылась вам. Хочу, чтоб вы знали, сколько горя оставили после себя. Чтобы вспомнили маму. О себе не говорю, я уже определилась в жизни. Вот и все.

Сильные порывы ветра играли с подолом платья Леры, она рукой прижала его на коленке. Парк накрыли тяжелые тучи. За городом горячился гром. Жатва началась. А гроза, должно быть, последняя...

Лира встала, поправила платье. Дмитрий тяжело поднялся, придерживаясь за спинку скамьи.

– Я пойду, – сказала Лира. – Вы в порядке?

– Да, – едва выдавил Братищев.

Она быстрыми шагами пошла по аллее к выходу.

Фото с выставки

Рассказ

Накануне шестидесятилетнего юбилея известного в области фотожурналиста Ивана Ивановича Шестакова, департамент культуры, где он был своим человеком, предложил организовать выставку его работ, причем, молодая дама, искусствовед картинной галереи, которой, видимо, было это дело поручено, начала с того, что попросила мастера вернуться в молодость, найти старые снимки, и показать сегодняшней избалованной публике жизнь черно-белую, давно минувшую.

– Поверьте, – ворковала она, – покосившийся забор, избушка на отшибе, старушка в платочке – это так мило, народ будет в восторге. У вас же есть архив?

Конечно, архив у Ивана Ивановича, как у всех уважающих себя ремесленников, был, и рулоны пленок со времен работы в районной газете, были уложены, пронумерованы и описаны, хотя весьма приблизительно. Идея этой дамы, не то Инессы, не то Анжелы, сама по себе интересна, Шестаков и сам изредка залазил в кладовку, брал первую попавшуюся коробку и, разматывая рулон пленки, уходил в ту жизнь. Вот это он снимал доярок на летних выпасах у Яровского озера. Молодые, красивые, ядреные девки. А это опять доярки, только из Сладковского района, он вспомнил, что после съемок на ферме одна отвела его в сторону:

– Я на фотокарточках хорошо получаюсь, так что ругать не будешь. А ночевать ко мне пойдешь, я женщина свободная и чистая. К тому же у меня банька подтоплена.

И баньку помнил Шестаков, и женщину эту, мягкую и ласковую.

Прокрутив на примитивном аппарате несколько пленок, Шестаков складывал рулоны и запечатывал прошлое в коробку. Теперь ему предстояло просмотреть все, отобрать самые интересные кадры и распечатать для комплектования экспозиции. Полная свобода в выборе темы или даже тем, предоставленная Инессой или Анжелой, не смущала Шестакова, он сразу сказал себе, что это будут портреты. Вспомнилась худенькая учительница из Тобольска, к которой ездил каждую неделю почти год подряд и всегда снимал. Молодые и счастливые, они играли в съемки, как настоящие модели, несколько пленок Шестаков аккуратно разрезал, сжег все, где он был снят, в чем мама родила, а ее даже никогда не распечатывал, хотя пару раз любовался в кладовке. Можно было бы выбрать исключительный портретик, помнился один кадр, когда она, умиротворенная, села в постели и даже не прикрыла своей наготы. У нее были девичьи остренькие груди, длинные волосы и лицо, освещенное мягким светом торшера, с улыбкой усталости и гордости.

Шестаков оживился: у него же много женских портретов, на одной пленке и снимок на производстве, и вечерние портреты в домашней обстановке. Он даже удивился, сколько случаев вспомнил сразу, а если подумать... Впрочем, не фото-отчет о любовных похождениях должен он подготовить, а выставку, и тут не всякая история пригодится. Он съездил к ребятам в фотосалон и привез китайскую машинку для просмотра пленки с большим экраном да еще набор для ретуши, из которого ему могли потребоваться только тюбики темных тонов. Вечером достал несколько коробок, отобрал два десятка рулонов и включил аппарат. Перед ним в медленном параде стали проплывать люди, которых он уже давно забыл, лица интересные и не очень, некоторые что-то напоминали, но это было так давно, тридцать лет назад.

Тогда по указанию парторгов он снимал токарей и слесарей на заводах, доярок и трактористов в деревне, хотя иногда прорывалась интеллигенция, руководящий слой. Шестаков сильно обрадовался, поймав на пленке с партийной конференции интересный кадр с первым секретарем обкома. Тот в перерыве, видимо, спорил с кем-то, круто повернулся к фотографу, а тот уже нажал кнопку. Полуоткрытый рот со все еще вырывающимся звуком, тяжело сжатый кулак, суровый взгляд из под лохматых бровей – будто на митинге в защиту советской власти, хотя такого митинга не было.

На пленке с конференции по проблемам добычи нефти и газа с удивлением увидел лица отцов-основателей, тогда малоизвестных романтиков, потом генералов и даже министров. Для газеты пригодился лишь один групповой снимок, а тут столько портретов, сделанных в зале заседаний, в кулуарных разговорах и даже в буфете. Шестаков оживился: с каждой пленки он отбирал, по крайней мере, один кадр, заполнялась коробка с нужными пленками.

На третий день, разбирая самые ранние архивы и не ожидая ничего интересного, он едва не пропустил мелькнувшее на экране лицо, даже пропустил и уже смотрел следующие, когда бдительная память заставила остановиться. Что-то до боли знакомое, приятное и раздражающее, увидел он в этом кадре. Осторожно вернул его на место и задохнулся. С того самого дня, когда он вернулся из армии и с ожесточением сжег все ее фотографии, а потом случайно увидел кусок пленки с ее изображением и тоже хотел бросить в печку, но одумался, завернул в бумагу и положил в общую коробку, он не вскрывал этой пленки и не видел это лицо.

Нина Соколова приехала из далекого городка Буя после техникума, бухгалтером в совхоз. Ваня был первым парнем на деревне, окончил среднюю школу, служил совхозным комсоргом. Они встретились в первый же день, Ваня бросил всех своих подруг и весь упал к ногам Нины. Да и было к чему упасть. Высокая, плотная, лицо чистое и улыбочное, ноги крепкие и длинные, настолько крепкие, что еще чуть – и нет красоты, а так – с ума можно сойти, глядя, как она идет, как стоит, как садится. Ваня долго не мог понять, в чем же тайна, оказалось, коленишко у нее такое аккуратное, что не высывается, не выпирает, а словно нет его совсем. По этим ножкам все парни вздыхали, но Ваня успел, сходил к директору и выхлопотал для Нины однокомнатную квартиру в двухэтажном доме времен Хрущевских агрогородков. Кровать, матрас с одеялом, два комплекта постельного белья, стол, стулья и даже электроплиту со склада завез. За выходные они с Ниной уборку сделали, все расставили по местам, уютная получилась квартира...

Шестаков встал из-за стола, открыл холодильник, налил полный стакан водки. Давно не пил, сдерживался, потому что одним стаканом никогда не обходилось, а тут никакого сомнения, единым духом проглотил ледяную жидкость и сел на табурет. Парень он был не из робких, с девчонками сходил быстро и так же скоро отпускал на свободу, оставляя после себя дурную славу подлеца и обманщика. И с Ниной все выходило славненько, ребята откровенно завидовали ему и издевательски хвалили ее коленки: «Иван, она у тебя вся в ноги выросла». А Ваню как подменили, Нина в клубных играх и просто на людях с улыбкой его встречала, ни на шаг не отходила, хотя больше молчала, говорила только при необходимости. Ваню это смущало:

– Ты почему такая? Молчишь и улыбаешься, улыбаешься и молчишь.

– Тебе разве этого мало? Я же тебе улыбаюсь.

– Так можно подумать, что кому-то за спиной.

Она подходила к нему и прижималась всем телом, охватив шею руками так крепко, что грудки сжимались.

– Нина, я тебя люблю, сильно люблю.

– Это и хорошо, – спокойно говорила Нина. – Ведь я тебя тоже люблю.

– Мне же еще в армию идти, на три года.

– Ну и что? Придешь – мне двадцать, тебе двадцать два, самое время свадьбу играть.

Шестаков еще раз посмотрел на снимок, и сладкая теплота разлилась по телу. Это было в то воскресенье, когда она окончательно вселилась в квартирку. Купили бутылку вина и какие-то консервы, огурцы и помидоры Иван принес из дома, был уже конец августа. Пока он резал салат, Нина принялась открывать консервы, нож сорвался и порезал палец. Нина показала, где лежит бинт и картинно подставила палец под перевязку. Выпили за новоселье, и Иван взял фотоаппарат. Нина облокотилась на стол, подперла щеку перевязанным пальцем и с улыбкой смотрела в объектив. На ней была легкая кофточка в мелкую клетку с отложным воротничком, которую она надела после уборки. Иван чуть присел, нажал кнопку и покачнулся. Повторять съемку Нина отказалась, хотя Ваня предупредил: кадр не получится, всю прическу срежет. Нина улыбнулась:

– Вот я вся с прической, любуйся. А фотографий мы еще тысячу снимем.

С тысячей не получилось, началась уборка, комсорг Ваня только поздно ночью забежал в заветную квартирку, Нина ждала его, они жадно целовались, но, когда добирались до кровати. Нина с улыбкой упиралась руками в его грудь:

– Успокойся. Наслышана я, что ты привык к быстрым победам над девчонками. Не спорь, я не ревную. Просто хочу, чтобы у нас было по-другому.

– По-другому – это как? – смеялся Иван.

– Ты отслужишь, придешь, к тому времени тебя уж парторгом изберут, так что квартиру новую получим, нет, лучше дом построим. И я рожу тебе много ребятишек, имей в виду, наша порода плодovitая.

Когда парню приходила повестка в армию, вся жизнь кувырком. Давали неделю на подготовку, дома собирали стол. Иван уговорил Нину сходить к нему домой, познакомиться с родителями.

– Ваня, как-то неловко. С какой стати явилась?

– Но на проводины все равно придешь.

– Так там и другие девчонки будут.

– Нина, прошу тебя, пойдем, я родителям уже все рассказал про наши планы.

Пришли, отец смущенно поздравствовался, мама приобняла девчонку:

– До этого ни одной не водил, стало быть, серьезно, а, рекрут?

Нина за стол садиться отказалась, поговорили о проводах, на том и простились.

Иван после вспоминал, что Нина стала вести себя с ним аккуратней, объятия и поцелуи стали прерываться в самый неподходящий момент, Нина смущалась, и на его недоумения отвечала робко, что так может далеко зайти.

Вечером на проводинах посидели недолго, молодежь потянулась в клуб, Иван и Нина ушли в квартиру. Он как сейчас помнит: они сели напротив друг друга, Ваня гладил ее колени, приподнимая короткую юбку, она целовала его шею и уши, отчего он повизгивал, как щенок.

– Нина, разбери кровать, я, правда, наматался сегодня.

Она сняла с него рубашку, сдернула с ног туфли.

– Все, ложись.

– А ты?

Она вышла на кухню и вернулась в халатике.

– Я к стенке лягу. А ты стульчик подставь, чтоб не упасть.

Они впервые были столь близки, робко трогали друг друга, целовали такие места, до которых никогда раньше не добивались. Ваня чувствовал, что под халатиком ничего больше нет, рука скользнула между пуговичек, и тугое девичье тело встрепенулось от неожиданности.

– Ванюша, ты правда меня любишь?

– Нина, ну, ты же видишь. Нина, милая... – Он коснулся замка своих брюк, но она перехватила руку.

– Ванюша, любимый, не надо. Я буду тебя ждать. Я очень буду скучать по тебе и ждать. Полежи, успокойся, скоро светать начнет, а в шесть машина в военкомат.

Шестаков помнит, что сразу уснул и очнулся только от поцелуя:

– Ванюша, пора.

Он вскочил. Нина неловко лежала.

– Ты не будешь вставать?

– Ваня, я не могу, ты спал на моем плече.

Иван встал перед кроватью на колени и стал осторожно разминать плечо, руку, без стеснения касаясь истока груди, Нина со слезами на глазах смотрела ему в лицо.

– Ванюша, я тебя никогда не забуду.

– Ладно, клятвы закончились, я побежал собираться, а ты подходи к машине.

– Нет, я буду в сторонке, не хочу разговоров.

Из кузова грузовика, занаряженного отвезти в военкомат пятерых призывников, Иван не видел никого, кроме Нины. Она улыбалась ему и легонько махала рукой.

В тот же вечер на Ишимский сборный пункт подали военный эшелон, идущий с востока. Сотню парней построили перед составом и дали команду размещаться. Уже через полчаса на столиках горой лежала домашняя снедь и ножики соскабливали водочные пробки. Иван лежал на верхней полке, вагон раскачивало, и он проваливался в сон, выныривая после громких выкриков подвыпивших ребят на нижних полках.

– А последний раз мне здорово повезло. Еду я на отцовском мотоцикле от тетки, смотрю, девица идет. Я остановился, приглашаю, она ни в какую. Глушу мотор. А девка – красавица, и тут и там – все при ней. Ноги, ребята, доложу я вам, как точеные. Присели, разговоры, идет с отделения в совхоз, бухгалтером там работает. Я посмелей, за талию, пониже – ничего, ну, тогда и понеслась.

– Врешь ты все.

– Да мне шибко надо! Нинкой ее зовут. Я хотел в гости завалиться, да мне подсказали ребята, что ее фраер в начальниках ходит, лучше не связываться.

Иван плохо помнил, что было дальше. Потом рассказали ребята, что прыгнул с полки спокойно, без приглашения налил стакан водки, выпил, губы вытер и спросил:

– Говоришь, Ниной ее звали? А фамилию ты не спрашивал, точно, кто в таких случаях интересуется фамилией? А в какую деревню она ходила, не вспомнишь? В Травную? Когда это было? В августе? Так вот, я тот фраер и есть.

Говорили, что два раза успел ударить, челюсть сломал и скулу своротил. Того в Свердловске сняли в госпиталь, а Ваню начальник эшелона вызвал, допросил и посадил в отдельное купе как штрафника. Так до самого Арзамаса и ехал.

Писем Нине не писал, ее конверты не вскрывая, сжигал в мусорной урне, страшно страдал, пока на репетиции новогоднего представления не познакомился с девочкой Соней, которая оказалась дочерью начальника штаба, ученицей девятого класса. После первого же поцелуя подполковник вызвал в штаб и, поглаживая пистолет на столе, сказал спокойно, что дочка ему поведала о своей первой любви, но если солдат попытается переступить черту, он его застрелит. Просто и доходчиво. Так и целовались с Соней, пока она не уехала в Москву в университет.

Шестаков положил пленку в карман и утром пошел в салон. Долго за компьютером чистил снимок, снимая лишнее и оставляя признаки времени. Закончил поздно вечером, единственный оставшийся в ателье оператор отпечатал снимок третьего формата.

После открытия выставки Инесса–Анжела вбежала в кабинет директора, где мнительный Шестаков мучительно ждал первой реакции посетителей.

– Иван Иванович, вы, безусловно, великолепный мастер, но в фотографии «Моя любовь с больным пальчиком» откуда этот набор изобразительных средств: красота натуры, простота обстановки, этот пальчик забинтованный, боковой и верхний свет. А чувства: она, безусловно, любит того, кто ее снимает, она чиста, свежа, прекрасна. Пойдите в зал, мастер, вся публика возле этой работы. Может, вы сможете ответить на вопросы?

– Простите, Инесса...

– Анжела.

– Конечно, Анжела. На старости лет начинаешь понимать, что настоящая фотография не может быть постановкой, она естественна, она есть жизнь. Вы напрасно говорили о наборе средств, их нет. Снимок сделан влюбленным мальчиком простым аппаратом «ФЭД», они теперь только в музеях. Но была любовь. Больше ничего, так и скажите публике.

Черёмухи цвет

Сказ

Мне рассказал эту незатейливую на первый взгляд историю, но полную загадочных совпадений и немыслимых поворотов сюжета, пожилой уже журналист, с которым мы оказались в одном доме отдыха в сезон, надо сказать, не самый лучший. Была зима, сильные февральские морозы со свойственными такой поре ветрами, не выпускали отдыхающих в сосновый бор, который был единственной достопримечательностью этих мест. Мы заехали в один день, сразу сошлись, разница в возрасте как-то сама собой потерялась, потому что сосед мой оказался человеком довольно общительным и эмоциональным. Когда я узнал его профессию, все стало понятно: нельзя людям его дела быть равнодушными и флегматичными, такие не могут заинтересовать меня своим скучным изложением увиденного, а переживаний у них не бывает по определению.

Он назвался Петром Петровичем, был среднего роста и средней же полноты, черты лица приятные, чуть поредевшие волосы зачесаны на косой пробор и всегда в полном порядке, чистые и спокойные. Выпить мой сосед в первый же день отказался, без затей объяснив, что «ему пая нет», чем ввел меня в крайнее смущение: я подумал, что он говорит о неучастии в приобретении бутылки коньяка. Заметив мое замешательство, Петр Петрович заливисто засмеялся, несколько раз сильно хлопнув в ладоши. Смеялся он примечательно, громко и от души, в самые пиковые моменты переходя даже на свист, у нас еще будет много поводов для этого. Мне же он объяснил, что имеет в виду отведенную ему норму, «свой пай выпил давно», но против ничего не имеет, если я развлекусь коньячком.

Раскрыв свою большую сумку, он вынул портативный компьютер и большой фотоаппарат, улыбнулся, развел руками:

– Думаю тут поработать, надо написать одну вещицу. Я ведь, брат, балуюсь письмом, не могу не писать. Правда, не предполагал, что окажусь с соседом, это меняет условия, придется выходить в холл.

– Нет-нет, вы работайте, я буду уходить.

– Куда? – весело спросил Петр Петрович. – Вы не сумеете мне угодить, вот уйдете, будете где-то маяться, а я ни строки не напишу, потому что настроения нет. И напротив, вы в комнате, а меня подперло, дрожь в руках. Уж лучше я застолблю место в холле, там замечательно, в углу за фикусом, уже присмотрел.

Он вставал удивительно рано, забирал свой компьютер и уходил, оставив меня досыпать, возвращался перед завтраком, хмурый, недовольный собой, ел без аппетита, потом снова прятался за своим фикусом. Только после ужина оставался в комнате, ложился на кровать и молча смотрел в потолок. Я не знал, как себя вести. Перемена с моим соседом случилась быстро и столь неожиданно, что подумалось, не заболел ли.

– Вы не спите, Петр Петрович?

– Нет. Слушаю вас.

– Не считите за любопытство: как сосед, я просто обязан спросить, что случилось? Вы сильно изменились, как только стали уходить работать.

Он помолчал.

– Видите ли, я пишу сложную для себя исповедь, чтобы в письме хоть сколько-нибудь соответствовать внутреннему состоянию, должен всякий раз вживаться, пытаться разум приблизить к душе. Надеюсь, вы согласитесь, это довольно непросто, и вся писательская сложность как раз в том и состоит, чтобы научиться мыслью познавать чувство, перенести его на бумагу. Конечно, я опускаю разговор о том, что душу и переживания нравственные, как минимум, надо иметь, без них ничего не бывает в литературе. Вы меня извините, я вынужден уходить в себя, чтобы сохранить это состояние, не растряссти, не утратить в праздных разговорах, понимаю, что со мной скучно, потому и просил отдельную комнату.

Я тут же перебил собеседника страстными заверениями, что у меня нет никаких претензий, что крайне неловко себя чувствую оттого, что не могу создать своему товарищу приличные условия для работы.

Он никак не отреагировал на мою тираду и продолжал смотреть в потолок, хотя заметно было, что весь он со своими мыслями очень далеко от нашей комнаты. Я выключил прикроватную лампу и затих. Петр Петрович еще с полчаса лежал неподвижно, потом сел, посмотрел в мою сторону, глаза наши встретились.

– Вы тоже не спите? Знаете, я должен кому-то рассказать свою историю, которую пытаюсь писать. Есть несколько моментов, они смущают, не могу найти им места.

Я поднялся, потянулся было за сигаретой, но вовремя одумался.

– Ничего, закурите, люблю, когда пахнет хорошим табаком, а у вас, заметил, табак приличный. Потом комнату проветрим.

Я закурил.

Метель в этот вечер была какая-то бешеная, порывы плотного, упругого воздуха срывали верхушки сугробов, с размаху бросали сухую белую массу в стену нашего корпуса, а потом кружили снег по двору, беспорядочно распределяя между чахлыми кустиками аллеек, забором и подсобными строениями. После ужина я пытался пойти погулять, но вернулся, не пройдя и ста метров, так силен был ветер и так много снега швырял он в лицо насмелившемуся человеку. Несколько времени постоял на веранде, через стекло наблюдая буйство стихии, и ушел в комнату.

Петр Петрович словно забыл о своем намерении рассказать мучившую его историю и забыл о моем присутствии, он все так же сидел на кровати, лицо чуть покраснело, глаза наполнились слезами. Мне стало не по себе. Наконец, он встал, включил чайник, приготовил добрую порцию настоящего индийского чая, залил кипятком и сел, держа в руках горячую фарфоровую чашку.

– Не знаю, друг мой, с чего начать свой рассказ, чтобы вам было все понятно. Я журналист, как вам известно, но уже лет пятнадцать пишу прозу, издаю книги, писатель, так сказать. Догадываюсь, что имя мое вам не знакомо, и не только потому, что вы из другой области. Тиражи книг по финансовым причинам ничтожно малы, и не только моих. Эти сволочи сделали все, чтобы народ довольствовался мерзкими детективами и откровенной пошлятиной. Впрочем, не об этом речь, информация о писательстве вам совершенно необходима. Итак, год назад я по договоренности с одним журнальчиком готовил материал о большом сельскохозяйственном предприятии, жил там несколько дней, с руководителем и раньше были хорошо знакомы, а за это время и вовсе подружились. Его Иваном Егоровичем зовут. Он сам возил меня на производство, сам комментировал, замечательно проводили время. И вот приехали мы в маленькую деревню на вечернюю дойку, надо было заснять лучших доярок, посидели в комнате отдыха, в урочный час пошли в коровник. Вы не бывали в коровниках? Поразительные перемены, скажу вам, я захватил еще ручное доение, когда доярки с бидончиком ходили. Труженицы! Пришлось мне сопровождать делегацию животноводов района, в котором тогда работал, на областное совещание передовиков. Моя задача состояла в том, чтобы у них никаких житейских проблем не было. Уложил всех спать, тогда в Тюмени одна гостиница была, «Заря», номера на семь коек, как раз для всей женской делегации. Просыпаюсь: кто-то ходит по коридору. Выхожу, доярочка наша передовая, Балясина, ходит и руки сомкнутые, как малое дитя, качает. Спрашиваю: «Вы почему не спите?». И знаете, что она ответила? «Рученьки мои не спят, так их ломает, время пять, утренняя дойка начинается, им работать надо». Вот так. На этом предприятии ферма современная, чистота, как в приличной столовой, запаха совсем нет, хороших денег стоит это удовольствие, но не о том речь... Снял я доярок, их теперь операторами зовут, а они молодежь, старых сейчас не держат, и вдвоем встанут, и втроем: сделай милость, увековечь! Нашелкал их, дела все закончил, вернулся домой. Да, следует вам знать, что мужчина я одинокий и уже давно, жена моя от меня ушла, правда, развод не оформляли, она не настаивала, да и у меня не было намерения жениться. Уже тогда начал много писать, а дело это, брат ты мой, одиночества требует, потому, если женщина у меня появлялась, то лишь на вечер. Дома скачал все отснятое в компьютер и стал отбирать снимки для обработки. И вдруг увидел ее.

Он задохнулся, отхлебнул чаю, я во все глаза наблюдал за рассказчиком. Его волнение передалось мне, мы оба молчали.

– Снимок, – он тихонько откашлялся, – снимок был групповой, три девушки, она в центре. Я крупно взял ее лицо, и она прямо в душу мне заглянула. Наверно, преувеличиваю, но глаза ее выразительны, в тот момент был поражен. А лицо! Поверьте, друг мой, я видел тысячи лиц на фото, мне хорошо известно, что может фотография. Она одного не может, даже современная цифровая, из обыденного сделать благородство. Деревенская девчонка, самая простая, как медный пятак, а лицо... пушкинского времени,

барышня светлая. Продолжаю работать, и время от времени открываю файл, любуюсь портретом. Да... Понимаете, я никогда не был аскетом, и вино пил, и женщин любил, но чувства большого не испытывал, а тут вдруг затосковал. Гоню от себя мысли о ней, а они приходят, даже во сне. Кажется, чего бы проще, садись в машину и к ней, знакомься, наводи мосты. Но, надеюсь, вы понимаете мое смятение: девочка, девчонка совсем, а я сед, в два раза старше. Подумаю так, и вроде устыжусь, охлыну, только не надолго, к тому времени в городской лаборатории большой портрет ее сделал, положил в стол. Ничего не скажу, стыдился ее, изредка достану, полюбуюсь и спрячу. Чего, кажется, прятаться, поставь на стол и смотри, ко мне в кабинет вообще никто не входит, ан, нет, стеснялся, ее стеснялся. Журнал материал напечатал, Иван Егорович приглашает в гости, машину за мной прислал. Посидели за чаем, он тоже не пьет спиртного, а я никак не могу найти подхода, чтобы заговорить о той ферме и о той девушке, ведь даже имени ее не знаю. Вы не поверите, это мистика какая-то, но ближе к вечеру хозяин предлагает съездить в ту самую деревеньку, мол, есть у него разговор к животноводам, да и автору, дескать, полезно пообщаться с героями своего очерка. Можете себе представить, что со мной творилось, хозяин даже поинтересовался, как себя чувствую. Приехали рановато, девушки только собираться начали, а я все на дверь посматриваю, и вдруг входит она. С морозца румяная, шаль сбросила, пальтишко повесила, прошла вперед, села. Я себя не помню, смотрю на нее: она – и уже вроде другая, голос звонкий, улыбка открытая, головку повернет – волосы скатятся на сторону. Я ведь ее совсем тогда, при съемках, не заметил, по фотографии одну представлял, а тут она другая, живая, неожиданная. И вдруг моя героиня говорит, обращаясь к руководителю, что корреспондент снимал, а фотографий-то они пока не видят. Иван Егорович засмеялся и пообещал, что Петр Петрович непременно сделает фотографии и передаст их лично Марине Николаевне для всего коллектива. Конечно, он не мог знать о моих сердечных муках, потому что я даже сам себе в них боялся признаться, но, видно, был чей-то промысел, чтобы свести меня с этой девушкой хотя бы раз.

– Очень приличный повод! – обрадовался я.

– Верно, – мой рассказчик оживился. – Фотографии мне напечатали, они со мной в машине катались все время, и как-то в Тюмени в одной конторе встречаю Ивана Егоровича, напоминаю, что с его подачи я должником оказался и осторожно намекаю про Маришку: мол, поручили лично ей передать, а кто она такая – не знаю. Он хоть и крутой бизнесмен, но душу еще не заложил, трогательно о ней говорил, что осталась она круглой сиротой с братиком на руках, бабушка помогла им вырасти. Девчонка техникум окончила, зоотехником стала, в институт заочный поступила, теперь брата доучивает в школе. Редкая по нынешним временам самостоятельность. Сказал, что домик у нее с голубыми наличниками, не ошибешься, я на всякий случай предложил ему взять фотографии, а он смеется: «Вы обещали, вы и вручайте». Никаких намеков, так все простодушно. И я поехал. Был конец мая, кругом зелено, улочка ее с одной стороны застроена, а напротив болотце, по весне наполнилось водой, что твой пруд, по бережку черемуха растет. Столь много ее, что белый от цвету весь берег, словно в снегу кусты. Подъехал к домику, из машины вышел, потерялся совсем, такая робость напала, как в юности, только и спасло, что она сама вышла. Улыбается беззаботной улыбкой, светится вся. Поздоровались, на скамейку сели, я фотографии достаю. Она недовольно губку вздернула: «Какая-то я тут

непохожая, а тут смеюсь, будто пьяная». И говорит, говорит, что снимки на ферму унесет, что доярки над ней подшучивать будут, а я глаз от нее не отвожу, такая во мне жаль, такая боль загорелась. «Что же вы молчите? Я не люблю, когда молчат. Говорите!». А что говорить? Что одурел от девичьей свежести и простоты, что видеть ее для меня уже радость и счастье? «Можно, я к вам еще приеду?». «Приезжайте, – улыбается, – в любое время». Много ли мужчине надо? Только всего и сказала, а у меня сердце петухом поет. Глупость, конечно, но случается. Еще одна странность: действительно, не похожа Маринка на свою фотографию, это она правильно заметила, но я-то позднее объяснение получил от нее. «Вы, – говорит, – придумали меня, а я такая, какая есть». Вот как точно! Встаю со скамейки, прощаться пора. Про телефон спросил, опять разрешения спрашиваю, Маринка смеется: «Звоните, только меня трудно дома застать». «Можно, я веточку черемухи на память возьму?». Побежала, надломил бутончик, быстрым шагом идет через улицу – легкая, словно плывет, а улыбка открытая, как будто рада она мне до невозможности. Как мне хотелось в тот миг обнять ее с разбегу и зажать, затискать в осторожных руках! «Завянет, пока везете, черемухи цвет – на одно мгновение». «Память о нашей встрече буду хранить». «Глупости это». «Так я приеду еще?». «Приезжайте».

Рассказчик мой опять замолчал, долго сидел почти неподвижно, слегка потирая виски. Увлеченный этой историей, я ждал продолжения, ничем не мешая воспоминаниям. Наконец, Петр Петрович встал, прошелся по комнате. Вьюга за окном стала стихать, фонарь на соседнем столбе перестал раскачиваться и бросать желтые блики на шторы.

– Вы еще слишком молоды, чтобы понять состояние человека, впервые осознавшего свой возраст, не старость, а просто возникновение для него возрастного ценза. Наступает такое время, когда о любви вообще говорить неприлично, а о чувствах к молодой девушке..., если она тебе в дочери годится... Но я себя знаю, столько в себе копался, что всякие движения души понимаю, к чему они ведут – догадываюсь. Должен признаться, что при всей своей эмоциональности влюблялся редко, обошел меня создатель таким талантом. Или наказанием, не знаю, что лучше. А тут точно определил, что влюбился в эту девочку так страстно, как никогда до этого не случалось. Я же не юноша, отдавал себе отчет, что неладное творю. И затих, стиснул сердце и молчу, не звоню, не еду. Доложу вам, что самое тяжелое в жизни – собственное сердце в руках держать. Только недолго это продолжалось, набрал ее телефон, голос услышал и не нашел ничего другого, как попросить десять минут для встречи. Десять! А до нее ехать два часа. Стою на трассе у дорожки, что с фермы ведет, одна женщина прошла, другая, я включу фары – нет, не Маришка. Долго стоял, потом набрал ее телефон с мобильного, брат отвечает, что она на работе, что-то сломалось у них на ферме. Уже ближе к полночи с фермы к ее домику подкатила машина, видимо, управляющий подвез. Конечно, не стал беспокоить, на второй день звоню, повторяю просьбу, она беззаботно соглашается. «Только, – говорит, – не знаю, когда освобожусь». И опять стою на том же месте, всех встречаю и провожаю, опять не могу дожидаться, к тому же телефон домашний не отвечает. Так огорчился, что на повороте скорость не рассчитал, за малым в кювет не слетел. Разжигаю себя, что и с фермы по другой дорожке ушла, и телефон выключила специально, два дня молчу, потом звоню, с ужасом жду ответа. А она, как ни в чем не бывало, поясняет, что уезжала в офис с отчетом, на ферме не была, а телефон не работает – так это часто бывает. Опять еду! Садится она в машину и смеется радостно: по деревне слух прошел, что появился какой-

то маньяк на легковушке, который женщин с фермы отслеживает. А управляющий ей понимающе подмигивает: «В ночь поломки ты одна из женщин на ферме была, машина весь вечер крутилась, я же видел, сколько он кругов по снегу нарезал, выходит, тебя и ждал». Ребенок, чистый ребенок, ей интересно, что все боятся, и только она одна знает истину. Понимаете, она сказала: «Я же знаю, чей это ухажер!». Стыдно сказать, но я принял было случайную реплику на свой счет. Конечно, сгоряча.

Петр Петрович тяжело вздохнул, опять походил по комнате. Воспоминания, как мне казалось, были ему приятны, он с болью и удовольствием переживал еще раз уже бывшие свои чувства, возможно, тут же примерял устный свой рассказ к тому, что писал в углу за фикусом. Он включил чайник и опять заварил крепкий чай. Я молча наблюдал со своего места за этим немолодым уже человеком и невольно поражаюсь огромной внутренней силе и красоте. Мы отвыкли от откровенных проявлений возвышенного, от чистых чувств, временами его рассказ казался мне повестью тургеневских времен, не будь в нем автомобилей, телефонов и прочего.

– На чем мы остановились? – отхлебнув чай, спросил сам себя Петр Петрович. – Да, не стоит и говорить, с каким настроением ездил на эти свидания, состояние мое было столь высоко, что писал по десяти страниц в сутки легко, без напряжения, сейчас перечитываю эти тексты и нахожу их вполне приличными. Только ничего не менялось в наших отношениях, я, честное слово, даже затрудняюсь определить, в качестве кого я при сем присутствовал, а уж точно не любовник. Совершенно! Говорили о пустяках, хотя заранее готовился к более серьезному разговору, но при ней все забывал или боялся, могу признать. Даже за руку ее ни разу не взял.

– А она? Она же приходила на ваши встречи, в машину садилась. Ну, не просто же так?

– Вот на это не могу ответить, не знаю! Предполагать можно что угодно, в повести обязан буду найти объяснение, но в реальности не могу ничего сказать за нее, за Маринку. Одно только ясно, что корысти с ее стороны никакой и быть не могло, она с первого разговора категорически отказалась от какой-либо материальной поддержки, даже подарки принимала с оговоркой, вполне достойно. И вот в ноябре она уезжает на сессию, мы встретились за два дня до отъезда, очень недолго поговорили, она махнула ручкой «До свидания» и ушла. Учеба на полтора месяца, предлагал купить ей мобильник, она отказалась, спросил разрешения приехать – «Не надо, очень много занятий».

Он опять надолго умолк, бессмысленно держа в руках чашку с остывшим чаем, я тоже молчал, понимая, что не имею права вмешиваться.

Ветер продолжал буйствовать, и тепло в нашей комнате спасало только расположение ее с подветренной стороны, но плотные шторы беспокойно покачивались, вползая на подоконник и плавно скатываясь с него.

– Не утомил я вас рассказом? – неожиданно спросил Петр Петрович.

– Конечно, нет, но, если вам трудно вспоминать – не нужно, не тревожьте душу.

– Это вы напрасно, моей душе сейчас как раз и нужно это выплеснуть, слишком много на ней скопилось всего. Да... Когда началась реформаторская чехарда, я оказался без работы, русский человек доверчив, как ребенок, и раб ваш покорный за чистую монету принял болтовню о свободе, один материал опубликовал «не к месту», второй. Там и критики особой не было, я сельские районы хорошо знал, видел, куда их заводят перемены, вот и излил душу в нескольких очерках. Два напечатал, остальные вернули

вместе с трудовой книжкой. Сильно обидно было, уехал в деревню, купил домик, два магазина арендовал и начал торговать. Противное, мерзкое это дело, но у меня много знакомых на оптовых базах, я уже при капитализме продукты закупал по социалистическим ценам, была такая ситуация года полтора. Дела мои круто пошли, цены низкие, а доход приличный, потому что закупал удачно. И вот однажды километров сто преследовала меня паршивая иномарка, я на «девятке» ухажу, они пытаются обойти, знаки подают. Останавливаться нельзя, у меня полный дипломат денег, расчет везу на фирму. В общем, ушел, но страх появился, обратился к начальнику милиции, у нас хорошие были отношения, он мне «Макарова» организовал. Я у него в тире пострелял, до этого пистолета в руках не держал, конечно, сплошное «молоко» на мишенях, а он меня успокаивает: «Ничего, когда бандиты прижмут, не промажешь». Не стал ему говорить, что в живого человека не смогу выстрелить, я и курицы в жизни не зарубил. Торговлю скоро бросил, но пистолет остался, начальник тот большим человеком в органах стал, всякий раз мне разрешение продлевал.

Вот пистолет этот и сыграл роковую роль. Я с возрастом хандрить научился, такая тоска порой накатит – хоть в петлю. Обратился к докторам, депрессия, говорят, надо лечить нормальным образом жизни. Работал много, писал по ночам, даже засыпал за компьютером. В ноябре издал большую книгу, ее не поняли, не приняли, в писательской организации обхамили, почти ничего не продал. Такая дичь! Зол был на весь белый свет, в тоску впал. И Маринки нет, звоню – тишина.

– А брат? Он же оставался дома.

– Конечно, но – тишина, как будто нет никого. Знаете, как бывает, пришла беда – открывай ворота, одно к одному. Две недели из дома не выходил, ко мне никто не ходит и не звонит. И тут я про пистолет вспомнил. Вынул его из сейфа, смазку протер, чакнул вхолостую, положил на стол. Вам может показаться странным, друг мой, да и я немало тому удивился: совершенно спокоен! Даже руки не дрожат. Тут же обоймы с патронами, а мне и надо всего один. Вот решение, вот выход! Как говорил мой покойный отец, «плакущих по мне немного», родных никого, а кто и есть, так не роднимся по разным причинам, возможно, и я виноват. Представьте себе, внутренне готов. И тут она.

– Приехала! – вырвалось у меня.

– Нет. Портретик тот в открытом ящике стола. Зачем полез – не помню, а взгляд у нее острый, осуждающий, прямо материнский взгляд, и улыбка лукавая на губах. Сгрохотал ящиком, избежал взгляда, а сам уже другой, куда решимость подевалась, убрал оружие, охватил голову, плачу. Над чем плачу? Да над собой, над жизнью своей никудышной, над скорой расправой. Жалко, видите ли, себя стало. Нажал две цифры на телефоне, электронная барышня сообщает, что сегодня 31 декабря. Год кончается, а я и не знаю, счет потерял. И вмиг у меня все перевернулось. В новогоднюю ночь всякие чудеса случаются, будь что будет, но Марину Николаевну, Маришку, как звал ее для себя, увижу.

Без предупреждения, без телефонного звонка еду в деревню, пробираюсь по сугробам к домику заветному, свет во всех окнах, выхожу из машины, набираю на мобильнике номер, отвечает женский голос, но не ее. Успел подумать, что кто-то из подруг праздновать пришел, поздравляю с наступающим, прошу пригласить Марину Николаевну. И слышу: «Она тут больше не живет». «А где она живет?». «Не знаю». «Простите, но вы ее квартиру занимали, неужели не знаете, куда она уехала и почему?!». «Не знаю, потому что нам

квартиру от производства дали, я на ее месте зоотехником, мы из Казахстана приехали». Вот и все.

– Но вы ее нашли?

– Зачем? Мне кажется, судьба специально так нас развела, чтобы меня не загонять в угол, не было у нее другого выхода. Смотрите, как славно все разрешилось, никаких разочаровывающих объяснений, никаких трагедий. Незавершенность, незаконченность развития сюжета всегда была одним из ловких приемов в литературе, почему бы ей ни быть таковой в жизни?

Анна

Рассказ

Анну сегодня вымыли и положили в кровать, заправленную выстиранной печной занавеской и одеялом под другой тряпицей, которую она признать не могла, то ли с горничных дверей, то ли с полатей. Ольга еще в прошлую субботу сказала, что все постельное кончилось, истерли в стиралке, покрути-ка через день. Посыкнулась принести свое, только Анна тяжело махнула рукой: «Не надо!». Ольга хоть и родная племянница, только не разорваться бабенке, и работа, и ребятишки, и мужик пристрасился бражку ставить, всегда навеселе, а управа во дворе на ум не идет. Анна уже не горевала даже, что своих детей не родила, война оженила, видно, ее суженого, подходили ребята с фронтов, только не к ней. Сама себе признавалась, что не красавица, а то, что работающая – это в девке оценили бы потом, при семейной жизни.

Когда боли утихали, уходили куда-то, Анна вспоминала первое послевоенное лето, когда тихая, почти траурная деревня вздрогнула от множества мужских голосов, от разухабистой «тальянки», выводящей почти забытую «Подгорную», от радостных частушек молодых девок и вдов, на кого положил глаз демобилизованный холостяк. Анна сидела с подружкой на бревнышках, только та время от времени срывалась на круг, потому что перед ней топтался уставший от браги и пляски парень, приглашая к пляске. Пройтись вприсядку или иное коленце выкинуть он уже не мог.

Памятное было лето. Вернулся из Германии Федя Фаркоп. Она как сейчас его помнит: усатый, вся грудь в медалях, сапоги хромовые тоскующей гармошкой сморщены. И наглый. После вечеров догнал ее, подхватил под руку:

– АнЮшка, ты почто одна-то? Одной, поди, страшно. Давай, я тебя обниму.

Прижал к себе, а она и сердце поймать не может. Двадцать два годика, а не обнята, не целована. То не в счет, что ребятишек пятнадцатилетних совращали, тискали, к себе прижимали, до дури доходили, а потом гнали их, чтобы, не дай бог, до сладкого греха не упасть. А тут мужик, груди мнет, с ума сводит, шепчет, аскид, на ушко:

– Пошли, Анюшка, в баню, нынче суббота. Бани теплые.

Что там говорить – жаркая была баня... Федор сел на лавку, дрожащими руками поднес спичку к папиросе. Анна встала:

– Выдь на минутку, я обмоюсь.

Шли молча до Аннинного переулка, тут Федор остановился:

– На деревне про баню не надо разговоров.

– Вот как!? А зачем ты на кофтенке все пуговички обобрал, щупался, в ухо пел? Заскочил, как петух, и обратно на седло? Ох, дура я дура, неотесанная! Был бы жив тятка, он бы тебя оженил.

– Анюшка, ты чо на меня? Я тебе ничего не обещал, но, если в замуж не возьмут, буду приходить. Мать-то жива?

– Слава богу!

– Неловко при матери-то...

– Она на печке спит, да и глухая совсем, – соврала Анна и заплакала: обрекла себя в ту минуту на вечное одиночество...

Слух прошел, что с понедельника все на сенокос. Неделю шли дожди, да неделю солнце за день ни на минутку не пряталось, все старалось виновато подтянуть травы, сотворить семена в каждой, чтобы, осыпавшись, они ожили будущей весной. Травы дуром дурят, старики говорят, что в Дикуше и на Зыбунах такого давно не бывало, чтобы пешему не пройти. Вечером по всей деревне стук молоточков: отбивают, оттягивают жало литовок, чтобы на покосе только легонько брусочком пройти с обеих сторон, и опять коси. Литовкой бриться можно, рукавом от старой фуфайки одевают литовку, бечевкой перевязывают, чтобы не порезать кого и чтобы ненароком не притупилась в дороге. Мужние жены без горя, хозяин и литовочку подберет, и посадит на литовище, чтобы по руке и по росту. Анна пошла к крестному Максиму Хромому, он уж своей Марье наладил, вон, в углу стоит. Максим встретил с улыбкой, принял литовку, покрутил-повертел, выматерился:

– А Фаркоп-то выболел бы, если бы отбил да насадил, как следно быть? Ладно, не красней, дошли и до меня слухи. Жениться не звал?

– Нет.

– Если бы в старые годы – на куртал бы его сводили братья с отцом, вставили ума чуток. А нынче – Гитлер твоего жениха устосал, без соборованья, а Сталин разрешил мужикам ходить по бабам, солдатиков да доярочек ему делать, а помощи никакой, – ворчал Максим, разобрав Аннину литовку по частям.

– Я тебе черенок новый поставлю, этот подопрел, подведет среди дня. У меня на номер меньше есть литовка, с этой тебе к обеду воздуха не станет хватать.

Анна перебила:

– Не надо, крестный, маленькой мне норму не вытянуть.

– А сколько дали?

– Сказывают, по пятьдесят соток.

Максим выругался:

– В правленье совсем сшалели, или как? Да по такой траве полгектара только трактором. Посмотрю завтра, ихние бабы придут или в холодке отсидаются, а то, не пуще того, в председательской кошевке в лес по ягоды махнут. Смотрел я вчера по Пелевинской дороге – густо ягод, хоть лопатой сгребай. Хотел съездить между делком, да Вася Моряк утром кнутовищем с вершины в окошко стукнул: «Весь день литовки и грабли налаживать, а завтра с молоточком и наковаленкой быть у Коровьей Пады, оттуда, стало быть, начнете».

Максим говорил и делал свою работу. На черенке выдолбил долотцом углубление, чтобы замок литовки закрепить, надел кольцо туго-натуго, из свежей вицы согнул новую ручку, стянул ее тонким кожаным ремешком. Спросил, есть ли оселок, порылся в ящичке, достал мелкий оселок. Анна взяла в руки литовку, отошла в сторонку, сделала несколько замахов – удобно, ловко.

– Спасибо, крестный.

– Айда, благословясь!

* * *

Пастухам было велено выгонять коров пораньше, они чуть свет – уже щелкали длинными кнутами своими, пугая собак и маленьких телятишек. Вся деревня на ногах, с литовками на плечах сходятся ко дворам возчиков, а те уже запрягли в телеги и фургоны лошадей, поправляют сбрую. Филя Смоктунок прилюдно начал мазать дегтем колесные ступицы, мужики с матерками помогали, поднимая телегу. Филя молча сносил обиды, потому что виноват, вчера прогулял, уж лучше здесь снести позор, чем среди дороги, когда безжалостно засвистят ступицы, и матерков будет еще больше. Подбегали запыхавшиеся молодухи, проспавшие зорьку и догонявшие со своими коровами уходящий в луга табун. Наконец, тронулись, и к выезду за околицу уже целый обоз выстроился, все собрались, Вася Моряк, только что вернувшийся со службы на Тихоокеанском флоте, проехал вдоль колонны, всех пересчитал и рысью поспешил подобрать место для стана.

Все собрались в круг, Анна огляделась: не меньше сотни человек. Бригадир вскочил на ближайшую телегу и крикнул:

– Товарищи! Сегодня у нас праздник – начало сенокоса.

В толпе громко засмеялись:

– Праздник!

– Семь потов за него!

– Бригадир, ты лучше про норму скажи!

Вася Моряк чуть стушевался, но быстро нашелся:

– Да, праздник, потому что от сегодняшнего дня зависит, будет ли скот с кормами, не придется ли поднимать коров весной на веревках, как в былые годы. А норма такая: пятьдесят соток для женщин и шестьдесят для мужиков. Сразу: кто перевыполнит хоть на пять соток, ставлю два трудовня.

«Ой, да хоть десять, все равно по осени на них ничего не выпадет, только бы должной не остаться», – подумала Анна и подошла к таким же одиночкам, как и сама, им вместе сподручней.

Катя Заварухина самая крепкая, пошла передом, за ней Валентина Ляжина, Прасковья Апрошина, и Анна встала вслед. Первую ручку шли долго, все приспособлялись, надо одинаковый шаг установить, чтобы пятки друг дружке не порезать, не отставать, но и не забегать вперед. Тогда и дыханье установится, и сердце перестанет выскакивать.

Бригадир подъехал на своем Хулигане без седла, рубаха вся мокрая, чуб из-под бескозырки сосулькой висит. Женщины смеются:

– Тебя, Иваныч, не поварили ли холодной водой окатила, чтобы не яровал?

– Нет, родные мои, я с мужиками в одном строю, литовка у меня – девятый номер. Не мог же я опозорить Краснознаменный Тихоокеанский флот, намахался так, что сейчас только супу чашку и в Тихий Омут нырнуть. Тут не заяруешь!

– Смотри, не уплыви, а то и трудодни начислять некому будет, – смеются женщины.

Анна улыбнулась этим воспоминаниям. Действительно, какая артельная это работа – сенокос, здесь каждого видно, ни за кого не спрячешься, но за слабинку, за ошибку никто не осудит, не поднимет на смех.

Потом из больших эмалированных чашек (одна на пятерых) хлебали густой суп с бараниной, баранчика специально для косарей выписало правление колхоза. И хлеб напекла Аксиныя Петровна – любо поглядеть. Калачи большие, высокие, мягкие, наломали их ломтями и кинули прямо на середину артельного стола – ешь, сколь хочешь.

В тот день они выполнили норму, хотя трава тяжелая, овсяница колос затвердила, визиль вяжется на литовку. Но сено хорошее будет, если без дождей сумеют сметать.

* * *

Лошадей Анна не любила, не то, чтобы боялась, а сторонилась и дивилась своим подружкам, которые получили по паре коней и по фургону, летом возили зерно на элеватор, лес, кирпичи на стройку, а как снег падет – одна работа: пара саней с широкими крыльями, и за сеном. Опять надо парой, одна со стога подает, другая на санях раскладывает, чтобы три центнера вошло и чтобы воз не развалился. Сложили воз, бастрыком его зажали, и так все четыре. К вечеру, если все нормально, дотянутся до сеновала, перекидают сено в большую скирду, тогда можно коней распрягать и домой.

Уговорили Анну, взяла она пару смиренных кобыл, закрепили ее за молоканкой обрат телятам возить и сливки в соседнее село на маслозавод.

Анна хорошо помнит тот день, все шло наперекосяк. Сначала Пегуха никак не хотела заходить под упряжь, потом на хомуте порвалась супонь, а на выезде с конного двора фургон зацепился колесом за воротину и своротил ее. Анна понужнула коней, чтобы скрыться, пока никто не видел ее греха.

На молоканке поставила шесть фляг со сливками и тронулась через мосток в сторону Шадринки, где сдавала опломбированные фляги на маслозавод. Ее там знали, угощали хлебом с маслом, холодной закваской. Она уже представляла, как сдаст фляги, будет пить чай с белым хлебом, накрытым толстым куском холодного масла. Вдруг кони дернулись, встали на дыбы и метнулись в сторону. Анна видела, что через дорогу перемахнул огромный лось, уперлась ногами в поперечину и со всей силой натянула вожжи. Но кони дико неслись прямо по кустам, потом фургон попал в яму, опрокинулся, и Анна потеряла сознание.

Ее нашли к вечеру, увезли в больницу, с неделю ставили уколы, но голова болела. Врач сказал, что это пройдет со временем, и выписал на работу. Дома ее уже ждали. Колхоз предъявил иск за два с лишним центнера испорченных сливок. Бухгалтер так и сказал: либо возмещай убыток, либо колхоз подает в суд. А чем возмещать? Корову продать, и то не хватит, а без коровы совсем гибель. Нашлись люди, ходили в правление, просили списать за счет колхоза, только председатель и слушать не стал. Анне так и сказали:

– Он с производства направлен колхоз поднимать, ему наше горе непонятное.

Суд хотели провести в колхозе, только убоялись, что народ может под защиту взять подсудимую, Анну вызвали в район. Сидела она на боковой скамеечке, какие-то люди – ни единого знакомого лица. Она помнит, как ее это испугало: засудят, и заступиться некому. Какой-то человек подошел, шепнул тихонько:

– Приготовься, на полтора года поедешь в леспромхоз северный. Мне судья сказал.

Потом этот человек, которого объявили адвокатом, долго говорит про особую ценность социалистической и колхозной собственности, к которой некоторые граждане (он указал на Анну) относятся преступно халатно и заслуживают сурового наказания. Говорил еще один, в мундире, все грозил каким-то капиталистам, и тоже про народное добро, на которое посягнула подсудимая.

– Прошу суд, учитывая серьезность преступления и в назидание другим разгильдяям назначить подсудимой...

Анну не отпустили домой, две ночи ночевала в милиции, потом увезли на станцию и посадили в вагон, полный женщин. Никогда не бывавшая дальше своей деревни, Анна приткнулась с краешка нар, положив на колени узелок с парой исподнего. Она до сих пор помнит невысокую толстую женщину с воспаленными глазами, которая подошла, вырвала узелок, спросила:

– Что тут у тебя?

– Рейтузы да рубаха, еще рукотерт.

Женщина брезгливо сунула узел обратно. Подошла еще одна, постарше, Анне сразу показалось, что с добрым лицом.

– Ты из деревни? Я так и поняла. За что тебя?

– Лошади понесли, фургон перевернулся, а там фляги со сливками...

– Перебирайся ко мне ближе, нас тут от самой Москвы. А ту зэчку мы приструним. Это нарушение – собрали вместе уголовников и первосудок.

– Ты, видать, грамотная?

– Немножко. Я инженер, работала в лаборатории, ночью пожар, а я последняя уходила. Обвинили. Потом мне сказали, что электрокабель замкнул, но я уже осуждена.

Разгрузились на запасных путях большой станции ночью, колонной прошли через весь город, по шаткому трапу поднялись на баржу. Утром маленький пароход потащил баржу на север.

* * *

Анна вернулась через два года. Мать едва дождалась, добрые люди помогали и сеном для коровы, и дровами. А в огородишке сама управлялась. Прибежали подружки-одиночки, выпили по стакану бражки за встречу, новости рассказали. Председатель колхоза теперь Гриша Антонов, долго служил на Востоке, а потом в заготконтору

устроился. Сказывают, вызвали его в райком и сказали, что не к лицу фронтовику и коммунисту груздями да шкурками заниматься, надо ехать в родное село и поднимать колхоз.

– Анна, теперь у нас пимокатня своя, овечек развели каких-то лохматых.

– Саженцев привез Григорий Андреич, всю деревню вывел за старую мельницу-ветрянку, сад теперь у нас, говорят, на будущий год яблоки будут.

– Телятник новый достраивают, ты бы шла, просилась телятницей. Хоть в тепле.

Анна вздохнула:

– Намерзлась я, подружки, на всю жизнь.

Еще одну новость вспомнили:

– Федька Фаркоп утонул на Аркановом озере под пьяную лавочку.

Анна кивнула, мол, знаю, мама сказала.

Утром пошла к бригадир животноводства, пока он в правлении находился, а среди дня где его сыщешь? Смотрит: вроде знакомый, из соседней деревни, колхозы-то объединили. Красивый мужчина, лет больше сорока, в галифе и хромовых сапогах, волосы назад зачесаны и чистые, аж пушатся. Узнала, как зовут, подошла:

– Степан Федорович, работу пришла просить.

Батурин посмотрел внимательно:

– А ты откуда взялась? Ни разу тебя не видел.

Анна опустила голову:

– Из заключения я. Вчера пришла.

– За что?

– За сливки.

Бригадир кивнул:

– Слышал про эту дурь. В иных местах тыщами теряем, а человека за рубль на каторгу шлем. Что можешь работать?

– Да все! – смело ответила Анна. – Мне сказали, что скоро телятницы нужны будут.

– Уже сегодня нужны, – ответил бригадир. – Только ты имей в виду, за телятами, как за малыми детьми, надо ухаживать.

Анна покраснела:

– Детей у меня нет, но телятишек люблю, со своими, бывало, разговариваю, а они прислушиваются, вроде понимают что.

– Вот и славно, завтра приходи на ферму, я подъеду.

В новом телятнике Анна набрала группу новорожденных, только неделю жили они с матерью в родилке, а потом она на руках, завернув в старое одеяло, переносила их в клетки, давала бутылку с соской, а если не принимал – поила с пальца, как дома. Она звала их ребятишками, каждому давала имя, понимая, что уйдут в среднюю группу – никто их там ласково называть не будет.

...Анна улыбнулась, и будто запах молочного теленка вдруг напахнул, будто он, ласковый, нежно лизнул ее в щеку шершавым своим языком, как не раз бывало.

А до того она неделю наводила в телятнике свой порядок. Глиной с рубленой соломой промазала все пазы, побелила стены и клетки, у дверей сколотила ящик, засыпала опилом и попросила веттехника, чтобы привез ей бутылку той жидкости, которая все микробы убивает. На доске углем написала «Вход воспрещен!» и

приколотила ее к дверям. Степан Федорович пришел посмотреть готовность, для приличия почистил подошвы сапог во влажных опилках, все осмотрел и довольно улыбнулся:

– Молодец, Анна, вижу: добрая из тебя телятница выйдет. Все, завтра новорожденные уже к тебе пойдут.

– Степан Федорович, скажите дояркам, чтобы они мне молоко сдаивали от крепких коров.

– Это ты сама решай. А тут что за веники?

– Из дома травы принесла, у меня их полно всяких, от всех болезней.

– Смотри, не перепутай, а ветврачи – народ капризный, случится падеж – припишут.

Анна улыбнулась:

– У меня не случится.

– Да вот и кстати разговор. Сохранишь весь молодняк – с каждой полсотни один твой, натуральная оплата. Ну, удачи тебе в работе.

Анна проводила гостя за дверь, обернулась, а на дощечке исправлена одна буква. Конечно, это он, а ведь ничего не сказал. Анна и сейчас помнит, как екнуло сердце и вспыхнуло давно не горевшее лицо. Остановилась: «Ой, чтой-то со мной?»...

* * *

Ольга накормила Анну, прибрала в избе и в горнице. Горенку-то пристроил еще Федя Фаркоп, хоть и наглый, а матери стеснялся. Выписал в колхозе лес, срубил троестен, позвал мужиков, и артелью приткнули сруб к избе, закрепили скобами, под окладник чурок набили, крышу общую навели. Это уж позже Анна купила шифер, сбросали дернины, сросшиеся потником, домик стал поприличней.

– Ладно, тетка Анна, лежи, я побежала, своей управы полно. Мой-то опять в загул ушел.

– Ты не ругай его, а поласковей, подлизнись, ему стыдно станет.

– Ой, тетка Анна, ему хоть кол на голове теши, неделю спит на диване, думала, может, среди ночи подсунется – куда там! Водка дороже бабы. Да, подобно тому, ему и баба-то не нужна.

– Только не ругайся, этим разозлишь, еще тошней станет. Оля, подай мне коробочку из комода.

– Которую?

– Ну, ты же знаешь...

Коробочку открыла, когда ушла Ольга. Вывалила все на одеяло. Взяла первый значок: медаль. Эту дали перед уходом на пенсию. А эта первая, тогда многих женщин наградили. Прасковье Апрошиной дали отрез крепдешина на платье, а Наташке Цыганке часы наручные. Анна улыбнулась, вспомнила, как материлась Наташка: «На кой мне часы, я цифры не знаю. Лучше бы отрезали на платье». А вот это тяжелое, большой орден, Степан Федорович сказал, что надо еще одну пятилетку так поработать, и можно к Герою представлять. Не получилось с Героем, председатель колхоза чем-то району не угодил, сняли, привезли какого-то очкарика с портфелем. А как народ жалел Гришу Антонова! Колхоз миллион прибыли получил, Григорий Антонович умолял на отчетном собрании не делить прибыль, а лучше провести по деревне водопровод и электричество. Цельное лето рыли траншеи под трубы, каждому отвели по тридцать метров, а глубина

два с лишним. И рыли, больше экскаватора сделали. Потом колонки поставили на перекрестках, над ними избушки для обогрева, старых пенсионеров посадили на раздачу воды. Так же и под столбы ямы копали, потом чистили сосновые бревна, устанавливали и трамбовали грунт. Построили кирпичную электростанцию, немецкий дизель привезли. Приехала бригада из Казахстана, натянули провода, потом к каждому дому и по дому проводку. В полночь дежурный машинист три раза выключит свет, значит, через пять минут заглушит дизель. Чем не жизнь?

При очкарике колхоз перевели в совхоз, и сразу все переменялось. Собраний не стало, директор все решал приказом. С передовиков скатились, и награждать перестали. Вот еще кучка значков, каждый год давали «Победителю соцсоревнования».

* * *

Степан Федорович потом много раз рассказывал ей, что сразу заметил работающую женщину, громкоголосую, но безвредную, она не жаловалась никогда, а прямо высказывала все претензии телятницы к руководству, Степан Федорович старался поправить дела, чтобы в следующий раз вопросов было меньше. Он и сам не заметил, что зачастил в телятник, заботиться о подрастающем молодняке входило в его обязанности как заместителя председателя колхоза по животноводству, но люди-то видели, что не все так просто.

Тогда же устроили на ферме встречу Нового года, «Голубой огонек» называли, посидели за столом в красном уголке, выпили, песен попели, даже потанцевали под гармошку, скотник Пантелей Шубин съездил домой, привез хромку. Расхотелись уже под утро, да так вышло, что мимо дома Степан утянулся вслед за Анной, догнал ее в калитке, придержал за рукав:

- Что же ты от меня бежишь, Анна, брезгуешь моими годами?
- Разговоров боюсь, Степан Федорович, жена у тебя и работа ответственная.
- В избу-топустишь?

Она молча прошла в ограду, открыла дверь, в избе включила свет, задернула занавески на окнах, присела к печке и подпалила приготовленные заранее дрова. Не снимая полушубка, он привалился к столу, положил шапку на подоконник.

- Закурить разрешишь?
- Кури, вот блюдечко под пепел.
- Анна, я есть хочу, салаты-винегреты не по мне. Не дай с голоду помереть.

Она пихнула на электроплитку кастрюльку с водой, сунула в нее кипятильник и принесла с мороза мешочек с пельменями. Порезала булку подового домашнего хлеба, из подполья достала грузди, огурцы и капусту, открыла банку помидоров, поставила бутылку водки. Готовые пельмени выложила в глубокую тарелку и залила бульоном:

- Угощайся, Степан Федорович.
- А себе рюмку?
- Не пью я совсем.
- Со мной. Прошу, Анна.
- Ради тебя только. С Новым годом, Степан Федорович!

Она пригубила рюмку, сморщилась и закусила грибочком. Степан густо обсыпал пельмени перцем, полил уксусом и хлебал деревянной ложкой вместе с бульоном.

– Анна, отчего замуж не выходишь? Женщина ты видная, все при всем, есть на что посмотреть, на работе молодец, в доме у тебя порядочек.

Анна смахнула слезу:

– В молодости не повезло на доброго мужика, а потом где его взять, толковые все прибраны, а бросовые мне не нужны, лучше одной мучиться.

– Меня не прогонишь сегодня?

– Не прогоню. Только до света домой уйдешь, чтоб не видел никто...

* * *

Всю историю своих мучений Степан рассказал Анне, когда совсем перешел к ней.

Конечно, со стороны это невозможно понять, потому что и года уже подпирают, и семья у Батурина немалая, два сына и дочь, теперь в чужих краях живут, давно на своих ногах. Жена бессловесная, никогда поперек слова не скажет, со всем согласна. Дом приличный, хозяйство, мотоцикл «Урал» ему через райком выделили, считай, первому в колхозе. Со стороны посмотреть: что не жить? А он зачастил к чужой бабе, да и не особо скрывался, а когда в колхозной бухгалтерии женщин за обсуждением непутевой Анны застукал, спокойно сказал враз онемевшим, что Анна теперь жена ему, фактически жена, и что формальности все для людей они на днях оформят.

Вскоре после этого в райком вызвали, на всякий случай партийный билет с собой взял, Анну успокоил: никакого значения для них этот разговор не возымеет, разве что ускорит события да кровь немного попортит.

Первого секретаря Рыбакова Степан хорошо знал, тот в колхозе бывал частенько, заместителя уважал, советовался по хозяйственным делам, но была за первым нетерпимость к вольным проявлениям, например, пристрастия к спиртному он не прощал, а еще любовных приключений. Поговаривали, что в молодые годы Рыбаков сам был ходок еще тот, но со временем образумился, да и должность уже не позволяла вольничать, все-таки деревня, не спрячешься, люди все видят. В душе Степан заранее смирился с любым решением райкома, но как-то занозило: партбилет он на фронте получал, правда, тот давно отняли и выдали в порядке обмена новый, но год-то вступления обозначен, 1943-й. Знатное было время, по всем фронтам наступали, Степан в роте автоматчиков один остался от первого призыва, всех друзей схоронил или по госпиталям растерял. Отдашь билет – как часть памяти выбросишь.

Перед самым обедом секретарша позвала его из коридора, он вошел в кабинет, в котором не раз бывал на совещаниях. Рыбаков кивнул, не вставая, и руки не протянул, это Батурин отметил и заодно утвердился, что добра ждать не приходится.

– Садись, – сказал хозяин кабинета. Гость примостился на крайний стульчик. – Рассказывай, Степан Федорович, как дошел до такой жизни.

– Вы про работу или про что, Василий Петрович? – неожиданно для себя переспросил Степан.

– Ты дурака-то не валяй, мы с тобой не тридцать ли годов знакомы, так что давай начистоту, что там у тебя с семьей?

Батурин хотел было сказать, что семьи у него давно нет, как детей проводили, так и нарушилось все, будто они развезли с собой все благополучие и благопристойность этого завидного дома. Куда-то в пустоту провалились беззаботные дни семейной радости, когда после долгого дня на работе он приходил домой, мылся в баньке,

заботливо протопленной хозяйкой, говорил с ребяташками об учебе, об играх, о книжках прочитанных. Не было для него другой жизни, работа и семья, жена и дети. Конечно, не насильно его женили, к тому времени такая мода прошла, сам выбрал свою деревенскую, сразу после демобилизации. Он пытался после определить границу между нормальной жизнью и ее утратой, и находил эту грань как раз на прощании с дочкой, которая после техникума вышла замуж и без свадьбы уехала на Север. Родители остались вдвоем, и сразу стало заметно, насколько они чужие без детей. Степан испугался своего открытия, но каждый день подтверждал, что это правда. Нет, он не ругался с женой, не устраивали они скандалы на всю улицу, как это бывало кое у кого, и сковородками друг в друга не швырялись. Опустела вдруг душа, жену ни в чем не винил, да и сам долго не мог разобраться, почему пироги стали невкусными, почему незаметно стал ночевать на диванчике, сначала как бы случайно засыпал под телевизор, потом и вовсе перебрался.

– Что там у тебя с семьей?

– С женой разводиться буду, Василий Петрович, так получается.

– Ты к женщине этой совсем перешел, с вещами?

– Пока нет, иногда дома ночую, хозяйство все-таки, надо поддерживать.

Секретарь встал из-за стола, прошелся по кабинету:

– Нехорошая картина вырисовывается, Степан Федорович, для руководителя, для члена партии, что люди говорят, ты знаешь? А говорят, что коммунист не может вести аморальный образ жизни. Ты согласен?

Степан напрягся:

– Не согласен, Василий Петрович, потому что коммунист тоже человек, а у человека чувства есть, как тут быть? В уставе нигде не написано, что я должен жить с нелюбимой женщиной.

– Ишь ты, какой теоретик, под свое многоженство уже марксизм подвел. Ладно, не пузырьсь. Ты кругом неправ, потому слушай. Выговор по партийной линии получишь, на работе оставим, тебе сколько до пенсии?

– Два года.

– Доработаешь, там посмотрим. Имей в виду, поблагка тебе только за счет твоих заслуг, а что касается женщин, ну, подумай сам, Степан Федорович, дай сегодня волю – половина мужиков своих баб бросит, ведь так?

Батурин опять хотел сказать, что партийной дисциплиной семью не удержишь, но перечить не стал.

* * *

Анна никогда никому не говорила, даже близким подружкам, как они живут со Степой, боялась сглазить. Первое время она просыпалась среди ночи, выпрастывалась из крепких объятий мужа и суеверно смотрела на его лицо. Каким родным оно было для нее, женщины, ставшей законной женой в сорок пять лет! Вот эта родинка над бровью, шрам на щеке через всю шею, ножом в рукопашной на фронте получил. Морщинки у глаз появились, раньше не было.

Степан звал жену Анной, и дома, и на людях. Завел хозяйство, корову и овец, весной цыплят привозил гусиных и утиных, благо озеро за огородами. В кампаниях садились рядом, захмелевший Степан обнимал Анну и спрашивал на ушко, но чтоб другие слышали:

– Анна, скажи, ты меня любишь?

Анна смущалась и краснела. Крестный Максим Хромой однажды выговорил Степану:

– Степан Федорович, вот ты давечь опять про любовь. Тебе седьмой десяток, кака может быть любовь?

Степан широко улыбнулся:

– Максим, я тоже не знал, пока Анну не встретил. Любовь такая, что я без нее за стол не сяду и в постель не лягу. Вот обняла она меня, поцеловала – я сплю, как младенец. А ты?

Максим махнул рукой: что, мол, с тебя возьмешь, малохольного?!

Степан умер во сне и так тихо, что Анна не слышала. Проснулась: пора вставать. Надо через мужа тихонько перелезть, и сколько она ни старалась, он всегда просыпался и крепко обнимал ее, горячую со сна. А тут перелезла, поправила на нем одеяло и вроде пошла, но вдруг вернулась, увидела перекошенное лицо, схватила за руку – холодная. Не помнит, как выскочила во двор, добежала до Ольги, та вызвала участкового и медичку. Ольга же обошла соседей, покойника обмыли, одели, положили на плахи, закинутые половиками. Анна два дня просидела в изголовье, гладила волосы, поправляла воротник рубашки. Вспомнила: ко Дню Победы купила мужу, шибко она ему нравилась.

На кладбище, когда стали заколачивать гроб, она вскрикнула и потеряла сознание. С тех пор не вставала, не жаловалась, потом отказалась от еды, от лекарств, не согласилась ехать в больницу. Ольга видела, как она гаснет. В последний день поманила племянницу взглядом, шепнула:

– Степину могилу откроете, там мое место.

Содержание.

Про жизнь...

Красная Поляна.

Мои грибы.

Наказ.

После метели.

Семья.

Соседи.

Встреча.

Крестовой дом на Голой Гриве.

Как помирал Яков Васильич.

Братовья.

Володькины книжки.

Нюхач

Дядя Федя, тетя Таня.

Про Максима, инвалида и говоруна.
Ферапонта Андомина сказывания.

... и про любовь.

Белое платье.
Букет.
Елена из прошлой жизни.
Женитьба Золотухина.
Лида.
Последняя гроза.
Фото с выставки.
Черемухи цвет.
Анна.